ВЕКОПИСЬ

СОФИЙСКОГО СОБОРА КРЕМЕНЦА-НА-СЛАВЕ ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ, СОСТАВЛЕННАЯ ПОСЛЕДНИМ ЕГО ОБИТАТЕЛЕМ РАЗУМНИКОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ СЕЛЬНОКРИНОВЫМ

Сообщил Петр Паламарчук



ОТЕЦЪ
ВОДОВОЗЪ
И
СЫНОВЬЯ
ТВОИХЪ

БИБЛИЯ

ТѢХЪ
ХРУЭМ ФРСТ

ВЕКОПИСЬ

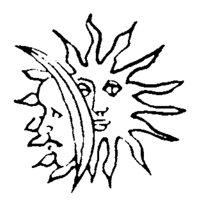
СОФИЙСКОГО СОБОРА КРЕМЕНЦА-НА-СЛАВЕ ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ, СОСТАВЛЕННАЯ ПОСЛЕДНИМ ЕГО ОБИТАТЕЛЕМ — РАЗУМНИКОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ СЕЛЬНОКРИНОВЫМ

СООБЩИЛ ПЕТР ПАЛАМАРЧУК



ЛЕТОПИСЬ
СОФИЙСКОГО СОБОРА КРЕМЕНЦА-НА-СЛАВЕ ЗА ТЫСЯЧУ ЛЕТ, СОСТАВЛЕННАЯ ПОСЛЕДНИМ ЕГО ОБИТАТЕЛЕМ РАЗУМНИКОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ СЕЛЬНОКРИНОВЫМ

Сообщил Петр Паламарчук



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1992

ББК 84Р7
П 14

П $\frac{4702010201-090}{078(02)-92}$ 049—92

ISBN 5-235-01789-7



... В лето 6537. Мирно бысть...
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

1. О ПЛЕВЕЛАХ. Нынешним годом на Пасху, в самый теплый марто-апрельский полдень на квартире номер один дома-коммуны в Ащеуловом переулке, что на Теряевой слободе, в отсутствие единственного хозяина — писца актов гражданского состояния Разумника Сельнокринова — двое рабочих латали на живую нитку постоянно искрящий и закорачивающий всю проводку шнур. При сем хлопотливом и почти безнадежном занятии, метко окрещенном в обиходе «химероприятием», им пришлось вскрыть посреди пола паркетную плашку, и тут оба лоботряса на миг застыли в окостенении, дико уперевшись глазами друг во врага, а затем, не поворачиваясь, по-крабьи бочком отступили ко входной двери и заперли ее для верности на два оборота ключа.

Потом тем же боковым макаром вернулись к дыре, тоскливо помышляя про себя, что никак тут не избежать пополамной дележки, и, нежно сопя, встали в моленное положение над увесистой чугунной шкатулкою с могучими литыми литерами «ВОДОВОЗОВЪ И СЫНОВЬЯ 1888».

Бережно смахнувши натруженными перстами ничуть, впрочем, не мешавшую делу паутину с пылью, они дружно потянули клад на свет Божий сперва самым вежливым, а потом побудительным даже до требовательности образом — ан не тут-то было. Коробка с ее усладительным содержимым стояла, где была, как приваренная — или, точнее, привернутая, потому что при ближайшем рассмотрении в углах рамки, заключающей гордую вывеску водовозовского дела, явственно проступили крепко стоящие на страже заповедного добра четверо упитанных ржавых болтов.

Мыча в нетерпении что-то неопределенно-матерное, тайные открыва-

тели в четыре же руки, срывая канавки резьбы и крутя что было сил, вывинтили их долой при помощи одной отвертки и еще стамески. А как только вынут был из векового гнезда последний черенок,— все здание сотряс ужасающий грохот, и прямо на головы отважным полокопам посыпалась слоями недобросовестно наляпанная штукатурка: это внизу, в ресторане «Русь», занимавшем просторный зал бывшего Никольского придела, обрушилось четверть века служившее люстрой старинное паникадило.

И ни горе-миллионщики, ни прибежавший вскоре тащить их в участок на другую сторону переулка для составления протокола управдом так и не удосужились взглянуть прямо перед собою, где отвалившаяся разом на пространстве в размах человеческих рук белая замазка открыла куски нескольких ликов в золотом сияющем окружении, а посреди, в обрамлении более пышном, но чем-то родовым схожем с помещенным на крепежной скобе паникадила, явственно показалась надпись. Разбирать ее по складам из-за потертости и худого знания славянской азбуки пришлось уже явившемуся наконец на готовый разор хозяину. Так он, водя указательным пальцем по холодной стене и помогая всем ртом произносить не вовсе внятные знаки, вычитал следующее поучение:

«Уподобися Царствие Небесное человеку, сеявшу доброе семя на селе своем. Спящым же человеком, прииде враг его и всея плевелы посреде пшеницы и отыде. Егда же прозябе трава и плод сотвори, тогда явишася и плевелие. Пришедше же раби господина, реша ему: господи, не доброе ли семя сеял еси на селе твоем — откуду убо имать плевелы? Он же рече им: враг человек сие сотвори. Раби же реша ему: хощеши ли убо, да, шедше, исплевем я? Он же рече им: ни, да не когда, востогающе плевелы, восторгнете купно с ними пшеницу. Оставите расти обое купно до жатвы, и во время жатвы реку жателем: соберите первее плевелы и свяжите их в снопы, яко сожещи я; а пшеницу соберите в житницу мою».

2. СНОХОЖДЕНИЕ. Сознание владельца первой кельи коммуны Разумника Васильевича, растревоженное случившимся погромом и неясно-торжественным заклинанием, висевшим у него, как выяснилось нечаянно, над самой головою не один десяток лет наподобие приворотного заговора, вшитого тайком под подкладку дома, весь день до позднего вечера пребывало в состоянии некоего бесхмельного восторга. Начерно восстановивши порядок, он направился тогда развеять сотрясенную ничуть не менее здания скромную свою душу к каменистому обрыву по-над рекою Славой, в полусотне шагов от Теряевой слободы делавшей плавный крюк вроде кольца и, почти доведя его до завершения, неожиданно, то ли отказавшись, то ли не сумев одолеть последнюю перемычку, круто сворачивавшей и уносившейся между стосаженных кремнисто-слойных берегов вдаль.

Посидев у источника, чудом выбившегося на самой верхотуре подле извлеченного не так давно неуемной охранительной страстью с речного дна и взгроможденного поверх кручи древнего «Борисова камня», которым некогда застолбил за собою кременецкие земли один из подвижных боевитых Рюриковичей, Разумник проводил солнце на запад, постепенно отошел от треволнений и, убегая от подымавшейся снизу волны сырости, тронулся потихоньку обратно.

В обжитом соборе, как он с неудовольствием должен был обнаружить, дневное происшествие напрочь вырубило освещение. Чертыхаясь и щупая заступившими должность глаз подушечками перстов стены, такие прежде в сплошном свете, казалось бы, родные-знакомые и вдруг сделавшиеся вовсе чужими, незнаемыми,— он взгромоздился по винтовой лестнице на верхнюю площадку и двинулся к своей крайней каморке. До нее следовало миновать девятнадцать других, и вот в этом потемочном пересчете немолодой письмоводитель, видать,— или, точнее, не видя,— сделал какую-то оплошку, потому что вместо своей двадцатой с одного конца и первой от начала

двери наткнулся на никогда тут ранее не бывавшее зеркало.

Ошарашенно вперив в него свой пораженный взор, Сельнокринов застыл и с нелюбовным вниманием, отключась от непосредственной цели движения, стал в лившемся сверху сквозь чердачную щель густом лунном свете разглядывать в подробности свое изрядно траченное пятьюдесятью годами земного бытия обличье.

Закончив общий обзор с оценкою «удовлетворительно с минусом», он, однако, не успел даже вздохнуть — как ошалевшее отражение резко дернулось навстречу и вмазалось что было силы лицом в лицо. Раздался обоюдоострый пронзительный вскрик, сдавленный отсутствием воздуха в пространстве между обнявшимися фигурой и тенью, и обе повалились на колени, крепко сцепившись за плечи руками.

Далеко перескочив за мыслимый край страха и отпущенной человеку пугливости, Разумник обнаружил внутри неожиданное хладнокровие, оттеняемое лишь могучими размеренными толчками пробивавшейся от груди к голове крови. Он помог сильно ушибшемуся отражению подняться вновь в достойное стоячее положение и, не задумываясь, ввел внутрь комнаты — явственно не своей, а, как он досообразил уже вскоре, нежилой соседней под нумером «2», где хранились какие-то полузабытые папки городского архива старозаветных времен — ведь некогда Кременец-Славянский действительно был городом достославным, служил столицей губернии, а затем и области: но все то давно уже минуло да кануло.

А тень его оказалась вполне плотским существом по имени Платон Любимович Бенескриптов, который числился хранителем этого пропащего добра, вернее — заместителем заведующего, ибо сей за ненадобностью ушел в нети, так что наш своеземный Платон, присланный в начале года разобрать и списать долой большинство не внушающей потребности ветхоты в макулатуру, сам именовал себя на полугреческий лад «архизав» или чаще —«архизам».

Притворивши дверную створку, тот тяжко упал в подсунувшееся както само собою кресло, держась за сердце и грозно поводя кругом выкаченными, налившимися лунным серебром очами. Затем зашарил зрячими руками по полкам, извлек початую фляжку коньяку, отхлебнул сам и передал своему прообразу.

Сельнокринов не отперся от предложенного угощения и выжидательно молчал, мало что ведая о далеком соседе — собственная каморка того помещалась как раз зеркально по другую сторону, на противоположной галерейке, и, хотя он сам на самом деле иногда до разительности напоминал внешне Разумника Васильевича, ни сам Сельнокринов, ни другой кто с этим отличавшимся явственным «прибабахом» новожилом особенной дружбы не вел, опасаясь всевозможных непредвиденностей.

Впрочем, теперь, когда наиболее шустрая и напористая часть населения Теряевой коммуналки пробилась в свежевыросшие за рекою девятиэтажки, оставя на окольцованном рекою бывшем соборном полуострове чистых неудачников по житейской части, все вековавшее в крытом куполом переулке стало напоминать некий нарочный музей уходящих чудаков, и сейчас уже не виделось особого смысла одному из них чураться другого, следуя лукавой поговорке про «уважай чужой маразм».

— Прости Бога ради,— шумно выдохнул Платон.— Не серчай, Разумник.

— Да ладно... А что это ты?

— Старинный, обжитой еще дедами ночной недуг. Лунатик я — и вся тут недолга.

— А-а! То-то, гляжу... Кстати, говорят, что и у меня в детстве тоже что-то было в этом роде похожее.

— Вот-вот, в детстве! Но чтобы до старости оставалось — такое редкость. И, понимаешь, лечить-то, оказывается, нечем. Один лишь седой как лунь способ — запереть и не трогать. Смотри, какая тут незадача: до звезд

и частиц невидимых наука в упор подобралась, а этот самый лунатизм... Да возьми любую энциклопедию — там нет даже и понятия того. «См.: сомнамбулизм». А в той, второй статье, пожалуйте: сомнамбулизм, или снохождение — расстройство психики, ложно связываемое с фазами луны. Чаще всего наблюдается в детском возрасте... И пару ссылок на несколько страничек в наших учебниках да три немецких книжки по психоанализу. И все про все!! Ни одного даже отдельного толкового исследования. Ан и чорт ли в них, ежели оно «ложно связываемое».

А я вот...— он тыкнул в окно на усыпанный прыщиками кратеров круглый диск,— у меня с ней серьезно!

3. О СОКРОВИЩЕ В ПОЛЕ. Когда Сельнокринов глаз обвык в матово отсвечивающем воздухе архивного закута, он с приятным изумлением обнаружил, что вся внешняя стена его сплошняком изрисована скудно различимыми в полумгле изображениями, которые словно бы никогда и не забеливались здесь — штукатурка накладывалась лишь в жилых покоях, и особенно плотно у тех квартирантов, кому сверх обычного ненавистна была память о прежних исконных хозяевах. А в простенке меж двух выломанных-таки окошек он надыбал и знакомую уже с полудня мохнатую рамку, будто на прежних гербовых бумагах, с затейливою и труднопостигаемой прописью.

Архизам выследил его взгляд и, не спросясь, торжественно возгласил, будто пономарь или даже сам патриарший архидиакон:

«Паки подобно есть Царствие Небесное сокровищу, сокровену на селе, еже, обрет, человек скры; и от радости его идет и вся, елика имать, продает и купует село то».

— Село,— перешел он обратно на сегодняшнюю речь, сделавши передых в тишине,— значит по-славянски поле.

Про остальное Разумник, боясь посрамить свое родовое ученое имя, сам спрашивать посовестился.

Бенескриптов же, перескочив через пару-тройку явных мысленных ходов и срезав попутно еще несколько красивых, но безнужных сейчас боковых ответвлений, стал повествовать с незаемною страстью, что этот храм, в котором они сейчас вместе обитают,— одна из трех древнерусских Софий, то есть соборов в честь божественной высшей Премудрости, и стоит он как раз посередине двух других — киевской к югу и новогородской на север,— будучи им почти что ровесник по возрасту и ровня мерою, но выбежав дальше других на закат, или запад — западение солнца.

А насчет нынешнего их бытия точнее будет молвить, что не живут они тут, а скорей уже доживают, ибо их, можно сказать, уже выжили — и не далее как дней через полста, где-то под Троицу к лету сделают остающимся обитателям выгонку, а весь древний полуостров приспособят для отправления туристических нужд.

Более всего печалила его при этом судьба почитай не одну сотню лет сберегавшегося архива, поколениями хранителей копившегося и разбиравшегося в сей самой светелке, а теперь обреченного если и не пропасть целиком, то уж наверное распылиться, развеяться по неисчислимым подвалам разноведомственных спудов до полного исчезновения.

Так в окружных потемках со внутренних очей Разумника Васильевича будто сдергивали засохлые пелены, подобно той самой грубой побелке застившие сердце. И хотя он, конечно, и раньше краешком сознания ведал, где именно судьба судила ему вести постылые и нудновидные свои записи гражданских состояний, но как-то о духовном смысле всего этого толком размыслить все было недосуг.

Теперь же, когда в его контору почитай что вовсе перестали забредать тающие жители потерянной слободы: жениться или рождаться осталось почти что некому, а помирать или хорониться приходилось уже на стороне,

через реку,— ему как бы само собою взошло на ум (на деле же, ясно, умело подталкиваемое собеседничающим архивариусом) желание поспеть напоследок в охотку прочесть про свое собственное жилище что только можно. А там — как знать...

— Ты сейчас человек покуда одинокий, тебе и книги в руки,— угадчиво твердил на прощание Бенескриптов, вручая без опасения свой ключ от хранилища.— Так что начинай прямо хоть с утречка, покамест деньки выпадают спокойные.

А потом он вдруг снова переметнулся в высокий слог, пробасивши над ухом:

«Потому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое».

4. ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА. За чтение книг и лопаченье грамот, каких в бенескриптории оказалась ужасная прорва, Разумник взялся, действительно не откладывая в долгий ящик. Но, бегло перелиставши современные путеводители, он только лишь подивился: на каких же они иноземцев писаны — напечатанные русскими с виду буквами, но говорящие либо от полной правды осьмушку, либо прямую гиль, так что весь толк выходил побоку.

По счастью, рядом с ними на полках он сыскал и более положительные труды про истоки и жизнь Северо-Западного края, вроде изданных век назад сводным братом поэта Константина Батюшкова Помпеем. Но тут он попал уже в новый просак — работ о самой родной Софии, отдельно составленных, кроме тонюсеньких тетрадок, не находилось вовсе; и руки прямо-таки зачесались у бывалого писца — взять да и состроить одну и единую собственную летопись, хотя на прощание.

Тогда он оглядел заново книжно-бумажную наличность, оценив начерно потребное на ее изучение время, и только присвистнул. Ведь нужно было еще и выискать отвечающий делу особый к нему подход, для которого чиновного опыта было отнюдь не в достатке.

На счастье, в обед заглянул вновь Платон и загодя уже, по всей видимости, предусмотрев первые потребности и спотычки своего подопечного — пусть тот и был ему по возрасту погодком,— приволок небольшую кипу «предшественников», да, пожелавши удачи, вновь отвалил восвояси.

Собиралась сия стопа скорее всего по годам в направлении, обратном течению времени, и поэтому сверху ее покрывали те же самые скудоумные тонкие пустоплеты, один вид коих нынче Сельнокринову просто мерзил. Затем лежал роман не ведомого ему прежде сочинителя двадцатых годов родного столетия Пильняка по имени «Голый год», где одно из действующих лиц — бывший князь Кирилл Ордынин, впоследствии архиепископ Ордынский Сильвестр — заканчивает свою хронику в безумную пору междоусобного мятежа. Сперва писание это Разумнику Васильевичу «показалось», но как скоро дошел он до таких откровений, что «жило православие тысячу лет, а погибнет,— ихи-хи-хи! — лет в двадцать, вчистую, как попы перемрут... И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин...»— он томик, на газетной бумажице тиснутый, навсегда и захлопнул. И не то, чтобы обидясь за православие — сам ведь единственный оставшийся живым городской храмик на отшибе разве единожды в год, на Светлое Воскресение, навещал (правда, остатний раз пришелся именно на вчера, когда еще паникадило в одиночестве ухнуло). А попросту — не пророчь гибель другому, тем более когда пророчество-то хиловатое.

Пильняка подпирал снизу знакомый еще по школе — и с той поры не растворявшийся — Щедрин-Салтыков с непременной своей «Историей одного города». В ней ясно видать было родителя Пильнякова, сущий потоп издевательств и ёрничества: и город-то Глупов, и жители по прозванию

«головотяпы», и летописцев четверка — Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов и «Я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын».

— Сукин ты сын,— в сердцах воскликнул Сельнокринов и едва удержался, чтобы не плюнуть в поганую книжку прежде, чем закрыть ее смрадную пасть.

Далее следовал куда более по видимости близкий Пушкин, но вместо ожидаемого «Бориса Годунова» (хотя, конечно же, предвкушение было неверное: ведь не пьесу Разумник собрался предпринять),— лукавый Любимыч доставил не читанный вообще ранее набросок «История села Горюхина». Сельнокринов его тотчас проглотил и столь же споро совсем разобиделся: без примечаний выходило ясно, что не село то поименованное, а целая страна,— но что ж это в конце-то концов за горе-злосчастие, когда вся наша история есть только поле для глумотворца-просмешника?..

Тут вновь объявился в гости довольный произведенным сокрушением поводырь Бенескриптов с заменной стопою под мышкой,— однако, прежде чем передать ее изрядно подгорюнившемуся заурядлетописцу, заставил дополнительно выслушать похабную байку, как бы венчающую своей непечатностью весь ряд этих изданных издевательств.

«Есть,— подпустил он скоморошину,— такая летопись города Градова, в которой на последнем листе читается:

День понедельник. Прибыл эскадрон летучих гусар.

Вторник. Они устроили пир в офицерском собрании, напились пьяны и буянили.

Середа. Уестествили всех поименно непотребных жёнок, разбили казенный погреб и принялись уже за жен потребных и честных.

Четверток. В городе разгром, кое-где мужеложество.

Пяток. Перешли на крупный и мелкий рогатый скот; повсеместно пожары.

Суббота. Приехал поручик Ржевский — и тут т а к о е началось...»

Разумник хмыкнул, однако хохотать отказался, а взамен отдал непригожие томики и взялся за новые.

Первыми шли теперь лесковские «Соборяне», он их по странному совпадению не так давно впервые осилил, еще тогда смутно почуявши там что-то себе сродное, — однако теперь «демикотоновая тетрадь» протоиерея Туберозова, при всем к нему сочувствии, службу сослужить не могла: ибо иной требовался размах и огляд.

Но вот, наконец, явилось и единое на потребу —«Повесть временных лет» с другими исконными летописями. «Господи!— воскликнул молча Разумник.— Да как же просто, вот так ведь и надо: коротко, с достоинством и вычитанием личной самости,— тут и вся мера нужная. А теперь, коли уж запрягли, то: ну, родная, поехали!!»

...Наперед Сельнокринов все-таки сгонял к себе за дедовскими счетами и, торопясь перейти к современному дню, задал, однако, своему повествованию самую строгую последовательность и занес на первый лист хоть и не Адама с Евою, но необходимое поминание начала начал по обычаю предков, выведя так:

«От сотворения мира до Рождества Христова лет 5508.

От Рождества Христова до Крещения Руси лет 988.

От Крещения ее до попленения татарами Киева лет 252.

А было татарской власти над Русью лет 240.

А от стояния на Угре до смерти последнего Рюриковича на престоле царя Феодора Иоанновича лет 118. Всех же лет великого княжения их от прихода прародителя в Новгород 736.

А Смуты с царями Борисом Годуновым, Лжедимитрием, Василием Шуйским, Семибоярщиною, королевичем Владиславом и междуцарствием лет 15.

А от первого самодержца из дома Романовых Михаила до отречения последнего Николая II лет 314.

Правления же различных движений в Российской республике с марта по октябрь 1917-го неполных месяцев 8.

А от октябрьского переворота доныне лет 70 и одно.

Темже: от Адама до зде лет 7496,

от Христа до зде лет 1988,

от Рюрика до зде Российского государства лет 1126,

от Крещения Руси до зде лет ровная тысяча».

5. О ДРАГОЦЕННОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ. Наутро Сельнокринов приступил к бумагам и рукописям, разобранным тщательно Бенескриптовою рукой по векам и десятилетиям. Но чуть ли не первая же распахнутая папка с росписью кременецких князей своротила дела в душевредную сторону: хрусткая мелованная бумага, хотя и не пергамент, но по меньшей мере столетней почтенности, вся пошла радужными разводами — знаком несомненнейшего грибка.

Смутившийся Разумник задумал было пойти тотчас донести архизаму, но того словно и след простыл. Сам же Сельнокринов на первые движения судьбы был суеверен, и если планида сначала отзывалась, скажем, частым занятым гудком на какое-то его начинание, второй раз он ее позывными не нудил, свято блюдя праотцовскую заповедь про то, что первая мысль приходит от Бога, следующая же — от нечистого.

В ответ на столь почтительное внимание мнительный случай находил иные обходные пути, порою куда короче видимых приводящие к цели,— вот и теперь он как бы подсказал, что как раз через стенку, в третьей квартире векует на законном отдыхе бывший известный химик чуть ли не столичного извода, исправляя в отставке непыльную службу околоточного клопомора. Фамилия его была Похвиснев, имя же будто выело из обихода одной из кислот, которыми тот промышлял в уединении своего холостяковского жития, а потом, видать, вместе со злыми испарениями навсегда унесло его вон через самодельный вытяжной шкаф.

По счастью, он оказался в наличии дома, с ходу выдал Сельнокринову способ излечения бумаги — промазку ее сплошь формалином и, не откладывая усадив под колпак вытяжки, пустился на радостях от появления дарового собеседника выплескивать скопившиеся невостребованные знания.

Пришлец же из-под руки зыркнул еще в междуоконье — так и есть, тут как тут была протравленная щелочами и солями, вспучившими ее местами наподобие вередов, знакомая уже по прежним комнатам рамка с продолжением писчей истории:

«Паки подобно есть Царствие Небесное человеку купцу, ищущему добрых бисерей, иже, обрет един многоценен бисер, шед, продаде вся, елика имяше, и купи его».

Впрочем, толком проникнуть во скрытый смысл премудрости Разумник не успел, ибо от неловкого движения ему крепче самой острой горчицы так шибануло в нос химией, что и въяве стало Москву видать (а словообильный знаток Похвиснев забыл еще выдать соседу перчатки, из-за чего кожа на пальцах у того через несколько дней, побледнев наподобие покойницкой и отмерев для чувств, сползла потом, точно рукавица, и обнажила срамно-розовую подкладку).

Хозяин же вместо того разливался соловьем-разбойником, зацепившись мыслью за нарочно подброшенный вопрос на затравку: что за имя у натолкавшихся в книгу бактерий?

— В кубометре окружающего воздуха,— наставительно воздел он к потолку указующую пятерню,— в среднем содержится около четырех миллиардов различных микроорганизмов...

Затем Похвиснев признался откровенно, что ежели прихожанина сей

вопрос воистину занимает, то ему необычайно подвезло нынче с выбором собеседника:

— Таких бактериологов, как я, всего-на-все в Союзе и есть пятеро!

Один из них, по его пояснению, числится в московском Историческом музее, другой в Румянцевской библиотеке, еще два «сидят на ставке» Эрмитажа и Публички на берегах Невы, а пятый, то есть сам он, теперь уже совершенно бескорыстно занимается вопросами бытования, размножения и видоизменения незримой твари.

Раз в году эти чудо-ведуны собираются в Минске, где раньше и трудился Похвиснев, на свой особенный съезд, рассказывая друг другу о произведенных открытиях. И самоновейшим, отлично передовым из них в последнее десятилетие было появление невиданного ранее всесторонне бойкого точильного жука, который, пользуясь уже готовыми ходами, уничтожает напрочь всех своих предшественников, обладая при том жуткой способностью вгрызаться даже в железо.

Кроме того, он-то и сделался причиною служебного краха искушенного ученого, ибо бездушные чинуши республиканской культуры, к которым тот явился с таблицами и знатоцким докладом, представляющим в своей области мировое событие, вместо заслуженной благодарности и утверждения его в качестве темы диссертации — нашлись лишь грубо осведомиться о том, как бы поскорее этого удивительного грызуна извести.

Вздохнув о людской неблагодарности, Похвиснев им ответно признался, что перед такою живностью наука бессильна, и на повторное недоумение пошутил, что проще снести долой все музеи да разогнать за ненадобностью возглавляющее министерство, чем погубить вчистую атомного скарабея. А в итоге, конечно, он слетел на должность энтомолога в заштатнейший городишко.

Тут недоля, однако, несколько смилостивилась и подкинула ему еще одно любопытнейшее дело; правда, значительно более мелкое. Директор краеведческой выставки попал впросак, когда в подвале среди груды неразобранных фондов сдохла объевшаяся какой-то паршивой снеди приблудная кошка, и немногочисленный полк сотрудниц наотрез отказался туда спускаться, покуда не будут извлечены и обезврежены останки незадачливого мышелова.

Для их обнаружения, а также исключения в будущем подобных безобразий и был приглашен опальный исследователь, который неусыпно трудился в поисках истины, битый месяц корпя с микроскопом, фонарем и чертежами, упразднив на время даже сон и еду.

В конце концов им была составлена замечательная семицветная таблица суточной и сезонной миграции диких котов через заброшенные подземелья — днем из выставочного подполья за пищей в основание универмага и гастронома (сокращенных злоязычием в универфиг и гастрит), а по ночам обратно в теплое нутро культурного очага. Однако по части недалекости и одноклеточности местное начальство мало чем разнилось от республиканского: оно вновь отказалось восхищаться поучительностью наглядного пособия и потребовало взамен скорейшего уничтожения погибшей мурки.

Наука опять удалилась посрамленной, но в благодарность за верное тщание на помощь умудренному систематику поспешила природа, которая разрушила кошачьи останки в прах при посредстве его любезных бактерий, а самого естествоиспытателя незаметно провела через пенсионную черту.

Теперь на свободном досуге он мог позволить себе совершенно самозабвенно отдаться чудесам малого космоса, о чем Сельнокринов твердо пообещал подробно выслушать уже на следующий раз и, напитавшись до последних складок пахуче-разящими парами, качаясь, побрел к себе в каморку.

— Боже ж ты мой! — устало рассудил он, распахивая наотмашь фортку. — Куды там всякие летописи, когда окружающая современность выходит пострашней самых мрачнеющих сказок...

6. ВЕКОПИСЬ НА ДВОИХ. По возвращении души «во своя си» подобного разбора мысли неприметно перетекли у Сельнокринова в путеводительное сомнение о смысле и сроке только что предпринятого труда. Он пустился с горечью вспоминать о том, что как будто бы ни единый кто — даже сам Соловьев — из историков не довел своего описания до собственных дней. И получалось, что, пересказав про чужое и лишь заочно представленное, они о насущно видимом неизменно оставляли догадываться потомкам.

Так, может статься, следовало наперед приступить как раз к текущей жизни, оставя старину на потом? Ну хорошо, а как же ее в таком раскладе изучать, современность? По источникам? Но где взять, когда всякое новое правление задним числом обращает их наизворот?

Тут опять-таки, будто подгадав самый потребный час, объявился заказчик и работодатель Платон. Извлекши корень Сельнокриновой головной боли, он вместо расстройства пришел в сущий восторг:

— Молодец! Дело движется даже быстрей, чем я мог надеяться. А потому вот что: ты просто обойди по порядку весь сóрок номеров нашей улицы по обе ее стороны и, читая о минувшем, вперемежку насвежо, чтобы не позабыть, брось на бумагу рассказы его обитателей. Потом уже сведешь воедино — когда нас отсюда долой со двора собьют. Не слыхал еще, что и реку тоже взялись перестраивать?

— ???

— Вот тебе и...? Перемычку взорвут, чтобы сделать нашу горку полным островом, чистым заповедником прошлого, а заодно и гидру электростанции заведут, подтопят берега, хоть там трава не расти. На равнинах плотины теперь раздумали ставить, так за скалы решили приняться...

Далее он пустился и в более околичные рассуждения, доказывая, будто поскольку им двоим по полста лет — то есть в совокупности ровно век,— то и летописание предстоящее следует назвать одним из схожих-похожих слов: «векопись», а по сему оглядывать былое и нынешнее с точки зрения если не вечности, то по меньшей мере века.

— Мы ведь с тобою еще и оба поповичи, судя по заковыристым семинарским фамильным прозваниям: на латыни «Бенескриптов» родня «Бенедиктову», что в доточном переводе будет «Доброписов» и «Благогласов». А «Сельнокринов»— от славянского «сельный крин», то есть полевая лилия, дико растущая в Палестине и еще называемая «императорскою короной». Про нее именно Иисус сказал: что печетесь вы об одежде? поучитесь у кринов сельных; ни труждаются они, ни прядут,— но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как из них всякая.

Вот и выходит, что никому иному эту работу не делать, кроме как нам, коли мы ровесники, и казенные люди одного извода, да и судьба-то у отцов наверняка —

— Не надо!

— Ясно.

— А почему ты тогда сам-то не взялся?

— Видишь ли, есть еще и такой завет, что — иная слава солнцу, иная луне, иная звездам: звезда от звезды разнствует во славе, и небесная слава различна от славы земной. То есть дарования все мы имеем, но по данной свыше благодати различные: пророчество по мере веры, служащие — в служении, учитель — в учении, утешитель — в утешении, раздающий — давая в простоте, начальствующий — предстоя со тщанием, благотворитель — милуя с добрым изволением и ясностью.

— Что-то ты многовато стал глаголать на отеческий лад.

— А бывает, что вправду слишком?

— Ну... но не через ли чур?

— Что же тогда есть чур?

— Ладно, хватит хватать за язык.

— Погоди, мы с тобой и ту меру перекроем. Читал ведь настенные вразумления?

— А ты догадался? Откуда они?

— Это в свой час. Так вот, дар писания — он у тебя, за мною же служение подталкивания, досказки, что ли... И потом еще — ты же ж прямо-таки образцовый векописец, пока одинокий, другим занятием и семьей вроде сейчас не обременяемый, хотя не скажу точно почему —

— И не требуется.

— До поры. Получается, разве что не монах, а так как есть готовый Пимен или Нестор в миру. Но, признаться, есть и у меня потайное писаньице: я все-таки тоже веду летопись, вторую и теневую, но в направлении строго обратном, попятливом.

— То есть?

— Покуда не про вашу честь. Но в конце, у порога вечности, мы обязательно должны сомкнуться — как только ты достигнешь сего дня, а я опущусь к первозданной бездне близ сотворения мира. Так что до скорого!

7. О НЕВОДЕ. Необычайно ответственная задача, заставляющая пересечь грань бытия текущего и вневременного, изрядно-таки Разумника поразила и напугала. Примешься вот за эту работу, а потом неминуемо выпадет: взялся за гуж — так и полезай в кузов!

В зеленой тоске и нешуточном расстройстве от высоты, куда приходится задирать голову для лицезрения цели, Сельнокринов направился в следующую по порядку современность и как будто бы по заслугам застал там полнейший развал, вполне отвечающий его собственному внутреннему настроению.

Посреди «начерно выбеленной» комнатенки — это он тотчас отметил в поисках межоконной премудрости — восседал сизый от истошного пития таксёр Ерофеич, вообще-то отнюдь не кормивший запойной страсти и потому куда более завзятого питуха косой, совершенно покинувши свой панталык в ходе первого в жизни многодневного загула.

— Заходи, дерябнем! — силилось выговорить все его наличное естество, но уста лишь разок вяло провернулись для приветственного мычания.

Разумник Васильевич, однако, не чинясь вошел и немедленно выпил. Постепенно они пришли пусть и не в равное, но хотя бы соотносимое состояние, и Разумник стал Ерофеича разуметь на целые периоды по одному только кивку головы или движению выщербленных бровей.

— Сорок лет, ума нет — и все это минет,— двусмысленно изрек лицевою морщиной бедовый водитель, а затем в череде односложных непристойностей, которым еще пособлял выразительнейшею руганью рук, поведал причину своего нечаянного семейного краха.

... Подвозил он середи ночи в дальний «ночлежный» конец пару совсем тепленьких девок, и вот когда они уже лихо подмахнули к парадному восьмиэтажки, стоявшей у самого края леса — сюда запанибрата могли бы являться волк с медведем в гости, не будь они предусмотрительно сжиты со свету разными нефтеискателями,— как эти шалавы признались, что денег-то нет ни копья.

Ерофеич, как человек бывалый, и план уже сегодня превысил, да еще и заначку имел, но здесь дело шло на понт: единожды только дай потачку, отбоя потом не станет от разновеликих бездельников. К тому же он отчетливо соображал, что на дармака эти центровые красючки сегодня навряд ли гудели.

Но то ли подкачала его усталость, то ли немолодой раж на свежачка напал,— короче, мировое предложение «отдать натурой» в самом похабном роде он взял да и принял...

Выбрав из черной да белой вторую, Ерофеич пристроил ее подле себя на переднем сиденье коло колен, и тут... Не успела она толком за дело взяться, да ка-ак укусит! А та, что была позади, мигом набросила через шею удавкою шнур — и давай требовать денег.

Так вот, сидя в чорт-те каком положении — а поди-ка пожалуйся кому бы то ни на есть! — своими ж руками все подчистую он выдал, только что плача от боли да досады.

— Погоди,— недоумевал Разумник,— но ведь когда они уже вышли, ты бы мог этих курв давануть на прощание!

— И что ты! Уж как рад был, что хоть долой не отгрызли,— какое давить. Ведь когда она зубами-то хряснула, я весь до хохолка пóтом сырым изошел со страху. Не-ет, брат, теперь убей, разорвись моя пополам, чтобы еще впредь посадил двух телок на заднее сиденье.

— Ну, а как же ты жене-то про прикус объяснил?— старательно подавляя улыбку, посочувствовал горемыке Сельнокринов.

— А вот так, — указал Ерофеич, поводя рукою по выпотрошенной донага комнате, и вдруг заплакал, натолкнувшись глазом на жалкую, забытую впопыхах под раскладушкою куклу с развязанным бантом; почему вынужден был заложить за воротник еще один «балдельник», от которого окончательно рухнул.

Разумник тоже пригубил напоследок, а затем, подобно завзятому домушнику, ступая на цырлах, замочил в кране тряпицу, провел ею туда-сюда по жидко закрашенной стене среди окон и вычитал с некоторым трудом потребное:

«Паки подобно есть Царствие Небесное неводу, ввержену в море и от всякого рода собравшу. Иже, егда исполнится, извлекоша й на край и, седше, избраша добрыя в сосуды, а злыя извергоша вон».

8. КРЕМЕНЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ.— Страна наша,— начал свое историческое повествование обложившийся Бенескриптовыми томами Разумник Васильевич,— лежит на самом острие Белой Руси, там, где почти сходятся с ней воедино Русь Большая и Малая. Южнее ее жили племена дреговичей, с юго-востока — радимичи, на восток — ильменские славяне, а с севера и запада Литва да чудь белоглазая.

Как разыскал правнук Льва Толстого нынешний академик Толстой Никита, именно тут располагалась и колыбель всего славянского народа, а, благодаря почти по сю пору сохранившемуся в нетронутости за рекою дремучему Полесью, ныне доживают и последние остатки прародительского язычества. Недаром как раз в сем краю найден был на речных берегах Збручский идол — каменный болван с изображениями всех поганских богов дохристианского мира славян.

А ежели забросить взор еще более ввысь, то можно увидать, что Кременетчина попадает в средоточие пути из варяг в греки — то есть от моря Балтийского до Черного. Река Слава берет исток вблизи верховьев Днепра и Волги, а близ Кременца, разбиваясь в прорытых древних скалах на два рукава, уходит единым концом в Северную Двину на полночь — или север,— другим же на полдень, вливаясь во Днестр. Потому-то, будучи древнейшим западнорусским городом, Кременец-на-Славе стяжал еще и международное внимание: он, на приклад, обладал самой многочисленной в Средневековье армянской общиной.

«Повесть временных лет» первый раз упоминает его под 862 годом от Рождества Христова, когда Рюрик раздавал своим мужам владения —«овомоу Полотеск, овомоу Каменец либо Кременец», а кому Ростов или Белоозеро. Причем, говорится там же, варяги были в тех поселениях лишь «находници»— что значит пришлое возглавление, «а первии餘селници» исконные все славяне: поляне и кривичи.

Но не успел основатель династии передать власть над Кременцем Нову-городу, как уже в 865 году, согласно Никоновскому летописцу, на него отправились походом южнорусские князья под водительством Аскольда и Дира. «Многи варяги совокуписта»,— гласит история Татищева,— они победили «и начаста владети» всей Кременецкой землею.

Как справедливо полагал другой, местный летописец, первое свое имя город получил «камня ради», обнаженного неутомимой стремниной, а второе — уже вместе с нею — от тех самых племен, что «седоша межю Припетою и Двиною».

Начиная с X века плотно заселился возвышенный участок скалы на крутояре, получивший впоследствии название Соборной горы. Он и сделался ядром града, занимавшим площадь всего в одну квадратную версту при крутом изгибе Славы, соединяясь с прочим материком невеликою перемычкою всего в тридцать шагов шириною. Эти градские врата по другую сторону реки из века в век укреплялись могучим замком, что давало Кременцу даже способность угрожать другим державам, поскольку здесь всегда можно было положить руку на биение тока живой связи между Новгородом и Константинополем. Недаром же в договоре Олега с Византией, заключенном в 907 году, в числе русских поселений уже помянут и Кременец, где сидели князья «велицыи, под Олегом сущи».

Ту же службу исполнял он и в дальнейшем, хотя до столицы ему вырасти было не суждено. Тем не менее еще в XVI столетии в известном «Хожении» царева дворцового дьяка Трифона Коробейникова в Царьград о Кременце повествуется сице:

«Городок каменной, с Можаеск, стоит на каменном острову, а под ним река Слава, величиною с Яузу, пошло около города меж дву гор каменных: береги у нее высоки, утесы каменные, а камен синей, и обошла та река кругь тое горы каменные и пришла туто к городу, немного опять не сошлася в место, толко сажен с 30, да воротилась опять от города на лево с Московские стороны и пошла промежь гор же каменных; а где та река сошлась, х тому острову, который обошла, и туто мост древяной на каменных столпех. А величина того острова с Китай город, а на том острову стоит посад, а в нем торжек, а стены около его нет, потому что тот остров каменной и от воды высоко утесь».

Подвластные Олеговой руке кременецкие князья остались истории безвестны; первый же, носящий имя, стал и обладателем самостоятельности, «держа землю и владе ею». Он не был местным уроженцем: «бе бо Рогволод пришел из Заморья», и корни его прозвания искали в Скандинавии, хотя вполне можно было истолковать и на славянский лад как владельца «рога», то есть мыса.

Но спокойное самодержавие его в Кременце не было долгим, ибо Владимир, будущий креститель Руси и великий князь, а покуда еще просто князь новогородский, собравши «вои многи» со всей Северной стороны, пошел на него войною. И причиной того в первую голову была отнюдь не власть над землею, а голова Рогволодовой дщери Рогнеды.

9. О НЕМИЛОСЕРДНОМ ЗАИМОДАВЦЕ. Изведясь и проерзавши битый день над разноголосицею свидетельств прошедшего, Разумник под вечер, по долгу нового служения направил свои стопы к чередному обитателю соборной коммуны, но вместо ожидаемого расслабления получил по носу пребольный щелчок.

Во-первых, лезть к тому пришлось свившеюся штопором лествицей кверху на вышку, а уже вскарабкавшись, он обнаружил, что трудил изрядно уставшее тело всуе: чердачный насельник отсутствовал в своем логовище. Упорный исследователь Сельнокринов принялся тогда подглядывать в щели и скважину для ключа, чтобы разобраться хотя вчерне насчет приоконного нравоучения — и точно, там что-то такое виднелось похожее, даже подведенное скверною анилиновой краской и еще обклеенное цветною бумагой посредством липкого скотского пластыря — только поди-ка разбери через куцую дырку тертый славянский алфавит!

В раздражении он хватил что было мочи кулаком по безответному косяку, а причелина вдруг ожила, осыпавши его плотно исписанными листка-

ми в косую линейку. И хотя предназначались они непосредственному владельцу помещения столяру Фоме Полоротову, Сельнокринов, разгадав почерк своего двойника Платона, почти не задумываясь, позволил себе все содержание внимательно изучить. Оно состояло вот в чем:

«Неверющему Фоме. Не знаю, к чему тебе, мил человек, стал вдруг потребен перевод стенного надписания, но отчего ж не помочь? Короче, вникай в переложение, коли прямой язык славян стал вам уже совсем непонятен.

«Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов (здесь на полях стояла особая отметина, сообщавшая: 12 царских или 60 миллионов советских рублей); а как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев (тут опять обязательно пояснялось сбоку, что это двадцать старых или сто нынешних целковых), и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен; тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе; но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, пришедши, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга».

Покачивая головою и почти позабыв про утомление и неудачу, Разумник Васильевич спустился назад, а потом, не продлевая уже новоявленную свою векопись, и вовсе вышел подышать прохладой наружу.

Последний апрельский морозец ожесточил воздух и прихватил лужи, разогнав теплолюбивых весенних воздыхателей, так что Сельнокринов в покойном одиночестве прошел почти весь путь до обрыва. И у самой уже кручи ему довелось застать столь недавно потребного Полоротова — в состоянии, однако, от потребного строго отличном.

Не дойдя до дому сотни шагов, тот в изнеможении застыл посреди превеликого скопища грязи, сохраняя последнее равновесие посредством отягощавших обе руки авосек, чрезвычайно схожих внешне с глубоководными бомбами: топорщившееся во все стороны содержимое их состояло из наполовину раскоканных по пути закосевшим владельцем чекушек,— а сам он уже не умел более двинуться с места и в немой ненависти к враждебным силам природы являл собою живой памятник безграничным возможностям человеческого упорства.

«Боже мой, неужто ж действительно ничего лучшего от тоски-кручины не придумаешь, кроме лишь этого»,— вздохнул Разумник да послал еще сто фигов в шляпу тому дураку, который затеял даже и ту дымовую отдушину попытаться перекрыть, позабыв про врожденное наше упрямство и супротиворечие.

Между тем столяр каким-то одному хмелю известным слухом уловил в окружающем космосе сказанное про себя срамное словцо, но, не замечая в упор Сельнокринова, напрямую продолжил свой куда более высокий спор с самими небесами.

— Родина? Родина, говоришь?!— воздел он кверху кулаки в ответ на лившийся оттуда молчаливый укор.— А на хер мне такая Родина!!!

10. ТОВАРИЩ. Даже на следующий день раздосадованный донельзя Разумник долго не мог собрать силы, чтобы потянуть вперед продолжение своей истории, сумев только занести начерно хорошо запечатлевшийся, но скверно переваренный современный урок в ту же тетрадь. Да, видно, и не судьба ему была тотчас вновь за векопись приниматься, ибо тут незвано вторгся взбудораженный Бенескриптов и, прознав об успехах и поражениях в продвижении от вечности к последнему дню, сообщил, что имеет в ответ заявить нечто до чрезвычайности важное.

Начал он, впрочем, с чудаковского вопроса: дескать, не приходило ли когда-нибудь в Сельнокринову голову задуматься — откуда это надуло к нам сие поветрие называть друг друга не господами — идущими, как известно, от самого Господа Бога,— а «товарищами», из-за которых вдобавок, поскольку слово «товарка» вовсе уж пакостное, женщины нынче звучат в среднем роде: товарищ Степанова?

Не дожидаясь возражений, принялся излагать сам — да такого наплел, что поспевай только записывать, а соображать опять-таки оставалось на потом.

— У меня на то прозвище еще собственный семейный зуб,— признался сперва он.— Ведь мой-то батюшка был отцом не в простой, а, так сказать, в превосходной степени, состоя в родительских правах и кровных, и духовных. Так вот, когда он, оттрубивши три года высылки да еще пятеро лагерей, возвратился вдруг восвояси, счастливо протиснувшись в щелку меж Ежовым и Берией,— то, придя в сельсовет за видом на жительство, нисколько не обинуясь, нарек председателя Мешалкина «господином».

Тот сразу на рога встал:

— Какой-де я тебе, поповская рожа, господин — мы тех господ всех пустили в расход!

— Ну а что ты мне за товарищ, когда задарма в Колыму закатал? — дельно возразил батюшка, за что и схлопотал вскоре третий и уже остатний свой приговор.

Так вот оттого у меня это словечко занозою в сердце и торчит,— вел далее Бенескриптов-сын.— И давай-ка попытаемся ее наконец вон извлечь. Ну, пускай шутники секут его надвое — де, «товар ищи»,— подводя к цицероновой торгашеской мудрости во всяком деле и всегда искать «кому оно выгодно». А словари, того хлеще, производят от тюркского «тавар» — то есть скот...

Вникнем лучше в самый дух, а не букву. Видишь ли, в прошедшем веке «товарищем» звался по преимуществу заместитель — министра, столоначальника или другого какого чина. А ежели дойти до сути — то заместитель, так скажем, вообще.

И пошло то поголовное замещение подлинного с самого почти что начала века, когда поднялась целая переименовочная катавасия. Начиная с того, что исконный смысл самой «катавасии» — то есть совместного пения правого и левого хора в храме по окончании канона, пения весьма стройного,— переменился на противоположный, на кота-Васию, кошачий концерт и козлогласие. Всякие сокращения прямо бесовские, вроде «Чусоснабарм» или «Викжель», расплодились точно как кошки,— а ежели, к примеру, попытаться скукожить так комитет «За европейскую безопасность и сотрудничество», то вовсе непечатно, пусть и ловко получится.

Причем считать тут следует не с октября семнадцатого, а с первой мировой войны, его прародительницы: тогда как раз в армии появились все эти «наштаверхи» и «главкозапы». А коли совсем до упора вперитьея, до слезы на очах — то становится ясно, что в правильном переводе и антихрист есть не противо-Христос, а вместо-Христос, или опять-таки ложный заместитель настоящего. Ясно — товарищ?

— Ясно, но не очень понятно.

— Э-эх, Аким-простота! Так ведь с той самой поры, именуясь заместителями, мы действительно не вполне стали люди-господа, а только испол-

няющие их обязанности = причем исполняем-то из рук вон плохо... Потому все и идет криво-косо. И вообще покатилось не в ту сторону.

Вот погляди: что такое «гастроном», если вдуматься насвежо? Это есть лавка, где не только что любителю гастрономии, а и вообще зачастую просто голодному нечего съестного купить. А «бар» = тот с начала последней кампании по борьбе с большинством населения представляет собою заведение, где нечего выпить. Ну и так далее = замещение превратилось через подмену в противоназвание.

И именно так далее = поелику свихнулось движение с верного пути на обочину еще раньше, только не совсем приметно, в веке, как самое малое, предыдущем. Вот я и принялся искать = где же в точности.

= Ну и нашел?

= Тебе все подавай зараз! В том-то и зарыта собака, что покуда ты движешься из глубины, я шагаю обратно к ней, докапываясь до истоков, в направлении встречном. И ищу тот перекресток, где вместо человеческой дороги ноги своротили в товарищескую. Потому и раскрытие истинного смысла пути должно быть обязательно постепенным = чтобы сразу с ума долой не стрясти.

11. О РАБОТНИКАХ В ВИНОГРАДНИКЕ. Попрощавшись, как всегда, непривычно, он бодро удалился к берегам своей противо-Леты, однако с полудороги вернулся назад и попросил передать в следующую по очередности комнату пачку туго увязанных общих тетрадей с надписью от руки по корешкам «Ч и Б» и нумерами 9, 10, 11. Вдобавок еще он коротко поведал Разумнику, чтобы тот не слишком терялся, не найдя за постоянно отпертой дверью жильца. Дело состояло в том, что тот был единственным кочегаром последней в городе старой котельной = ибо собор все продолжал отапливаться на свой особенный лад через теплый пол, под которым стоял калорифер, снабжавший, кроме того, подогретым воздухом всё пространство по вмурованным трубам сквозь стены. И благодаря тому, что вся сеть их поддерживалась в порядке, внутри не стали заводить нынешних водяных батарей, которые своей дешевой влажностью в корень погубили бы кое-где еще сохранившиеся под штукатурной обмазкою росписи.

Но самому топильщику приходилось день и ночь обитать будто в преисподнем котле, почти не вылезая холодной порою на свет Божий, = потому-то он один и нашелся такой на весь Кременец умелец. Величал его Платон Любимович хитроусмешливой кличкою Мудролюб.

Проникнуть же в его логовище можно было лишь через узкий крутой лаз в углу, представлявший собою как бы червоточину внутри глухой пристенной башни. В конце его помещалось окошко, сквозь него подземный жилец принимал пищу и книги, а взамен выдавал на-гора создаваемые в пышущем жаром одиночестве труды = ибо, живучи в сущем пекле и бродя там, что называется, в доверчивом виде, Мудролюб пренебрег мирскою суетой и весь отдался написанию объемлющего двенадцатитомного сочинения о спасении России.

= Отдай назад тетради и скажи, что-де Платон одобряет, = наказывал единодельцу Бенескриптов, = добавь еще, что я пристально жду окончания. А для своей пользы можешь попытать у него, что за штука такая «субъективный материализм»...

Разумник Васильевич внял его совету и убедился, что все обстоит в точности так, как было обещано наперед. Причем стены внутри верхней нежилой конурки оказались, однако, настолько залеплены угольной пылью, что, сколько он ни ковырял в безнадежности знакомое межоконье, ничего от привычной уже надписи найти не сумел.

Кряхтя, Сельнокринов просунулся тогда в нору, откуда явственно дышало горячим варом, и, обтирая бока о кирпич, добрался наконец до неве-

ликой пробоины вроде приемного окошечка в ад. Затем стал перед ним на колени и воззвал в неизвестность: «Есть кто живой?..»

В ответ донесся воистину слоновий рев, а на его волне выскочило могучее, загорелое, как мурин, чернобородое существо в переднике прямо на голое тело и босиком. На шее болтался резной деревянный крестик, подвешенный на веревочном, плохо проводящем тепло гойтане.

Оно молча приняло переданные через Разумника тома, хмыкнуло на Бенескриптово одобрение содержимого, а взамен посулило прислать в недалеком разе и венчающую двенадцатую часть. При этом Сельнокринов отчего-то постеснялся сообщить ему про неминуемо грядущее выселение.

Припомнив второе поручение погодка-архизама, Разумник затем вежливо осведомился о содержании новоявленного философического понятия.

— Это надо трудно и долго объяснять, когда во всей широте,— вздохнул Мудролюб с готовной покорностью.— Но ежели на пальцах, то все идет от врожденного чувства симметрии, зеркальности идей. Ведь еще в школе по обществоведению «проходят» — и мимо!— что идеализм живет парой: субъективный, когда есть «я» и более ничего, и объективный, который признает существование Бога и людей. А материализм вынужден отчего-то пребывать в сиротском, пусть и объективном одиночестве, занимаясь от тоски, простите, духовной дрочиловкой. Тут я ему и добавил как спутницу материализм субъективный, основною мыслью коего является утверждение о том, что на свете существует все, кроме лично меня. В качестве же первой заповеди его служит такой перевертыш: все действительное неразумно, зато все неразумное — действительно.

— А разве может так быть?

— А разве все вокруг не так именно смотрится?.. Но это вообще-то чушь. Главная же беда вот где. Первое, зачинательное произведение русской словесности ведь не «Повесть временных лет», а знаменитое своей неизданностью «Слово о Законе и Благодати»— то есть про то, что ветхий Закон с приходом Спасителя сменился на Благодать. Но какой у вас там наверху самый многопечатаемый журнал, а?

— «Огонек»? «Новый мир»?

— Огонек настоящий-то у меня горит. И еще там у н е г о пониже,— значительно показал Мудролюб большим пальцем под ноги.— А живете вы в новом-то мире по правилам старого, ибо под полтора десятка миллионов собирает, перекрывая ближайшего соперника чуть не втрое, издание с совершенно ветхозаветным именем «Человек и закон». Потому-то я и должен был сюда опуститься, чтобы, выпрямляя обратный загиб отечественной мысли, создавать свой личный орган «Человек и Благодать». То-то.

Явно давая понять, что прием окончен, он двинулся в глубину подземелья и загремел в его утробе какими-то кочергами или лопатами. Сельнокринов невольно подался задом к выходу, но, выудив все-таки чуть было не потерянную мысль, снова всунул голову в адскую бойницу и проорал:

— Эй, милейший, скажите: а у вас ничего не было вписано раньше в карточке меж двух окон там, наверху?

Спаситель Отечества неожиданно возник откуда-то сбоку, напугав Разумника внезапностью появления, и довольно захохотал:

— Было, было, чорт вилами по углю нацарапал: «Приидите ко мне, все эксплуататоры и эксплуатируемые, и аз экспроприирую вас!»

Сельнокринов не оценил соль шутки и замотал носом.

— Погоди дуться-то,— смилостивился добродушный подземщик.— Я тебе сейчас наизусть правду отшпарю. Так вот как оно было примерно:

«Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию в день, послал их на виноградник. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышед

около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого — а по-нашему это где-то пять вечера,— он нашел других стоящих и говорит им: что вы стоите здесь целый день? Они отвечают: никто нас не нанял. А он им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите.

Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию — то есть что-то вроде сегодняшнего рубля. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по тому же динарию, а получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр?

Так, будут последние первыми, и первые последними: ибо много званных, а мало избранных»... Кстати, который у нас теперь по московскому нашему времени час на будильнике? Уж наверное, мы даже не одиннадцатого, а тринадцатого часа работнички!

— Послушайте,— не стал углубляться в намеки пришлец,— а вы опять не обманываете?

— С чего бы это теперь?

— Там, в других окнах, было по-церковнославянски...

— Ну, коли б я знал, что ты маракуешь, то и не стал бы переводить. Но теперь уж не обессудь — как говорится, глухим две обедни не служат.

— А не дадите посмотреть этот ваш «Ч и Б»? — все отмахивался от уколов самолюбию Разумник.— Я быстрехонько пролистаю и к завтрему же верну.

— Я жизнь положил, а он за день «пролистнет»! — в отличие от него легко оскорбился собеседник.

— Но я правда отдам,— неуместно настаивал на своем Сельнокринов.

— Отдашь, куда ты денешься,— прорычал угрожающе Мудролюб,— только на том свете угольками!

12. РОГНЕДА.— Итак,— продолжил векописец свою речь,— в 979 году от Рождества Христова Владимир Святославич, христианством еще не просвещенный, во главе варягов, новогородцев и чуди отправился на нашего князя Рогволода. Поводом к смертному бою послужила его дочь Рогнеда, или Рогнедь — что уже ни при каком желании иначе как из скандинавского имени «Рагнхильд» на русскую воду не вывести. Новогородский владетель, хоть и был уже женат на «жене варяжской» Олове, родившей ему сына Вышеслава, отличался чрезвычайной женонеистовостью — он вознамерился взять за себя еще и Рогволодовну. Но та была просватана за его старшего брата Ярополка, князя киевского. А кроме того, на предложение владимировой руки она ответила до крайности гордо: не хочу изути робичича! То есть отказалась совершить свадебный обряд, означающий подчинение супругу — снять с него сапоги,— у сына рабыни: мать Владимира Малуша служила ключницею у великой княгини Ольги.

Но она была еще и сестрой владимирова воеводы Добрыни — и вот как он отомстил, когда Рогволод был разбит и пленен. Сперва в присутствии всей семьи Добрыня просто «поносил» Рогнеду, а потом повелел Владимиру овладеть ею «пред отцем ея и материю», после чего, согласно Никоновскому летописцу, убил родителей вместе с двумя братьями.

...Рогнеда смирилась, ибо это была на ее веку отнюдь не последняя беда, по которым она получила печальное славянское прозвание «Гориславы». Дочь Рогволода сделалась матерью трех старших владимировых сыно-

вей — Изяслава, Ярослава Мудрого, Всеволода; родила она и двух дочек, из которых известно лишь имя первой — Передслава. Утвердясь в Киеве, Владимир наскучил Рогнедою и выслал ее с Изяславом в село, быть может, названное затем по дочернему прозванию — Предславино на берегу Лыбеди, что под Киевом.

И здесь в одно из редких посещений великим князем оставленной жены произошло событие, излюбленное впоследствии живописцами, которое чувствительный Карамзин, чуть приукрашивая Нестора, излагал так:

«В один день, когда Владимир, посетив ее жилище уединенное, заснул там крепким сном, она хотела ножем умертвить его. Князь проснулся и отвел удар. Напомнив жестокому смерть ближних своих и проливая слезы, отчаянная Рогнеда жаловалась, что он уже давно не любит ни ее, ни бедного младенца, Изяслава. Владимир решился собственною рукою казнить преступницу; велел ей украситься брачною одеждою и, сидя на богатом ложе, в светлой храмине, ждать смерти. Уже гневный супруг и судия вступил в сию храмину... Тогда юный Изяслав, наученный Рогнедою, подал ему обнаженный меч и сказал: «Ты не один, о родитель мой! сын будет свидетелем». Владимир, бросив меч на землю, ответствовал: «Кто знал, что ты здесь!»... удалился, собрал Бояр и требовал их совета. «Государь! — сказали они, — прости виновную для сего младенца и дай им в Удел бывшую область отца ее». Владимир согласился: построил новый город в нынешней Витебской губернии и, назвав его Изяславлем, отправил туда мать и сына». Поселение это сохранилось доныне, теперь это маленький заштатный Заславль подле Минска.

Но и тут не окончились оскорбления Рогнедины, как не иссякло и ее смирение. Уже после своего крещения Владимир, обвенчанный по христианскому обряду с византийской царевною Анной, решил и ей подать милость, оказавшуюся еще пущим унижением. Летопись тверская гласит: «Посла к жене своей Рогнеде, глаголя сице: «аз убо отныне крещен есмь и приах веру и закон христианский, подобааше ми едину жену имети, ея же поях в христианстве. Избери убо себе от велмож моих, его же хощеши, да съчетаю тя ему». Она же, отвещавши, рече ему: «или ты един хощеши царствие земное и небесное въсприяти, а мне маловременним сим и будущаго дати не хощеши. Ты бо отступи от идольския прелести в сыновление Божие, аз же, быв царицею, не хощю раба быти земному царю, но уневеститися хощю Христови, а въсприиму ангельский образ». Сын же ея Ярослав седяше у неа, бе бо естеством таков от рожениа. И слыша глаголы и ответы матери своея к Володимеру, и въздохнув с плачем, глагола матери своей: «О мати моя! воистину царица еси царицам и госпожа госпожам...» И от сего словесе Ярослав веста на ногу своею и хождаше, а преже бо бе не ходил». — Рогнеда постриглась в монахини и получила уже третье имя, греческое: Анастасия, что значит «воскресение».

С этим именем она и отошла ко Господу в ровном одна-тысячном году от Рождества Спасителя — одновременно с оскорбленной ею некогда матерью Владимира Малушей, про которую, отмечая обе эти смерти рядом, Нестор говорит, сообщая неожиданно полное имя: «Преставися Малъфредь».

Год спустя, еще при жизни отца, умер и Изяслав, из-за чего его потомство утратило право на старшинство во Владимировом роде и принуждено было довольствоваться удельною властью в нашем городе — Рогнедином вене. Это стало причиною многих кровей и долговековой распри; как гласит летописец: «Оттоле меч взимают Рогволожи внуци противу Ярославлим внуком».

Наиярчайше родовая тяжба между потомками Рогнединых сыновей показала себя в судьбе Изяславова внука, знаменитого Всеслава по прозвищу Чародей.

13. О ДВУХ СЫНОВЬЯХ. Явившись в следующее по чину после преддверия пекла помещение, Разумник первым долгом стукнул себя кулаком по лбу, наказывая за беспамятство. Ведь можно было и вовсе не тратить времени на хождение — место-то было выморочное.

...Несколько лет назад здесь еще вековал человек со странным именем Фоня́, служившим неуважительно-срамословным сокращением от звучного Афанасия, что означает у греков «бессмертный». В этом превращении вечности в вонь и была мрачно-торжественная его земная доля.

Вплоть до начала последней войны Фоня, а тогда-то еще Афоня был главным городским закоперщиком для всякого разбора молодечества, общим баловнем, на все умельцем, в том числе лихим охотником, ну и конечно, «предметом» для множества кременецких девок.

Будучи призван в отступающую армию, он впервые попал в окопы под Москвой в самый разгар немецких побед, когда за отсутствием парашютов новобранцев кое-где сбрасывали на бреющем полете прямо в сугробы. Их же часть посадили во второй эшелон, не выдав даже личного оружия — его и на передовой, считая с царскими трехлинейками, было в обрез: де, подхватите у первого же убитого.

Тут, как на грех, прямо на них прорвались танки; а Фоня, у самой смертушки в сенях не оставляя балагурства и, кроме того, крайне нетерпимо относившийся к бесхозяйственности, тем более там, где бойня людская идет, возьми да ляпни соседу: дали бы, что ли, хоть палку, не то чего ж здесь-то голыми руками поделаешь... На следующее утро его и забрали — прямо из хода сообщения.

Сначала за «вражескую агитацию» присудили коротко под расстрел; потом, пожалев рабочие руки, заменили его пятнадцатью годами. Освободился он по амнистии чуть пораньше, «всего» через тринадцать с небольшим, а пришедши домой, обнаружил, что изо всех своих погодков оказался единственным выжившим.

Но возвращение на пепелище Кременца наградило другой, вдвойне тягостной мукой: за время отсидки Афоня заболел нехорошей болезнью, которую зовут в народе «медвежьей»: он день-деньской сидел у окна в выданной от щедрот городской власти соборной конурке и, как только завидит любого чужака, идущего в двери дома, тотчас бледнел, прятался куда ни попадя и позорно клал в портки. Вот тогда-то имя его и окрали спереди еще на одну буквицу, прославив Фонёй.

Безнадежно промаявшись так еще довольно долго, он уже глубоким стариком не снес позора, вынул из заветного чехла единственное свое сокровище — старую крупповскую двустволку, выменянную у какого-то скупщика трофеев на пайки, и ранним утром в этой самой комнатенке пустил себе заряд дроби в рот. Так доказала жуткую злопамятность немилостивая судьба: завязанная треть века назад с нею перепалка про палку выждала наконец свой час, а потом тот постылый дрын, и помянутый-то только к слову, воплотился в сталь и произвел-таки обещанный выстрел.

С той поры в квартире самоубийцы никто уже не хотел селиться. Разумник еще присвистнул, обнаруживши на передней ее стене как раз там, где до́лжно было находиться цветастой росписи, лишь кучно легшие выщерблины от въевшихся в камень дробинок. Потом подошел вплотную и неожиданно увидел самый окусок надписи из сколотой рамки — но буквы ее никак не хотели складываться во что-то хоть мало-мальски разумное. «МО КА КИ-ЛА»,— списал он тогда их доточно в свою тетрадь, а затем прибавил насаженные на «О» какие-то чудные, книзу висящие усы.

По дороге в Бенескриптово книгохранилище ему наудачу попался встречь один из все более свободно завладевавших окружными помещениями приезжих реставраторов, и любопытный Сельнокринов, недолго колеблясь, отнесся за разъяснением смысла головоломки к нему. Тот взглянул раз, другой, затем стал что-то вычитать прямо на пальцах, мыча неудобо-

вразумительные числа полувслух, попросил карандаш и с его помощью вывел итог: «Мафей, глава 21, стихи 28—31».

— Это был отрывок из Евангелия, от которого сохранилась одна только сноска славянской цифровой азбукой,— пояснил внимательно соображавшему векописцу снисходительный знаток и тронулся, поспешая, прочь.

Разумник же Васильевич тогда, не отлагая на завтра, пошел разыскал на дворе Платона, вытребовал у него маленький, печатанный в шестнадцатую долю листа русскоязычный Новый Завет, открыл потребное место и прочел там следующее:

«А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: «сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «не хочу»; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «иду, государь»; и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?

Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие».

14. ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦЫ. Против ожидания, выдать на дом почитать поподробней книгу Бенескриптов отказался и решительно ее изъял, пробормотавши что-то вроде «еще не срок». Чтобы перебить недоумение, он осведомился, успел ли Разумник побывать у домового энциклопедиста — как он своеобычно назвал заштатного священника из намеченной на завтра для посещения квартиры. Сельнокринов честно признался, что не дошел до него, на что Платон, укорительно хмыкнувши, нехотя дал добро и принялся затем двигать дальше назад свое попятное историческое колесо.

— Видишь ли,— вопросительно запустил он,— ежели поглубже забраться в поисках истоков, то явление подмены или, иначе, заместительства началось гораздо прежде той поры, когда существительное «товарищ» было принято на казенную службу и начало получать ежемесячное довольствие.

Вот мне рассказывал как-то на Москве дружественный архивохранитель, что ему с соработниками пришлось не так давно наткнуться на целое половодье, прямо-таки разгул вместо — имений в самую еще нестесненную гражданской распрей пору. Они под рукою профессора Зайончковского готовили тринадцатитомный указатель «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях»; а поскольку дело происходило в правление временщика, чей девиз называется нынче «сухостой»,— то в разделе «Общественные движения» им было настрого заказано расписывать какие-либо партии правее левых эсеров.

Ну, тогда сии доточники вот какой нашли выход: они взяли и со всей добросовестностию изложили то, что еще можно было говорить без опаски, раскрывши попутно псевдонимы и внутрипартийные клички. И все вроде бы ничего, но стоило лишь высокопосаженному начальству взглянуть на подлинные имена своих прародителей, как оно тотчас схватилось за голову и немедленно приказало: закрывайте их обратно на хрен!..

Мало того, и за бугром, в мире как будто бы совершенно свободном, выкатившиеся туда поздорову русичи продолжили это подменно-заместительное движение, причем отнюдь не всегда из худых побуждений. Вот сейчас начинают широко перепечатывать главного писателя изгнанников Владимира Набокова — и он впрямую оказывается певцом той России, какая была бы, не приключись октябрьский переворот. У него почитай что в каждой книге есть такая неведомая страна — Тамарины сады, Зоорландия, Антитерра, Америссия; наконец, в вывернутом наизнанку саможитии «Погляди на скоморохов» он создал и воспоминание-замену, переписавши собственное прошлое не вовсе на иной салтык, но как бы рядышком с подлинным, сместив чуточку набок,— и вышла воистину жуть.

А еще, совсем уж недавно, целое общество выезжан предложило на весь мир своим бывшим соотчичам собрать достаточно денег, купить целиком остров в теплом океане или подле Канады и устроить там иную, другую Россию. Такую, где храм снова и навсегда станет храмом, а не выставкой или овощным хранилищем; овощная торговля в свой черед — зеленною лавкой, а не истоком для очереди; товарищ вновь сделается только заместителем, а человек вспомянет свое божественное происхождение и царское достоинство в тварном мире, примясь за достойное служение Создателю. Но при всем благом побуждении что-то не слышно, чтобы на деле оно сладилось,— по-видимому, без корня в от века данной земле и без ее живой воды из одной только положительной мысли отечественное древо в горшочке не вырастишь...

Вот тогда я тоже отправился к завтрашнему твоему собеседнику — у него ведь там прорва карточек по всем решительно духовным вопросам, и выбрал про чудотворные иконы Богоматери, считавшиеся от века вышними покровительницами Руси, ее народа и государства. Причем взялся не за прошлую, достаточно известную и печатную их судьбу, а за малоизвестную рукописную или даже устную нынешнюю.

Так вот, из полутора десятков самых повсеместно чтимых шестеро — Федоровская в Костроме, Почаевская в Почаеве, московские Иверская, Всех Скорбящих Радость, Утоли Моя Печали и Взыскание Погибших — остались у верующих в церквах. Еще две переправились через океан — Тихвинская и Курская-Коренная, где находятся в храмах Русской Зарубежной Церкви. Четверо угодили на позорище, то есть по-современному — в музеи: Владимирская, Донская, Боголюбская и Знамение. А к происшедшему с тремя последними рассматриваемое нами явление имеет самое живое касательство.

Смоленская Заступница — та самая, что была поднята на Бородинское поле,— пропала в родном городе в тридцатых годах, когда собор был обращен в выставку достижений воинствующего безбожия. Потом его снова открыли, в войну при немцах — на них же или на корыстных попов пытались и пропажу спервоначала списать, но народ не поверил. Тем не менее иконы так и не нашли по сию пору — и на ее место пришлось установить как раз «заместительницу», что находилась прежде в часовне по-над Днепром. Причем название «заместительница» известно было давно: такие двойники чудотворных образов нарочно изготовлялись для того, чтобы никогда не оголять намоленного местопребывания перворoдной иконы, когда она по случаю общенародного бедствия, особо торжественного события или даже по просьбе уважаемых прихожан ночью при свете факельщиков отправлялась в поход на сторонний молебен.

Сходная история приключилась и с прославившейся заметно позже, уже в девятнадцатом столетии, сперва на Москве, а потом в Полтавщине Козельщанской Богоматерью: при окончательном закрытии монастыря образ ушел в народ и по теперешний час, как слышно, хранится верными где-то на Урале, а в доныне действующий Красногорский женский монастырь, что близ города Золотоноша на Черкасщине, последние живые монахини принесли с собой заместительный список.

Кстати, не утихают и сказания о том, что Почаевская в одноименной Лавре в Тернопольском крае и Иверская в Сокольниках в Москве — тоже не исконные, а заместительницы...

Наконец, наиболее загадочная судьба постигла самую, пожалуй, широко почитаемую у нас Богоматерь — Казанскую, явленную некогда вскоре по взятии татарского ханства и осенявшую победу ополчения 1612 года. У нее еще сыздавна было целых две близнячки в других городах — одна в Казанском соборе на Красной площади, пропавшая без вести после разрушения собора в начале тридцатых (лишь список с московской заместительницы перешел в столичный патриарший собор в Елохове); другая, мерою значительно увеличенною — в питерском Казанском соборе, что

сейчас капище атеизма,— ее удалось перенести в тамошний действующий Владимирский собор.

Но вот исходная Казанская икона, сохранявшаяся в женском монастыре самой Казани, была в начале века похищена неким крестьянским вором Варфоломеем Чайкиным, который сам носил еще заместительное имя Стоян. Что его подвигало на святотатство — так и осталось невскрытым: то ли жадность, то ли кощунство, то ли «освободительные» идеи; а скорее все три эти порока разом. Как бы то ни было, будучи изловлен и посажен, он заявил, что драгоценную ризу переплавил, золото с камнями продал, а образ расколол да сжег в печке.

Затем он не единожды менял показания, ведя через посредников переговоры даже с самою сестрой последней царицы, благочестивой великой княгиней Елизаветой Федоровной, что недавно вошла в лик святых. Сулил показать место тайника с иконою, ежели его на время пустят на свободу, но, получивши по высокому ходатайству такой отпуск и даже обещание полного освобождения в случае возвращения покраденного, ничего не открыл, а вполне грубым макаром просто попытался улизнуть; однако тотчас был схвачен и водворен в первобытное состояние. Среди народа же чрезвычайно упорно ходило мнение, что чтимый образ был за несколько миллионов продан заволжским раскольникам, которые поколениями скупали дониконовскую старину.

Но вот в шестидесятые годы, уже на Западе, негаданно обнаружилась вновь эта Казанская Богородица — и по оценкам знатоков, проверявших в особенности драгоценности и золотой оклад, было согласно решено: подлинник! Иноверный владелец заломил за нее невподъемную зараз мзду — русские изгнанники несколько лет возили выданную на подержание чудотворную по городам и странам, пытаясь набрать потребное. Но все-таки не потянули — и тогда образ перекупили католики восточного обряда, то есть ненасильственная отрасль униатов. Они поместили его в великолепном соборе Восточного центра португальского города Фатима, который прославился явлением здесь самой Божией Матери в 1917 году, когда у нас еще сменяли друг друга различные стаи захвативших царское место временщиков. В трех откровениях детям-католикам, кои она велела им передать папе в Рим, Пречистая Дева предсказала, что судьба мира будет решаться в России.

А когда, уже по водворении иконы в фатимский храм, она была вновь благодаря католической правовой въедливости досконально изучена, то выяснилось, что драгоценное обрамление воистину настоящее, однако образ и письмо — великолепной современной работы. То есть как бы сияние сохранилось, сама же испускающая его слава вновь укрылась от людских нечистых глаз.

15. О БРАЧНОМ ПИРЕ. Первым, что непременно втемяшивалось в очи пришедшему в кельицу отца Ероса — а вел он свое прозвание прямиком от «эроса», то есть любви,— было изображение во всю стену, представлявшее зрелище довольно-таки развитого застолья, из нижнего угла которого двое ухватистых служителей вышвыривают кверху тормашками задрипанного чернявого наглеца.

Заштатного сельского батюшку, жившего тут на покое и иногда сослужащего в окраинной городской церковке, Разумник Васильевич знавал шапочно, да даже и бывал у него раза два пролетом, однако про суть этой картины спросить все было как-то недосуг. Теперь зато он уже заранее ведал, что разъяснение должно быть в ее подножии, заключенное в рамку, но как раз это место и было заставлено, точнее сказать — загромождено целыми грудами всеразличного разбора печатных произведений.

Сам же отец Ерос, довольно бойко сновавший по своему невеликому жизненному пространству, хотя и приметил под рукою любопытство при-

шедшего, отнюдь не торопился его удовлетворять, а сперва стал потчевать, чем был богат. Он подливал чайку собственного смешения, приправленного корицею и гвоздикой, подвигал рыжее рябиновое варенье, мазал маслом пухлую булку и щебетал, стараясь развеять мрачноватое настроение гостя.

Рассказал сперва народную притчу про спор наркома Луначарского с Богом, разрешенный простеньким приходским попом. Дело было так: читал председатель всесоюзной культуры лекцию про безбожие, два часа трудился и уморился, но все-таки под конец на всякий случай спросил: имеет ли кто что возразить? Тут откуда ни возьмись зашмурканный батюшок: дайте сказать два слова! Ну, Анатолий Васильевич ему строго: только два. Тот согласился, поднялся на возвышение да как возопит: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» — духом отозвался зал, и Луначарский был бит вчистую.

Какую-то схожую повесть, но несколько иного извода, Сельнокринов некогда уже слыхал, зато следующая байка, хоть и не очень удобного в печати свойства, оказалась ему впервой и изрядно-таки позабавила.

Приехал на село лектор-атеист рассказывать, что Гагарин Бога в космосе не встречал, а потому вопрос следует считать навеки закрытым. Говорил про семилетку, про догнать-перегнать, целину-кукурузу и прочее, а в итоге вывел, что пора по доброму согласию закрыть притон разврата и мракобесия, то есть церкву. И опять-таки: есть вопросы? Тогда подымается из заднего ряда седой дед и говорит: три, только маленьких. Ну, давай побыстрей,— отвечает деятель фирмы «Знание».

— Ты тут так толково разъяснял, доброхот, все про ученое; но вот ответь-ка: а что коза ест?

Народ стал тихонько шушукаться, а говорун обиделся: дескать, хоть я и в городе живу, но в дураках никогда не хаживал и отлично знаю — коза питается травою.

— Правильно. А корова — она чем «питается»?

Зал стал хихикать сильнее, а приезжий еще более раздражился:

— Ясное дело: и корова тоже травой.

— Молодец! Теперь ответь на третий и последний: почему едят они одно и то же, а говно у них разное?

Ну, тут все прямо покатились со смеху, а лектор-то и замялся, стал в пень.

— Вот то-то,— заключил старикашка.— В говне и то ты не разбираешься, а туды же еще Бога отменять!..

Наконец, поерничав да протомивши сколько положено, отец Ерос сжалился и пояснил, что за притча такая изображена у него в стенном писании, возгласив привычно нараспев на гремучей славяни:

«Уподобися Царствие Небесное человеку царю, иже сотвори брак сыну своему и посла рабы своя призвати званныя на брак — и не хотя приити. Паки посла ины рабы, глаголя: рцыте званным — се обед мой уготовах, телцы мои и упитанныя заколена, и вся готова: приидите на брак. Они же, небрегше, отыдоша: ов убо на село свое, ов же на купли своя; прочии же, емше рабов его, досадиша им и убиша их. И, слышав, царь той разгневася и, послав воя своя, погуби убийцы оны и град их зажже.

Тогда глагола рабом своим: брак убо готов есть, звании же не быша достойни. Идите убо на исходища путей и, елицех аще обрящете, призовите на брак. И, изшедше раби они на распутия, собраша всех, елицех обретоша, злых же и добрых, и исполнися брак возлежащих.

Вшед же царь видети возлежащих, виде ту человека, не оболчена во одеяние брачное. И глагола ему: друже, како вшел еси семо, не имый одеяния брачна? Он же умолча. Тогда рече царь слугам: связавше ему руце и нозе, возмите его и ввергзите во тму кромешную: ту будет плач и скрежет зубом. Мнози бо суть звани, мало же избра́нных».

...Необычное ударение на «брань» отвлекло на миг внимание Разумника от явного противоречия начала притчи с ее конечною частью; но затем,

слушая рассказ самого отца Ероса, он, несомненно, ощутил некую тончайшую перекличку его изворотов и той истории, что бросила видимый отблеск на стену сего жилища...

После безвременной кончины матушки — а пословица про то, что «последняя у попа жена», верна и доселе, ибо священнослужащим из белого духовенства второй брак навсегда возбранен канонами,— он постригся в монахи и занялся богослужебной наукою: благо еще «за Польшей», в тридцатые годы окончил юношею православный факультет в Варшаве. Но вот, когда годы стали все сильнее «к нулю клонить» и телесные силы постепенно начали покидать — обедню он еще мог отпеть, а вот крестины, панихиды и прочие разъездные требы сделались уже невподъем,— пришлось уходить «за штат». Да еще был он и чрезвычайно остер на язык, будучи выучеником незабвенного митрополита Антония Храповицкого, тоже за разлапистым выражением далеко никогда не ходившего: уже после Сталина чуть было не загремел отец Ерос со своим заграничным образованием с прихода долой за прилюдное глумное рассуждение о том, что «демонстрация» есть плод незаконной случки демона с монстром. В самый же год отставки, неволею наблюдая в гостях у епархиального владыки по телеящику возрожденный натужно языческий обряд зажжения от солнца олимпического огня, взял да и брякнул вслух при областном уполномоченном, что точнее сказать будет не «Олимпиада», а «Олимп-изада»...

Ну и какой пенсион у заштатного клирика? Жутко сказать: за двадцать пять лет службы полста рублей, а потом еще за каждый следующий годик набавляется по рублишке. Глядишь, к вечному возрасту стольник-то и набежит. Негусто.

Вспомянул он тогда былую академическую дружбу, торкнулся на Москву в издательский отдел Патриархии, а там неожиданным счастьем попался ему навстречу соученик, ходивший нынче аж в митрополичьем сане. Тот сердцем не зачерствел при начальничьей своей должности, но приткнуть без прописки на работу однокашника ему оказалось все-таки не под силу — и он придумал такой урок: сочинить в одиночку новую богословскую энциклопедию, благо за всю историю Русской церкви выходила она только раз в начале нашего века, да и то дальше литеры «К» так и не продвинулась.

Обрадованный старичок уже через год приволок в столицу к успевшему за суетой позабыть сделанное благодеяние и никак уже не рассчитывавшему на такую немолодую прыть владыке тысячестраничный, в полтора интервала печатанный томище на «А» — с антихристом, Арием, адом и антисемитизмом в прочем числе.

Удивленный до зела митрополит выдал щедрой рукою тыщу за тыщу и ласково благословил продолжать работу, опасливо разочтя про себя, что не имеющий сносу монашек, глядишь, к ста десяти годам — Бог милостив — возьмет да и напишет весь труд сполна.

Так он шажочками, по буквице в год и двигался потихоньку вперед, покуда высокому покровителю не взошла в голову мысль пробежать как-то в томе «Ж» статейку о собственном своем журнале. А там было написано досконально все, что о нем следует прямо по совести: и хорошего, и справедливого.

Гнев владыки был неописуем. Целую неделю его самые пышные среди всего великорусского епископата усы висели строго книзу — что для всего сонма сотрудников служило ужаснейшим указанием: лучше не подходи; ибо даже при горизонтальном их положении всякий вопрос имел лишь половинную вероятность благополучного разрешения, а уж тут оставьте надежду навеки! Затем отходчивое сердце митрополита понудило его оказать прощение, но впредь укромному энциклопедисту было строжайше повелено напрочь выкинуть из «словника» статей всякое современное содержание, ограничась вопросами истории и высокого бого-

словия; сама же рукопись теперь выдавалась даже работникам издательства с чрезвычайным разбором и под расписку о неразглашении.

Тем не менее неутомимый кременецкий батюшка достиг к тысячелетию Крещения Руси уже и до «М», пробравшись во вторую треть всего начинания.

Прощаясь, Разумник Васильевич смотрел на добросовестного сработника своего погибшего отца почти как на святого подвижника; а тот, по всей видимости, уловил это грозящее гордостным превозношением почитание и поспешил отшутиться:

— Но ведь я между тем все-таки и нынешние материи не обхожу стороной, только помещаю их для себя, в приложении — авось что-то в будущем сменится, и правду не только думать будет позволено. Вот скажи-ка, Разумник, верно ли будет кратко определить «Мавзолей» как «анатомический театр одного актера»?

16. ВСЕСЛАВ ЧАРОДЕЙ. — Внук Рогнедина первенца Изяслава, — писал далее в своем историческом повествовании Сельнокринов, — основавшего династию местных князей, знаменитый Всеслав Брячиславич вокняжился в 1044 году и из своих чрезвычайно долгих для тех времен земных лет с различной протяженности перебоями правил 57. Он оставил по себе в устной и письменной словесности весьма стойкую славу волшебника-оборотня и кудесника.

По преданию, мать — жена Брячислава Изяславича — еще прежде его появления на свет держала совет с волхвами, чему непосредственно обязано было само рождение. Та же связь продолжалась и впредь. «Матери бо родивши его, — пишет Нестор, — бысть ему язвено на главе его, рекоша бо волсви матери его: «Се язвено навяжи на нь, да носит е до живота своего», еже носить Всеслав и до сего дне на собе; сего ради немилостив есть на кровьпролитье». У знатоков по сю пору не прекратились споры, что это за «язвено» такое: отметина ли родовая, колтун или родился он в прямом смысле «в сорочке» — остатке утробного пузыря.

Былинное прозвание князя — Волх Всеславьевич, и про его земное начало в древнейшем собрании Кирши Данилова сохранилась одноименная песня, в первых строках которой сказывается:

По саду, саду по зеленому
Ходила-гуляла молода княжна
Марфа Всеславьевна,
Она с каменю скочила на лютова на змея;
Обвивается лютой змей
Около чобота зелен сафьян,
Около чулочика шелкова,
Хоботом бьет по белу стегну.
А втапоры княгиня понос понесла,
А понос понесла и дитя родила.
А и на небе просветя светел месяц,
А в Киеве родился могуч богатырь,
Как бы молоды Вольх Всеславьевич.
Подрожала сыра земля,
Стреслося словно царство Индейское,
А и синея моря сколыбалося
Для-ради рожденья богатырскова,
Молода Вольха Всеславьевича;
Рыба пошла в морскую глубину,
Птица полетела высоко в небеса,
Туры да олени за горы пошли,
Зайцы, лисицы по чащицам,
А волки, медведи по ельникам,
Соболи, куницы по óстровам.
А и будет Вольх в полтора часа,
Вольх говорит, как гром гремит:
«А и гой еси, сударыня матушка,

Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай во пелену червчатую,
А не поясай в поясья шелковыя, —
Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатныя,
А на буйну голову клади злат шелом,
По праву руку — палицу,
А и тяжку палицу свинцовую,
А весом та палица в триста пуд».
А и будет Вольх семи годов,
Отдавала его матушка грамоте учиться,
А грамота Вольху в наук пошла;
Посадила его уж пером писать,
Письмо ему в наук пошла.
А и будет Вольх десяти годов,
Втапоры поучился Вольх ко премудростям:
А и первой мудрости учился —
Обвертоваться ясным соколом,
Ко другой-та мудрости учился он, Вольх, —
Обвертоваться серым волком,
Ко третьей-та мудрости учился Вольх —
Обвертоваться гнедым туром — золотыя рога...

Не дивно, что именно в правление сего князя в городе пошли твориться многие чудеса. Самое из них известное случилось в 6600 году от сотворения мира, или от Рождества Спасителева в 1092-м. «Предивно бысть чюдо, — свидетельствует «Повесть временных лет», — в мечте: бываше в нощи тутънъ (топот), станяше по улици, яко человеци рищуще беси. Аще кто вылезяще ис хоромины, хотя видети, абье (тотчас) уязвен будяще невидимо от бесов язвою, и с того умираху, и не смяху излазити ис хором. Посем же начаша в дне являтися на конихъ, и не бе их видети самех, но конь их видети копыта; и тако уязвляху люди градскыя и его область. Тем и человецы глаголаху, яко навье (мертвецы) бьют...»

Опять-таки существует множество гаданий и книг про сие дивное явление, но, кажется, никто еще не доискался провести сопряжение между язвами горожан и той, что их князь получил от рождения.

В образах чрезвычайной выразительности и вместе тайны говорит о Всеславе Чародее «Слово о полку Игореве»:

«На седьмом вице Трояни връже Всеслав жребий о девицю себе любу. Тъй клюками (хитростью) подпръся о кони, и скочи к граду Кыеву, и дотчеся стружием злата стола Киевского. Скочи от них лютым зверем в плъночи из Бела-града, обесися сине мгле (бесом одержим?), утръже вазни с три кусы (трижды добыл победы?): отвори врата Нову-граду, разшибе славу Ярославу, скочи влъком до Немиги с Дудуток. На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными (булатными), на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брезе не бологом (не на добро?) бяхут посеяни, посеяни костьми руских сынов. Всеслав князь людям судяще, князем грады рядяше, а сам в ночь влъком рыскаше: из Кыева дорискаше до кур (?) Тмутороканя, великому Хръсови (языческий божок Хорс) влъком путь прерыскаше».

И вот тут впервые входит в наше вскописание его средоточный соборный храм — повествователь говорит, что когда здесь в городе Всеславу «позвониша заутренюю рано у святыя Софеи в колоколы, а он в Киеве звон слыша. Аще и веща душа в дръзе (дерзком) теле, нъ часто беды страдаше. Тому вещий Боян и пръвое припевку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути!»

Летописные обстоятельства Всеславовых приключений чуть более приземленны, однако необычайного и в них находится совсем немало. В 1067 году он «заратился», осаждал Псков, затем отворил врата Новгорода и ограбил тамошний храм Святой Софии — заложенный лишь год спусти после его собственного вокняжения, — сняв колокола и паникадила. В ответ трое Ярославичей — Изяслав, Святослав и Всеволод — собравшись, взяли Минск, где перебили всех мужей и подошли к речке Немиге,

той самой из «Слова», на которой некогда стоял Минск, а нынче ее и следов нет: пересохла.

Здесь между ними «бысть сеча зла, и мнози надоша, и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежа». Они погнались вслед и, почти настигнув беглеца, поцеловали в знак клятвы Честной крест, вызывая его к себе: «Приди к нам, яко не створим ти зла». Понадеявшись на крестное целование, Всеслав переехал в противный стан на ладье через Днепр, вошел в Изяславов шатер на Рши близ Смоленска с двумя сыновьями, но тотчас же был крестопреступно взят, вывезен в Киев и посажен в «поруб».

В защиту поруганной клятвы вступился уже как бы сам Крестный Искупитель: на следующий год пришло на Русь великое множество половцев и разбило трех Ярославичей в прах на реке Альте. По сему случаю Нестор проводит такое различие: иноплеменников,— говорит он,— на согрешившую землю наводит сам Бог, дабы сокрушенные люди вспомнили о Нем; а междоусобную брань насылает соблазнитель дьявол.

Изяслав бросился из Киева наутек, «людье възвыли», «высекли» Всеслава из поруба и прославили посреди великокняжеского двора новым над собою владыкой. Так Всеслав воссел на Киевском столе.

«Се же Бог яви силу крестную,— гласит «Повесть временных лет»,— понеже Изяслав, целовав крест, и я (взял) и (его); темже наведе Бог поганыя, сего же яве избави Крест честный. В день бо Вздвиженья Всеслав, вздохнув, рече: «О, Кресте честный! Понеже к тебе веровах, избави мя от рва сего. Бог же показа силу крестную на показанье земле Русьстей, да не преступают честнаго Креста, целовавше его; аще ли преступил кто, то и зде приимет казнь, и на придущем веце казнь вечную».

Затем еще множество приключений ждало Чародея: просидевши в Киеве всего семь месяцев, он вынужден был вновь мчаться в свое родовое княжество, но изгнан был и из него; потом вернул себе родной город, воевал с Владимиром Мономахом... Однако умереть судьба судила ему все-таки в наследном граде, восьмидесяти лет от роду, в 1101 году, апреля 14 дня, в первом часу полудня Воскресения. Землю он поделил между семью своими сыновьями — Борисом (тем, что ставил впоследствии обетные камни), Романом, Давидом, Глебом, Ростиславом, Святославом и Рогволодом. Но главным его наследием оказалась воздвигнутая князем-волхвом доныне стоящая Святая София.

17. О ДЕСЯТИ ДЕВАХ. В следующей квартире помещался молодец по кличке Серёня, недавно выпущенный из армии, который за свои художества на гражданке угодил на казенной службе в стройбат,— почему по освобождении оказался вдобавок обладателем тыщёнки-другой «на пропой души». Славился он еще величайшею способностью «отливать пули», причем самое обворожительное состояло в том, что после проверки почти все его наиневероятные сказания оказывались вполне насущною правдой. Со временем он даже наторел подбирать и чужие заковыристые предания, чтобы потом пускать их на спор с малознакомыми новичками по меньшей мере за четвертной,— который тотчас же взаимно становился на ребро.

В отнюдь не указный час Разумник застал у него целый сонм развеселых заседателей, крутивших на столе, однако, не блюдце в спиритическом бдении, а граненый стакан на сеансе вполне спиритуозном.

— О, свежий член! Добро пожаловать, посетите ложу, брат испытуемый! — загалдели они, без зазрения употребляя ходячие понятия из недавно выпущенной в Минске книжки про тайные масонские сообщества, которую по обычной нашей привычке прочли с обратным смыслом и немедленно приняли на вооружение все, что там самым уверенным ученым толком круто осуждалось.

Сельнокринов оглядел наличный состав свежеиспеченных мастеров

застольного цеха, среди которых легко распознал грехомыку-водителя, домового производителя своеродной житнёвки (водки на жите) с соответственным прозванием Согомонов, забичевавшего международника Пуцинко по кличке «Мокрый», нехорошей славы портного Засядко и пятерых малоизвестных, из коих лишь двое были глумливо представлены как Циклодольщик и Сеня-Чифирист.

— Вишь, Пушкин, тот трескал «Вдову Клико» — только она от нас далеко! А близко — одна собственная редиска... Зато на фармазонский лад как все те вольные каменщики звались-то? Дети вдовы! Вот мы и учредили над отечественною шипучкой и сухим молдаванским хересом всенародную ложу «Дети вдовы Клико»! Или Клюко — клюкнем, и поехали за Сулико. Пьем шмурдяк да косорыловку с маком и закусываем та́ком...

Разумник Васильевич, делать нечего, примкнул на правах вольноопределяющегося к веселому обществу столовых работ, но ему отнюдь не собирались дать за то право на покой. Серёня принялся донимать собратьев расспросами: дескать, не довелось ли кому смотреть по «ящику» в день чекиста, как раз после семидесятилетия Лёнькина, праздничное представление? Штуковени этой у Сельнокринова не было в заводе ни белой, ни цветной,— и он преспокойно отозвался неведением. Однако неугомонный балабол обратил тогда внимание присутствующих на самое разительное происшествие — непосредственный зачин торжества.

— Да неужто никто так-таки и не помнит?! На что тогда ваши зенки, братство почтенное! Вышла объявлялка в манто и говорит: первым номером нашей программы идет ария Гуно из «Фауста» в исполнении Мефистофеля, а поет народный певец Кочерга. И ка-ак энтот дядя грянет что есть мочи с порога: «Сатана здесь пра-авит бал... Пра-а-авит балл!!!» Зрителей из-за тайности их занятия вблизи, как всегда, конечно, не показывали,— зато через микрофон было слыхать, что восторг и хлопанье были прямо-таки оглушительные. В точку попал товарищ Кочерга, чтоб его подняло да гепнуло...

Самое забавное, что Сельнокринов после столь чувствительного напоминания вызвал-таки из отстойников минувшего в точности это видение: ибо двадцатое декабря как будто бы случайно приходилось не только на сказанный сословный праздник, но и на собственный его день рождения; а как раз именно после брежневских юбилеев он, по несчастию, на следующие сутки принужден был вместо домашнего застолья отсиживать общественную повинность в избирательном участке и там с горя да тоски уставил око в телетрубу.

Он подтвердил невероятную правду сказанного, а довольный выигранным «башлем» Серёня — ведь у Сельнокринова была слава болезненно честного на прошлые события свидетеля,— поехал вперед и принялся повествовать про то, как, прокутивши дотла строительные тугрики, нанялся абы далеко не ходить рабочим в закрытый такой «серпентарий». По-русски же говоря, это был гадюшник в точном смысле понятия — заведение, где держали, разводили и даже доили змеюк в прикровенно научных целях. И все это хозяйство помещалось, как с просьбой не гнать далее волну признался болтливый знаток, тут же в соборном подвале — ход в него вел через тыловую каморку, немного не достигая калориферной преисподней.

На сие сообщение совокупившиеся братья согласно охнули, выбранились как подобает, а затем спросили: не бывало ли у ползучих гадов случаев побега?

— Как не бывает: кто же свободу не любит,— грустно признался серпентовед, но далее простирать свою речь в сию область не стал, а предался пеням на то, что-де начальство словно сбесилось и что ни год требует увеличения надоев целебного яда, каковое его служебное рвение никак невозможно положительно втолковать непонятливым глупым рептилиям:

так что сколь их ни дрочи по зубам, больше положенного природою количества отравы оттуда не вынешь.

— Нет, ты по-товарищески признайся: бегают они у вас или нет? Может, они уже под полом клубятся и еще не ровен час до нас проползут? — не унимались взбудораженные граждане.

— А чего — им это запросто...— неутешителен был Серёнин ответ.— Вон, зимой, помните, я еще два битых месяца в больничке-то проваландался? Думаете, за что? И еще подписку взяли — не разглашать... Да катись они к Евгенье Марковне, все одно теперь отсель съезжаем!

Короче, уползила с утречка одна таки гюрза. Мы ее шасть туды, масть сюды: а только на наш шнырь у нее-то хренырь — ищи ветра в поле. Пустились обследовать помещения угол за углом; ну и полагается, ясное дело, по инструкции работать исключительно в перчатках,— хотел бы я только посмотреть на того обалдуя, который руки в эдакой духотище часиков эдак с пяток подержит. А еще тот треклятый котельщик, мыслитель чортов, как нарочно, наяривал жару — и какая ж тогда безопасность к елдам собачьим...

Ну, уже под конец лезу я на всякий пожарный за шкаф у главврача, только туды левой рукой тырк — да прямо ей в морду, гадюке. А она вообще-то человек мирный, так здорово живешь не кусается, ежели ее не замать особо и когда сытая. Но тут-то — кому же приятно, вы бы и то ведь огрызнулись... Ну и ударила махом!

Слава Тебе, Господи, вспомнил я, как старый сменщик наставлял — сейчас бритвой, зажмурясь, по запястью полоснул, вену отворил да бежать. Иначе лишь замешкайся — сразу до сердца ядина доплывет по жилам и звездец, паралич как самое малое...

Засим он предъявил примолкшему сообществу тугой веревчатый шрам на нежном белесом обороте шуйцы. Народ сочувствующе заойкал, но Серёня признался, что не это было самое поганое. Хуже оказалось, когда он, провалявшись в лечебнице в бреду пару недель с распухшими по всему телу шишками на лимфатических узлах, начал уже кое-как оклемываться и ему, не предупредив, позволили самостоятельно навестить общий нужник.

— И вот справил я, братья, что надобно,— сетовал рассказчик,— а потом, обратно на койку идучи, возьми да и зыркни на себя в сортирное зеркало. Гляжу: урод уродом, лицо бледное, испитое, страшней твоей жопы, прости, Игорек, щеки отвисли как у той бабы кой-чего на карачках, а ниже-то — мамочка родная!.. Только увидал — и бряк с копыт, да виском об трубу и трахнулся: сиськи ровно как у Машки-тибетчицы! Вот эдак,— предъявил он для-ради наглядности размер вогнутыми ладонями.— Так я через те подлые железы почти что каюк и спроворил!

Слушатели вместо сочувствия поневоле загоготали, но Сельнокринову отчего-то сделалось отнюдь не смешно, а явственно тошно. В третий раз он попадал на выпивку людей, до одури и забвения души задрюченных постылым существованием, но, сам будучи на корню русским человеком и весьма-таки выпивающим, возроптал наконец на судьбу: разве так надо в полном своем достоинстве противостоять ее подлостям?!

Его действительно замутило, и он зашел подышать чистым воздухом к окну за шкаф; а там, уже позабывши обязательность другого урока, натолкнулся на вездесущую рамку с полустертою надписью. Слова ее были лишь наполовину различимы, однако слева рядом какой-то по всей видимости реставратор или изыскатель пришпандорил натюканную на машинке через полтора расстояния пояснительную телегу:

«Тогда уподобися Царствие Небесное десяти девам, яже прияша светильники своя и изыдоша в сретение жениху. Пять же бе от них мудры, и пять юродивы. Юродивыя же, приемше светильники своя, не взяша с собою елеа. Мудрыя же прияша елей в сосудех со светильники своими.

Коснящу же жениху, воздремашася вся и спаху. Полунощи же вопль бысть: се жених грядет, исходите в сретение его. Тогда восташа вся девы тыя и украсиша светильники своя. Юродивыя же мудрыя реша: дадите нам от елеа вашего, яко светильницы наши угасают. Отвещаша же мудрыя, глаголюще: еда како не достанет нам и вам: идите же паче к продающим и купите себе. Идущим же им купити, прииде жених: и готовыя внидоша с ним на браки, и затворены быша двери. Последи же приидоша и прочия девы, глаголюще: Господи, Господи, отверзи нам. Он же, отвещав, рече им: аминь глаголю вам — не вем вас.

Бдите убо, яко не весте дне, ни часа, в онь же Сын человеческий приидет».

18. СОБОР.— Епархия здесь учреждена в самый год Крещения Руси,— продолжал Разумник,— а вскоре на маковице горы поставлен и деревянный храм — предотеча нынешнего.

Сам же Софийский собор — древнейшее каменное здание в Белом Русском крае — выстроен был одновременно с Софией Новогородской и лишь на четверть века позже Софии Киевской Чародеем Всеславом около 1044 лета от Воплощения Спасителя.

Поскольку своих зодчих было еще не в достатке, пригласили на подмогу византийцев. В полдень, когда солнце стоит наиболее высоко над небоземом, на оттаявшей и просохшей по весне земле градского Детинца с юга был размечен строго по сторонам света квадрат, затем расчерчен вдоль и поперек на двадцать пять ячеек, самая большая по площади из которых помещалась посереди... В местах пересечения линий были наметаны крещатого сечения столпы, и еще трое их дополнительно помещено против входов с севера, юга и запада. С востока противостали три алтарных абсиды с самой высокой средней.

Основание было заглублено в землю всего лишь на аршин, и туда вбили дубовые лёжни. Стены, напротив, вывели могучие — от полутора до двух с половиною метров. В кладке чередовались ряды тонкого кирпича, равнявшегося на византийскую плинфу, и природного местного булыжника. Каждый второй ряд был утоплен в глубине кладки и затирался обмазкой, однако остальные стены не штукатурились. Цемяночный белорозовый раствор таким образом разграфляли темно-красными плинфяными и серыми булыжными полосами, причем с повышением роста камни подбирались размером все меньше. Пол замостили поливными желтыми, зелеными и коричневыми плитками. С юга, запада и севера на втором ярусе возвели хоры. Стены украсили письмом сплошь, но доныне сохранились лишь остатки тех фресок, лучше всего в щеках на откосах окон, росписи среднего ряда на евангельские сказания и часть Евхаристии в восточной абсиде.

Воскресенская летопись сообщает древнейшие сведения о городе: он «древян», но «святая София о седми версех» каменная. Надо полагать, что, кроме ставшего впоследствии общепринятым пятиглавия, крестовокупольное строение было дополнено двумя куполами над западными башнями. Внутри средокрестного шлема поместили изображение Христа Вседержителя. По сю пору алтарь сохранил остатки «синтрона» — седалища для иерархов и иереев.

Строился соборный храм всем миром. Совсем недавно на большом камне в основании церкви обнаружены были процарапанные имена нескольких его непосредственных создателей — Давид, Тоума (Фома), Микоула, Копыс (прозвище языческое), Петр и Воришько. С востока в наш уже век недреманные археологи раскопали шестнадцать княжеских саркофагов.

В соборе хранилась и княжеская казна с библиотекою; здесь принима-

ли послов, объявляли земле о войне и мире. Четыреста лет, вплоть до пятого на десять века от Рождества Спасителя, под его стенами собиралось градское вече.

Первенец Чародея Борис, продолжая отцово начинание — подобно наречению Адамом имен всей поднебесной твари,— расставил по своему княжеству Борисовы камни, саженей пяти в обхвате и тонн тридцать весом. Одна сторона их была неотменно отесана, там помещался шестиконечный крест и одинаковая надпись «Господи помози рабу своему Борису». Нынешние ученые полагают, что ими метился путь из варяг в греки, то ли запечатлевался уровень наивысшего поднятия вод в паводок, или это были перебитые языческие идолища; а быть может, они являют собою остатки двоеверного борисо-глебова календарного культа — и тогда день установки может быть определен точно: 2 мая 1128 года. Один из камней по имени Борис-хлебник в 1981-м, то есть восемь с половиною веков и еще три года спустя, был извлечен из-под соборной горки и установлен обок с Софиею.

А о высоком смысле ее собственного имени речь будет особая.

19. О ТАЛАНТАХ. Сперва в этой комнатенке Разумник Васильевич ничего не сумел различить среди клокастых извержений ядовитейшего дыма, колыхавшихся от полу до потолка так, что коли уж не топор, то шляпу смело можно было бы вешать — и он едва избежал сего искушения, благо она-то как раз и венчала сегодня его залысую маковку по причине приключившегося извне дождя.

Тогда он, прегорько поперхнувшись едким дыханием, зашелся в приступе раскатистого буханья и тем самым возбудил гостеприимство в безмятежно кейфовавшем невидимом обитателе.

Тот распахнул наотмашь окно, отраву потянуло вон сквозняком, словно грязную занавесь, и за нею обнаружился наконец «сам» — Иван Сократович Рукосуев, вечный экскурсовод или, как он перевирательно-точно звал себя — экскурсовед.

Немотствовал же он, как вскоре выяснилось, однако вполне мятежно — зазубренная небритая кожа на лице топорщилась коротким пером подшерстка, волосы были навстобурчены, а глаза бегали в поисках, кому бы излить душу. Для исповеди требовалась какая-нибудь самомалейшая зацепка — ее-то и принес Сельнокринов, невольно обративши внимание на межоконный простенок.

Впрочем, там, как и на всех выбеленных и успевших уже изрядно посереть стенах, было пусто и висел только детскообразный рисунок пузатого мешка с высыпающимся наружу серебром, какие малюют на картинках у заокеанских толстосумов, но цена была указана наша и с превеликою точностью: 16 700 руб. 70 коп. А поверху шла еще надпись с застарелым ером в конце: ТАЛАНТЪ.

— Ты что ж это, Разумник свет Царевич,— невесело усмехнулся экскурсовед,— нынче какой-то смурной или, как теперь говорится в среде художников, сюрной? Или талант тебе мой не по нраву?

— Какой? Этот? — не доразумел Сельнокринов.

— Он самый. А ведь без малого семнадцать тыщонок...

— Да нет. Но чего ты того накурил-то — раньше ведь и не смолил вовсе?

— А с Дымшицем, с начальником родным пособачился. И решил учинить ему экзорцизм — изгнание беса,— мудрено пояснил Иван, сын Сократа, а затем басисто возгласил: — Как говорил поэт: «Сей Дымшиц нам в Отечестве ни сладок, ни приятен!»

Сельнокринов подивился новостям, ибо у заведовавшего городскою культурой Дымшица Рукосуев всегда ходил в знатных ведунах по всем

достойнопримечательностям и выставлялся в качестве образца для самых именитых посетителей.

— Телегу на меня накатали. Донос,— признался тот. — Дескать, какому-то обидчивому шишу заявил неподобно: де, пресловутый Каганович взорвал храм Христа Спасителя.

— Ну и что? Про это сейчас уже везде пишут.

— Про Христа — да. И про Кагановича тоже бывает. А вот «пресловутого» предложено в письменной форме объяснить. Да пошел он со всеми своими гостями и костями... под марши Маршака к Софье Власьевне! Я и без него со своим талантом... Куда только я с ним, а?

Тут он опять загорюнился, но потом все же отмяк и начал изъяснять Разумнику исходный смысл слов.

— Талант — это в евангельский век была точная мера для серебра, двадцать шесть килограмм. А Христос насчет него сказал народу такую вот притчу

...Некий человек уходил на чужбину и оставил рабам на сохранение свое именье: кому пятеро талантов, кому два, а кому и один. Те, которые получили пять и два, пустили их в оборот и приобрели вдвое. А получивший один просто закопал его в землю — вот откуда пошла та пословица. Спустя долгое время вернулся подлинный хозяин и потребовал отчета. Умножившим имение он сказал: вы были верны в малом, поставлю вас и над многим — войдите в радость господина своего! Подошел и тот, который зарыл серебро, и сказал: я знал, что ты господин жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь то, чего не рассыпал,— поэтому скрыл талант свой в земле, и теперь возьми его себе обратно. Господин ему в ответ: раб лукавый и ленивый, знал ты все верно, но потому-то надо было отдать серебро взаймы торгующим и вернуть его мне с прибылью. А теперь заберу у тебя и то, что имел, и отдам обладающему десятью талантами — тебя же выброшу во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет,— имеющий же уши слышать да слышит!..

Теперь хоть ты мне, Разумник, разъясни: что же такое деется?! Который год уже я не то что по городу, а по всей стране вожу группы, сопровождаю в дороге на поезде или в летаке́, расселяю в Иркутске или там Ереване, сдаю на руки местным водителям и гуляю себе на воле: дорога с едою даром, да еще и четвертной в зубы. И вон чего натащил со всех концов,— он кивнул на окружающий превеликий полк старинных диковин, от благородной желтизны карт погибших империй до западноукраинских изразцов, «файных кахлей».— Бросил напрочь свою инженерию, мотаюсь по миру, поглощаю книжки и виды, потом другим рассказываю — и не могу уже остановиться... А к чему это все? Вбил я то сокровище в почву, а оно расти-то никак не желает. И меня еще, оказывается, всякий чиновный шпень может к ногтю прижать или как нагадившего кота в свою лужу ткнуть прямо носом... «Пресловутый»! Фу-ты ну-ты, хрены гнуты!!!

Он вдруг присел и октавою ниже, почти шепотом спросил:

— Слушай, Васильич, но только между нами — Бог есть?

Сельнокринов честно отозвался, что сие есть вещь глубоко личная.

— Хорошо, точней плохо. Скорее всего действительно есть, но вот верить-то в Него я не могу. Знаешь, в словаре мифов значится такое племя в Сибири: они признают существование Творца, но честят его крайне чудно — плюются, ругают, бранят на все корки. Дескать, создал вечную мерзлоту, всю жизнь знай за едой и огнем гоняйся, невесть зачем засадил в эту прорву бедного человека — безобразие, да и только!

Разумник Васильевич ощутил от этих слов явственный холодок по коже — да и впрямь, вслед за «Дымшицем» не умеющий остановиться ветер утянул прочь тепло.

— Вот ведь как я повис ни тут и ни там,— закончил речь экскурсовед.— Знать знаю, а верить достоинство не позволяет. Ненавижу любое начальство, хоть ты меня убей.

20.НАРОД В ИСТОРИИ. Тотчас по выходе из экскурсоведческого загиба Разумник Васильевич, несший только что услышанное с крайнею осторожностью, будто чашу с опасным напитком, боясь расплескать содержимое прежде, чем занесет его на бумагу,— ибо убежденно считал, точнее веровал, что отрицательный опыт еще полезнее, нежели положительный и ударный,— столкнулся лоб в лоб с затейщиком всех случаев Бенескриптовым. Тот понимающе отскочил, словно страшась обжечься свежекипящим историческим варом,— и лишь на расстоянии осведомился, докуда успел довести свои разыскания старательный векописец.

— Ах, до порога Софии! Ну что же, неплохо, теперь пожалуйтека со мною,— великодушно пригласил он, неся под мышкой источниковые добавки, в архивную камеру; но внутри нее неожиданно завел речь на иной совсем лад.

— Способен ли единый человек повернуть историю? — таким вопросом огорошил он с ходу Разумника, доверчиво пришедшего всего лишь за новыми книгами. И сам же предложил ответ: — По своей собственной личной воле скорей всего нет. Но вот ежели он вдруг, сам того не желая, окажется на тройственном перекрестке — а при ближайшем рассмотрении «вдруг» есть случайность отнюдь не случайная,— когда его невидимая песчинка способна лечь решающей кладью на весы судеб, то отчего же? А такой поворотный свершительный миг вероятен в каждую точно минуту. Посему следует постоянно пребывать наготове, ощущая себя всегда ожидающим востребования на дело.

Вот один полезный и почти совершенно позабытый пример, который произошел с выпавшим из ученой памяти, однако в свой час вполне знаменитым деятелем прошедшего века Гиляровым-Платоновым, когда он с двумя наперсными друзьями проходил обучение в Троицкой Сергиевой лавре.

Весною 1848 года, когда по всей Европе задымились восстания и возмущения, однажды по непредсказуемой случайности в город совсем не пришла московская почта. Тогда приятели удалились совещаться за монастырские стены, и Гиляров-Платонов сказал: вы слышали, что толкуют о бунте. Может быть, это вздор, но представьте, что в Петербурге революция, порядок поставлен вверх дном, и мы сегодня ли вечером, завтра ли получим предписание от нового правительства о присяге. Как мы должны вести себя, будучи первыми студентами? Ведь голос наш будет широко слышен, за ним последует множество других. Уговоримся заранее: что скажем и как нужно поступать.

Друзья возразили, что действовать надобно согласно приказаниям ближайшего начальства: ректора и митрополита.

— Как! — вскричал в ответ Гиляров-Платонов, получивший вторую составную своей фамилии не непосредственно по греческому мудрецу, а за отменные успехи в память московского митрополита Платона Лёвшина, славного богослова и проповедника.— Но ежели они завтра вздумают завести «Марсельезу», и нас, как знатоков французского и музыкантов, заставят обучать ей других да подыгрывать на фортепьяно?! И мы возьмемся подтягивать только потому, что его высокопреосвященству так станет угодно? Нет, начальство лишь теперь наша власть, и теперь мы обязаны ей повиновением, при существующем пока строе. Но когда порядок и правительство низвергнуты, изменяется и положение поставленного высшею властью начальства — мы сами будем решать, чью принять тогда сторону.

А когда вообразишь страшную картину могущего произойти в Петербурге повторения 14 декабря в обширнейших размерах и с обратным концом? Пальба, кровопролитие, виселицы и расстреляния... Гиляров заявил, что решил про себя: «Умру за старый порядок, о чем вам и объявляю».

— Но как же так? Ты же сам на него так смело нападал в откровенных беседах?! — диву дались приятели.

— Сие дело другое. Я нападаю, гнушаюсь, противостою, но — в пределах основного государственного порядка, который, быть может, лишь только терпим народом, пусть; по моему же мнению, не то что просто попускается, а признается сердцем. Я смеюсь и негодую над частными несовершенствами, злоупотреблениями, бесправием, попранием личности. Еще бы я стал одобрять помещицу, которая остригла девке косу и выдала замуж за пастуха в наказание за то одно, что та не хотела облизать рану комнатной собачонке! Однако разве такое безобразие неизбежно соединено с данным образом правления? Это еще вопрос. Посмотрите, как мой приятель солдат Матвей рассуждает о несправедливых наказаниях, которым подвергался по службе: «В этом не виноват, зато в другом был-таки грешен, и — прими поучение».

А кто уполномочил какого-нибудь офицеришку, начитавшегося книжек, по мнению многих людей поверхностных до крайности, внушенных более страстью, нежели мыслию, — кто дал право подобным ему умникам ломать наш тысячелетний строй и перелаживать государства по выдуманным советам? Пойдите пожалуйста! — И я должен сейчас покориться?! Да я-то, быть может, еще и лучше их придумаю и такой составлю благодетельный проект, что все умрут от восторга. Но народ меня на вилы примет. Отвлеченное начало, приложенное к строению человеческих обществ, одинаково расстроивает отправления духовного организма, — подобно тому, как химически чистый элемент, коли его ввести в живое растение. Очищенным азотом погубишь все на корню, хотя вообще-то азот и потребен для жизни; так и «правами человечества» не выправишь государства, хотя «декларации» о них и заключают в себе истины.

Ибо имейте в виду: и весь-то народ в его теперешней совокупности есть только на деле момент народа; истинный народ — в истории, а не в нынешнем или вчерашнем лишь дне. Потому внезапный переворот всегда есть зло, порок и болезнь, отрава для общества!

...Тогда у них, Разумник мой, тревога оказалась ложною. Может быть, как раз оттого, что они были готовы к отпору. Когда же готовность развеялась, беда воплотилась во всей запредельной силе.

А потому, пребываючи в постоянном трезвенном бдении, нужно еще прежде, чем приниматься за создание будущего, — выстроить свое прошлое. Чтобы основание было прочным. Вопреки обыденному сознанию прошлое вполне можно коренным образом изменить. Но сперва требуется понять, увидеть глаза в глаза. Вот тебе, кстати, творения про сокровенное содержание того, что у евреев зовется «хохмой», по-русски Премудростью Божией, греческим же языком София. И как говорили предки славяне: припавши ко книжному научению, будто олень к водным источникам, — «соси Премудрость»!

21. О ОВЦАХ И КОЗЛАХ. В эту квартиру Сельнокринова попросту не впустили — да он о том и не пожалел. Не успел векописец вставить свой нос в непросторную дверную щель, как оттуда сразу же вышмыгнул навстречу донельзя суетливый очкарик, известный в Ащеуловой окрестности по кличке «радист». Оказалось, что он только что досотворил «под ключ» новоизобретенное устройство по выводу на чистую воду жёнок и прочей другополой болтливой живности при одновременном резком сокращении электрических расходов государства.

Суть изобретения состояла в том, что провод воспроизводящей коробки телефона выводился заместо трубки аппарата прямиком на две десятиваттных усилительных колонки «КИНАП», какие применяются на выездных передвижках,— что само собою лишало взаимно слышимый разговор всякой частной прелести и пресекало в зародыше даже легчайшие поползновения на измену.

— Тут-то моей вороне и капец! — довольно выдохнул счастливый умелец.

Разумник Васильевич оценил хитрость и вместе простоту усовершенствования семейного обихода и спросил с целью несколько льстивой:

— А кто тебя надоумил-то?

— Праздность — сестра таланта,— глубокодумно ответил сосед.

Незваный свидетель первой победы над балобольством противного пола поневоле одобрил начальный опыт, наглядно проследив за чрезвычайно кратким, на корню задушенным действом переговоров бедной жены умелого обалдуя с записною подругой; а потом еще в награду вынужден был прослушать высоко воспарившие его мечты про то, что и будущие классики взамен устаревшей и почти упраздненной нынче медленной переписки тоже будут принуждены издавать в качестве приложений к собственным многотомникам серии телефонных бесед.

— А что,— обосновывал он сразу же чисто по-деловому,— даже президент американцев Никсон погорел на сходном основании. Сам приказал установить в целях увековечения записывающее устройство на своих служебных телефонах, а потом, когда при Вотергейтской-то смуте взяли эти пленки да широко издали — ему уже крыть оставалось нечем, пришлось по собственной воле устраняться.

Разумнику Васильевичу все это, впрочем, не очень-то приглянулось, и он уже отправился было несолоно хлебавши восвояси,— но, припомнив напоследок вторую свою обязанность, вернулся и поставил вопрос: не сохранилось ли и здесь какой ученой надписи где-то промеж оконьев?

— Ты думаешь, это тебе первому в голову забрело,— ернически отозвался хозяин.— Да кабы не так! Сосед, поп заштатный, другой уже год приходил рассматривать, а потом еще проповедь говорил на свою голову. Ему ли было не знать того сказания,— ан, видать, под свежим впечатлением добавил всего одно лишнее слово, да так впопад, что его с той поры насовсем от речей устранили. Вот попробуй угадай какое именно.

...Когда Христос — Сын Человеческий придет во всей своей силе со святыми ангелами судить наш мир, то сядет на престоле, соберет народы и примется отделять, как пастух, в одну сторону овец, в другую козлов: агнцы пойдут направо, козлища же налево. И скажет Царь Славы тем, кто стоит по десную руку: придите, благословенные Отца Моего, и наследуйте Царство Небесное, уготованное вам от сотворения мира! Ибо когда хотел я есть, вы накормили Меня, и жаждущего напоили, а в странствии дали приют; наг был Я, а вы одели Меня, больного посетили и пришли ко Мне, заключенному в темницу. Праведники спрашивают: «Господи! когда же то было?» Спаситель открывает: истинно вам говорю — сделавши все сие одному из братьев меньших, сотворили одновременно и Мне.

А тем, какие попали под левую руку, скажет: не знаю Я вас, товарищи, идите прочь в огонь вечный, сужденный диаволу и прислужникам его!

22. СОФИЯ. Изо всех обязательно сообщенных Платоном Любимовичем пособий про внутренний смысл учения о Софии Разумник довольно-таки быстро выбрал особый альбом, куда были переписаны или вклеены отрывки различных сочинений, составлявших как бы протянутую через века цепь усилий постигнуть и выразить могучую, однако не лишенную соблазна идею. Любопытен был и порядок, в каком помещались разновременные части собрания; хотя почерки на страницах явственно не были

одинаковыми, рука составителя — самого Бенескриптова — угадывалась уже по тому, что выстроен был весь ряд опять-таки в направлении, противном течению времени: на поверхности находились выписки из нынешних скупых и иносказательных путеводителей, а на дне, в конце, даже полностью воспроизведенная книга Премудрости Соломона.

Наилучшее, из боязливо огибающих сущность запретно-сладкого плода богословия кратких пояснений, содержалось в тонюсенькой выдирке из современной архитектурной брошюрки: «Греческое по происхождению слово «софия», буквально «мастерство, знание, мудрость»,— гласила она, неизменно поминая высокие понятия с уничижительной строчной буквы.— Но христианами смысл его толковался более широко и связывался, в частности, с идеей человеческого «единомыслия» и «общности». Именно эта идея нашла свое дальнейшее развитие в духовной культуре Древней Руси с характерной для нее жизнестроительной этикой «соборности». Понятие «соборности» находило в облике храма свой зримый образный эквивалент, воплощенный в конкретную материальную форму. И архитектура храма, в которой каждый отдельный элемент осмысливается символически, и его живописно-изобразительная программа с четко определенным для каждого персонажа и сюжета местом, и строго продуманное обрядовое действо — все это переплеталось и, вторя друг другу, образовывало удивительное по совершенству и силе воздействия единство».

В череде ученых изысканий самих представителей сословия священного служения Разумник обратил пристальное внимание на обобщающий труд «Столп и утверждение истины» отца Павла Флоренского, из которого извлек два основных кратких вывода. Первый был весьма, если не сказать свыше меры, наполнен сложными построениями возвышеннейшего богословского рода:

«Под углом зрения Ипостаси Отчей София есть идеальная субстанция, основа твари, мощь или сила бытия ее; если мы обратимся к Ипостаси Слова, то София — разум твари, смысл, истина или правда ее; и, наконец, с точки зрения Ипостаси Духа мы имеем в Софии духовность твари, святость, чистоту и непорочность ее, то есть красоту. Это триединая идея основы — разума — святости...»

Но куда ближе к сердцу его пришлось другое заключение, стоявшее неподалеку от первого, однако составленное уже не как диалектически расчленяющее суждение, а, напротив, возвышающееся шаг за шагом в духе древнего гимна-акафиста:

«Если София есть вся Тварь, то душа и совесть Твари — Человечество — есть София по преимуществу. Если София есть все Человечество, то душа и совесть Человечества — Церковь — есть София по преимуществу. Если София есть Церковь Святых — то душа и совесть Церкви Святых — Ходатаица и Заступница за тварь пред Словом Божиим, судящим тварь и рассекающим ее на-двое, Матерь Божия, «миру Очистилище» — опять-таки есть София по преимуществу. Но истинным знамением Марии Благодатной является Девство Ея, Красота души Ея. Это и есть София. София есть «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа...» Только София, одна лишь София есть существенная красота во всей твари; а прочее — лишь мишура и нарядность одежды, и совлечется личность этого призрачного блеска при испытании огнем».

И все же наибольшее предпочтение отдал Сельнокринов малоизвестному сказанию из книги мужа апостольского Ерма «Пастырь», созданной во времена первых христиан в Риме и одно время даже входившей в канон Нового Завета. Оттуда он перенес в свою векопись почти целиком красноречивое видение:

«Однажды я видел, братья, следующее. После того, как я много раз постился и молил Господа, чтобы Он дал мне Откровение, которое обещал показать, ночью явилась мне старица и сказала: «Так как ты очень просишь

и желаешь знать все, то приходи на поле, куда хочешь; около шестого часа, на рассвете, я явлюсь тебе и покажу, что нужно тебе видеть». Я спросил ее: «На какое место поля придти мне?» Она говорит: «Где хочешь». И я избрал место прекрасное, уединенное...

Итак, братья, явился я на поле, заметил часы и пришел к месту, куда назначил ей придти. И вижу я поставленную скамью; на ней была льняная подушка и над нею простерта парусина. Видя такие приготовления между тем, как никого нет на месте, я изумился, волосы у меня поднялись, и как бы ужас объял меня от того, что я был один. Но, пришедши в себя и вспомнив славу Божию, я ободрился и, преклонив колена, исповедал Богу свои грехи, как и прежде. Тогда пришла сюда старица с шестью юношами и, ставши позади меня, слушала, как я молился и исповедовался. Коснувшись меня, она сказала: «Перестань молиться только о грехах; молись и о правде, чтобы часть из нее получил ты для дома своего». Поднявши меня с места и взявши за руку, она привела меня к скамейке и сказала тем юношам: «Идите и стройте...»

А меня посадила по левую сторону и, поднимая какой-то блестящий жезл, сказала: «Видишь ли большую работу?» Говорю ей: «Госпожа, ничего не вижу».— «Вот ужели не видишь против себя великой башни, которая на водах строится из блестящих квадратных камней?»

Действительно, строилась квадратная башня теми шестью юношами, которые пришли с нею. Многие тысячи других мужей приносили камни. Некоторые доставали камни из глубины водной, другие из земли и подавали тем шести юношам; они же принимали их и строили. Камни, извлекаемые из глубины, прямо клали в здание, потому что они были гладки и своими спайками хорошо приходились к другим камням, и так плотно прикладывались один к другому, что соединения их нельзя было заметить. Таким образом, здание башни казалось построенным как будто из одного камня. Из прочих камней, приносимых из земли, одни были откладываемы, другие полагались в здание, а некоторые были рассекаемы и отбрасываемы далеко от башни. Из тех иные камни были полагаемы около башни и не употреблялись для здания, потому что некоторые из них были шероховаты, другие с трещинами, а третьи были светлы и круглы и не годились для построения. Камни же, которые отбрасывались далеко, видел я, падали на дорогу и, не оставаясь на ней, скатывались на обочину, одни в место пустынное, другие попадали в огонь и горели, иные же упадали близ воды, но не могли скатиться, хотя и стремились попасть в нее.

Показавши мне это, старица хотела удалиться. Я говорю ей: «Госпожа, что пользы мне видеть и не знать, что значит это строение?» Она отвечала мне: «Любопытный ты человек, если желаешь узнать значение башни».— «Действительно, госпожа,— говорю я,— желаю узнать, чтобы возвестить братьям и они возрадовались, услышав это, и прославили Господа». И она говорит: «Услышат многие и, услышавши, некоторые возрадуются, а другие восплачут; впрочем, и последние, если, услышавши, принесут покаяние, также будут радоваться. Выслушай теперь объяснение башни, я открою все, и не докучай мне более об откровении. Откровения эти имеют предел, ибо закончились. А ты не перестаешь требовать откровений, потому что настойчив.

Итак, башня, которую видишь строящеюся, это я, Церковь, которая явилась тебе теперь и являлась прежде. Спрашивай же, что хочешь, о башне, и я открою тебе, чтобы возрадовался ты со святыми».

Я говорю ей: «Госпожа, если однажды сочла ты меня достойным того, чтобы все открыть мне, то открой». Она отвечает: «Все, что следует открыть тебе, откроется, только бы сердце твое было ко Господу и ты не сомневался, что бы ни увидал».

Я спросил ее: «Госпожа, почему башня построена на водах?» Она говорила: «И прежде я сказывала тебе, что ты любопытен, и тщательно изыскиваешь: ища, найдешь истину. Слушай же, почему башня строится на

водах: потому что жизнь ваша чрез водное крещение спасена и спасется. А башня основана словом всемогущего и преславного имени и держится невидимою силою Господа».

Я в ответ говорю ей: «Величественное и дивное дело. А кто, госпожа, те шесть юношей, которые строят?» — «Это первозданные ангелы Божии, которым Господь вверил все свое творение для того, чтобы они умножали, благоустрояли и управляли Его творением: посредством их будет окончено и строение башни».— «А кто прочие, которые приносят камни?» — «И это святые ангелы Господа: но первые выше последних. Когда будет окончено строение башни, они все вместе будут ликовать около нее и прославят Господа за то, что совершилось строение».

Я спросил ее: «Желал бы я знать, какое различие и значение камней». И она отвечала мне: «Разве ты лучше всех, чтобы тебе это было открыто? Иные выше и лучше тебя, которым следовало бы открыть эти видения; но, чтобы прославилось имя Божие, тебе это открыто и еще откроется ради сомневающихся, которые помышляют в сердцах своих — будет ли это или нет. Скажи им, что все это истинно и что ничего нет ложного, но все твердо и крепко основано.

Выслушай теперь и о камнях, употребляющихся в здание. Камни квадратные и белые, хорошо прилаживающиеся своими спайками — это суть апостолы, епископы, учители и диаконы, которые ходили в святом учении Божием, надзирали, наставляли и свято и непорочно служили избранным Божиим,— как почившие, так и живущие еще доселе,— которые были всегда согласны друг с другом, имели мир между собою и слушали взаимно друг друга: поэтому-то они и в здании башни хорошо приходятся своими спайками. А камни, извлекаемые из глубины водной и полагаемые в здание, спайки которых приходятся к прочим камням, уже вошедшим в здание,— это суть те, которые уже умерли и пострадали за имя Господа».— «Госпожа, я желаю знать, кого означают другие камни, которые были приносимы из земли». Она говорит: «Те, которые неотделанные полагаются в основание, означают людей, которых Бог одобрил за то, что они ходили праведно пред Господом еще до Рождества Христова и исполняли Его заповеди. А которые приносятся и полагаются в самом здании башни — это суть новообращенные к вере и верные. Ангелами убеждаются они к деланию добра, и потому не нашлось в них зла».— «А кто те камни, которые были откладываемы и полагались возле башни?» Она говорит мне: «Это те, которые согрешили и желают покаяться; потому они брошены невдалеке от башни, что будут годны в здание, если покаятся. Посему желающие покаяться будут тверды в вере, если только принесут покаяние теперь, когда строится башня. Ибо когда строение окончится, то они уже не будут иметь места, где могли бы быть положены в самом здании, и будут отвержены, только будут лежать при башне.

Желаешь знать, кто те камни, которые были рассекаемы и отбрасывались далеко от башни? Это суть сыны беззакония, которые уверовали притворно и от которых не отступила неправда всякого рода; потому они не имеют спасения, что не годны в здание по неправдам своим,— они рассечены и отброшены далеко по гневу Господа за то, что оскорбили Его. А из прочих камней, которые во множестве видел ты сложенными и не идущими в здание, шероховатые суть те, которые познали истину, но не пребыли в ней и не находятся в общении со святыми, потому они и не годны. Камни с трещинами — это суть те, которые имеют в сердцах вражду друг против друга и не имеют мира между собою; сойдясь, они являются мирными, но когда разойдутся, злоба удерживается в сердцах их. Это — трещины, которые имеют камни. Камни укороченные — это те, которые хотя уверовали, но имеют еще много неправды; потому они коротки и не цельны».— «Кто же, госпожа, белые и круглые камни, но не идущие в здание башни?» Она отвечала мне: «Доколе ты будешь глуп и несмыслен, обо всем спрашивать и ничего не понимать? Это те, которые имеют веру, но имеют

и богатства века сего; и когда придет гонение, то ради богатств своих и попечений отрицаются Господа». Я на это говорю ей: «Когда же будут они угодны Господу?» — «Когда обсечены будут,— отвечает она,— богатства их, которые их утешают, тогда они будут полезны Господу для здания. Ибо как круглый камень, если не будет обсечен и не откинет от себя кое-чего, не может быть квадратным; так и богатые в нынешнем веке, если не будут обсечены их богатства, не могут быть угодными Господу. Прежде всего ты должен знать это по себе самому: когда ты был богат, был бесполезен; а теперь ты полезен и годен для жизни, и ты сам был из числа тех камней.

Прочие же камни, которые были отброшены далеко от башни, катились по дороге и с дороги скатывались в места пустынные, означают тех, что хотя и уверовали, но по сомнению своему оставили истинный путь, думая, что могут найти лучший. Но они обольщаются и бедствуют, ходя по путям пустынным. Камни, упавшие в огонь и горевшие, означают тех, которые навсегда отпали от живого Бога и которым по причине преступных похотей, ими творимых, уже не приходит на мысль покаяться».— «Кого же означают камни, которые падали близ воды и не могли скатиться в нее?» — «Тех, которые слышали Слово и желают креститься во имя Господа, но потом, когда приходит им на память святость истины, уклоняются и опять ходят по своим порочным пожеланиям». Так кончила она объяснение башни.

Но я, будучи настойчив, спросил ее: «Есть ли покаяние для тех камней, которые отброшены и не годились в здание башни, и будут ли они иметь место в этой башне?» Она говорит: «Есть для них покаяние; но в этой башне не могут они иметь места, а пойдут в иное, низшее, и при том уже тогда, когда они пострадают и исполнятся дни грехов их. И за то они будут переведены, что приняли слово истинное. И тогда избавятся они от наказаний своих, если придут на сердца их порочные дела, которые они творили, и покаятся. Если же они не очувствуются, то не спасутся по упорству своего сердца...»

Я спросил ее и о времени — не конец ли уже теперь? Но она громко воскликнула: «Несмысленный человек! Ужели не видишь ты, что башня все еще строится? Когда башня будет окончена и построена, тогда и придет конец; но она будет окончена скоро. Не спрашивай у меня ничего более. И этого напоминания и обновления душ ваших достаточно для тебя и для всех святых. Не для тебя одного это открыто, но чтобы ты возвестил всем».

...А в заключение Разумник еще извлек сведения из рукописной заметки, затерявшейся в самой середине сборника. Помимо первых трех выстроенных на Руси в одиннадцатом веке Софий, в ней отмечались и еще несколько тезоименитых соборов: поставленный Иваном Грозным в Вологде и воздвигнутый при малолетних царях Иване Пятом и Петре Первом в Тобольске, который доныне служит самым древним каменным строением русской Сибири.

Кроме того, назывались там двое Софийных храмов, основанных при Иване Третьем на Москве, но не в Кремле или Китай-городе, а в городе Белом и Замоскворечье. Причем замоскворецкая церковь дала свое имя и расположенной как раз против Кремля Софийской набережной, посередине которой в прошлом столетии выросла еще свеча колокольни, где был освящен свой особый престол в честь иконы Богоматери «Взыскание погибших» — и по сей день она ведет, теперь уже немую, но вполне красноречивую беседу с кремлевским Иваном Великим.

23. О ПОСЕВЕ И ВСХОДАХ. У Согомонова все пространство жилища кипело, булькало, пахло, благоухало, воняло; в бесчисленных бутылях и колбах творилось живородящее бродильное таинство, повсюду от пола до потолка в выставленных на свет или же, напротив, укрытых от лучей солн-

ца фольгою емкостях путешествовали на пузырьках кислорода со дна на поверхность и обратно изюмовые, виноградные, черно-красно-рыже-рябиновые ягодины, прели в духовитых потемках стеклянных утроб пышнотелые грибки; отгонкой, возгонкой и перегонкой для добывания живительнейшего из животного занимались одновременно не только кастрюли, чайники, но столь обычно непричастные к сему самовар, холодильник и даже стиральная машина.

Более же всего поражал входящего лес дружно воздетых кверху перчаточных рук и тех незамысловатых, однако в свой черед также благодаря спидоносному поветрию исчезнувших из продажи резиновых изделий, что зовутся переиначенным в родную похабщину именем аглицкого врача XVII века Кондона. Вместо мудреного водяного затвора они натягивались на горлышки сосудов, будучи предварительно проткнуты тонкой иголкою; а засим, распираемые газами изнутри, согласно тянулись кверху, приветствуя перестройку. Стоило же руке ослабеть или «гондону», шипя, опасть — как тотчас делалось ясно, что бражка поспела.

Знакомый средоконный промежуток, как нарочно, полыхал во всем этом творительном многочленистом действе грубо, но с явной любовью подкрашенными картинами сева, колошения и сбора урожая разнообразнейших земных злаков; а внизу поверх остатков букв стершегося до основы церковно-славянского изречения бодро вылезли наведенные ярым анилином и будто с детских прописей переведенные русские заменители:

«Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю; и спит, и встает ночью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».

Сбоку в нещадно вызолоченной рамке подвешена была еще старая, «досюльных» времен открытка, в левом углу которой коротко посылался при всех ерах и ятях «Привѣтъ из Нижнего Новгорода», а под ним шла панорама волжской набережной, почти половину которой перекрывала горделивая надпись «ПИВОВАРЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО БРАТЬЕВЪ СОГОМОНОВЫХЪ».

— Причем мы отнюдь не от перестановки ради скромности двух согласных букв в «самогоне» род ведем, не-ет; но от древнего армянского корня,— гордо пояснил хитрец-умелец Сельнокринову, поспевая меж тем наливать левой рукою спитой чай в трехлитровки с «китайским грибом» — не прикрытые, как яблочное вино, наглухо стаканом с выведенной в него через воду трубкой, обеспечивавшими полную анаэробность процесса, и даже не заткнутые вроде простого «изюмительного» ватною пробкой, но на свой особенный лад увенчанные дважды сложенным бабьим чулком из капрона.

— Живая бактерия — наше семейное ремесло! — заявил он далее и налил попробовать — повинуясь выработанному отцами правилу никогда не ронять при приеме хмельного градус, а непременно и неукоснительно повышать,— сперва «крюшону», а затем уже «кислых щей» и «пенника».

Разумник сперва было принялся отпираться, сетуя, что не так давно от самостройного напитка чуть было не «сдал концы»: будто чорт навалился на грудь и душил, крутил да выворачивал, насилу пришлось оклематься.

— Хе-хе-хе, узнаю! — не к месту обрадовался Согомонов.— У нас это кличется: бормотизм. Получается он от бормотухи, когда всякие лопухи длинноухие начинают, не зная меры, заниматься винокурением, как будто это такая же чепуха, как в теледуру глазеть. Ну и размножаются у них сивушные-то масла, в прямое наказание за нерадивость и отсутствие уважения к навыку. Причем, заметь, в последнее время и в казенных «плодово-выгодных» этот вирус поселился, даже в венгерском сладком на черешневой косточке — так что берегись. Но у меня эдакого и в заводе нет — так что оставьте все ваше попеченьице!..

Разумник покорно оставил и не оказался внакладе. А простой только с виду винокур стал и далее подливать да улещивать.

— Ребята говорят, ты что-то там такое строчишь для памяти или еще куда-то...

— Историю нашей коммуны, то есть собора; мне Платон заказал,— честно признался лишенный пенистой влагой всех опасений искренний Сельнокринов.

— Ишь, каков догадчик. Он тебе тогда, случаем, из своего-то предка, из Платонова-Гилярова, побасенки не зачитывал?

— А ты откуда знаешь?

— Так ведь книга-то та, видишь, моя. Там и про наше дело есть своя история, погоди-ка, сейчас...

Он вытянул из какого-то загашника трепаный-перетрепаный томик, разогнул по памяти и с выражением — даже с «пафосом», точь-в-точь как детишки в школе стихи — провозгласил:

«Меня занимает выражение, слышанное не от одного из пристрастных к вину и повторяемое и другим и третьим буквально: «червяк завозился». Отсюда и метафорическое «заморить червячка», употребляемое не о питье только, а и о пище. Но пристрастные к выпивке уверяли меня, что они чувствуют именно как бы червячка, который точит, сосет и успокаивается лишь по принятии алкоголя. Теперь, когда с легкой руки Пастера везде находят микробов и бактерий и ими объясняют едва не все болезни, приходит мысль: червяк пьяниц не есть ли действительный червяк, лишь микроскопический, такой же паразит, как глист круглый или плоский, и также командующий несчастным, который его в себе носит? Невероятного нет, тем более что для многих явлений пьянства, запоя в особенности, удовлетворительного объяснения не имеется».

Здесь собеседники согласно решили, что деды наши на самом деле были умнее нынешних поколений и еще наперед обо всем написали, да только нету у нас ума прочесть и понять. А сразу вслед повторили в действии еще раз то, чему удовлетворительное объяснение и вправду найти затруднительно.

— Ученые-моченые,— крякнул над медовухою Согомонов, изъяснил товарищу разницу между нею, относящеюся скорее к разряду пивному, и «медоуем», царящим в стране наливок и водок, а потом перешел вновь в пафос, но свойства уже не восхищенного, а обличительного.— На Москве, говорят, триста лбов, целый институт три года с неделею корпел и зады просиживал: как бы такие дрожжи сварганить, чтобы они, чуть только подымутся, сразу опять опадали — то есть пироги бы из них пеклись, а бражка не доспевала. Дудки-с! Только и пользы вышло, что самым убедительным образом окончательно доказали: сие невозможнее вечного двигателя. Живая микробина директив не признает и в кампании по искоренению не включается.

— Да и мы тоже,— подтвердил Разумник Васильевич.— На русского человека всякий запрет имеет определенно обратное действие. Помнишь, была такая байка. Поспорил какой-то пролаз, что в Америке на мосту трех иностранцев без всяких рук в воду спустит. Ну, идет англичанин, он ему: «Несчастье, мистер! У вас на выборах победил блок леваков и гомосеков, так что капитал упраздняется!» Тот только поднял котелок в знак почтения — и бултых с перил в кручу. Потом француз, он и к нему со своим подходом: дескать, мусью, в Париже по референдуму верх одержали католики, и отныне порнуха, аборты, бардаки и разводы запрещены. Тот грязно выругался, снял башмаки — да босиком в речку. Третий мимо, конечно, наш топал. Ну, здесь была самая хитрость: «Товарищ! А вы знаете, что в Гудзон американским законом строжайше запрещено сигать с моста?» — «Да?! — сразу заинтересовался сородич.— Ну так а мне это и поколебать!» И скок туды, так что поминай как звали.

В ответ, как полагается, Согомонов отдарил его схожей побасенкой.

Едет руководитель на вождевозе по улице, видит — толпища бурлит. «За чем это они? — спрашивает у водителя.— Ай чего еще не хватает?» — «Да не обращайте внимания, ваше степенство! То одни тунеядцы поганые...» — «Какие такие?!» — «Да, вишь, самим-то гнать лень — у бедного государства выклянчивают!»

И все-таки разговор от горьких насмешек спустился в отнюдь не веселые пространства постылой действительности. Разумник, пожалевши свой народ, задал Согомонову вопрос чисто химический: неужели нельзя какое-то другое зелье найти побезвреднее, чтобы напрочь вино упразднить из людского общежития.

— Вреднее собственной глупости яда нет. А лекарство-то, пожалуйста, вполне можно,— неожиданно откликнулся тот.— Но только вперед надо еще найти средство от грехов и от смерти, а потом, к началу следующей пятилетки, перейти с безалкогольной свадьбы к непорочному зачатию. Бороться же с винопитием через запрет — это то же, что пытаться победить насморк, отказавшись от выпуска носовых платков.

Тут они еще «усугубили», пропев недавно появившуюся и всем городом подхваченную частушку:

Ай, спасибо Горбачеву
За заботу Мише:
Пить мы стали в пять раз больше,—
Да в два раза тише!

— Ты думаешь — это сам начал? — спросил осмелевший Разумник.

— Не-ет,— был ответ.— Не он, а ближний боярин. Теперь-то он слетел, но только ты читал, во сколько это художество встало?

— Даже выписал: покуда сорок миллиардов с гаком.

— То-то. И даже по открытым подсчетам — сотня тысяч отравившихся, из них десятки тысяч погибших. Неужто они этому извергу по ночам не снятся?!

— Погоди, так ведь писали, что от пьянства тоже уйма мрет.

— Да, но только от этих косоруких затей она еще приросла. А к тому же прибавь дурь поганую, про которую раньше-то мало кто у нас и слыхал...

Тут они еще раз согласно помянули «анекдот года» про то, как три записных алконавта, отстояв три часа в хвосте, да еще немало за кружками наохотясь, угнездились в последнем еще не закрытом гадюшнике на окраине и стали вести речи. Де-ладно, пусть уж нас мучат, может, и поделом,— зато детки-то вырастут умные да здоровенькие.

— И то! — говорит один.— Мой будет не меньше академика. Лысенко: мало что с шести соток огорода летом три урожая мака снял; зимой на окне в горшочке — какую-то коноплю индейскую вывел!

— А моя,— отвечает второй,— станет врачихою вроде Бурденко: полна комната ампул, порошков, иголок, шприцов; и какая науке беззаветно преданная — все на себе опыты ставит, на себе...

— Ну, все одно им моего не догнать! — заключает третий.— Этот прямой космонавт: уже в пятом классе как натянет на головку-то заместо шлема целлофанный пакет, шикнет туда дихлофосом от тараканов навроде космоса,— и словно Гагарин живой кричит матери: «Поехали, старушка, поехали!..»

— Сколько же калек и смертей на совести этого гада! — ужаснулся Разумник.— Будет ли ему хоть на том свете казнь подходящая?

— Достанется еще и на этом,— уверенно предсказал вдруг враз помрачневший Согомонов.— А ты пиши, пиши свою историю-то, не то как скинут совсем долой, так опять скажут: куда же вы все остальные глядели?

— А ты сам не боишься? — пожалел его Сельнокринов.

— Чего бояться? Я же не продаю, а так, для себя и гостей — оно не жалко. Из принципа не поддамся, и коли уж не перестою — то как пить дать пересижу.

— А ну как соседи заложат?
— И на хитрую жопу есть хрен винтом.
— Так ведь закон...
— Дак ведь его дурак писал. Вот тебе самый простой пример. Там запрещено делать брагу и перегонять. Домашнее вино — можно, потому что иначе тогда всю страну надо сажать. Хорошо. Скороварка тоже не вне закона. Дистиллятор для производства чистой воды диабетикам раньше за одиннадцать копеек в любой аптеке продавался,— их в народе десятки миллионов. И на кой тогда с брагой возиться, да даже и вина поспевания месяц ждать — пошел купил три бутылки сушняка по рубь с полтиной, соединил два прибора с водопроводом, дважды прогнал (это всего-то и есть час опасный) и — пожалуйте, по старой цене отличнейшая водка, крепостью под шестьдесят. А коли ее еще настоять день-другой на смородиновой почке или калганном корню... можно также васильковый цвет молодой... И теперь поди-ка ты отучи людей, когда сам толкнул, да и цена казенная стала как собака кусачая.

На той стороне реки мужики, говорят, уже все бывшие партизанские землянки обжили, гонят житневку в лесу, но только засадили их туда на сей раз не чужие немцы, а собственные. Да еще требуют с лесников подписку: дескать, чтобы на вверенном участке ни-ни! Пеньки обосцанные. Кум, слышь, пошел со своей-то по грибы, забрел за десять верст в глушь на заветную поляну, глядь: в кустах братан шевелится. «Ты чего тут?» — «Никшни!» — и наливает ему стопарик. Потом еще пропустили, пока жена надрывается: «Егор! Егор! Ты где?» Ну, он хлопнул последний — и к ней: чего, дескать, даром разоряешься? А у той аж глаза на лоб: вот же хитер супружник, середи дикого леса, кругом ни души — с лешим он, что ль, нарезался?!

— Ну,— подгорюнясь, кивнул Разумник.— Тут и с ним заведешь отношения. Причем заметь, что ведь наварили-то на этом все жулики да чинуши, а русского человека опять объегорили и подкузьмили. Вот тебе, напоследок, из столицы история.

Приходят дядьки к двум часам в лавку, видят объявление «Водка отпускается только ветеранам Куликовской битвы». Стоят, мнутся от нечего делать. Вдруг является замухрышка: не то одежка, не то шкура на самой скелетине болтается, а при боку ржавая железяка — ни дать ни взять сгнивший в гробе меч-кладенец. Достает червонец, просит товар. Тетя за прилавком на него сверху: «Ты грамотный? Вывеску прочел?» — «Прочел».— «Ну и что скажешь?» — «Скажу, что сам там был и как сейчас все помню, в засадном полку».— «И справка имеется?» — «Маманя, какие ж тогда были-то справки?» — «А это не мое дело: вчера татары приезжали — и привезли».

24. ЕВФРОСИНИЯ. — Младший сын Чародея Всеслава Святослав — Георгий был женат на Софии,— продолжал Разумник векопись, остановившись в качестве основного источника опять-таки на местной рукописи, которую только дополнял из иных книг.— А у них родилась дочерь, следовательно Чародеева внука, с языческим именем Предслава, явившаяся на свет в тысяча сто и первом году по Рождестве Христове.

Далее он сокращенно выписал ее историю из своеродного жития, созданного при княжой Софиевской церкви:

«И тольми бысть любяща учение, якоже чудитися отцу ея о толице любви ея. Вести же разнесшейся по всем градом и весем о мудрости ея и блазем ведении и телесней утвари — бе бо лепа лицем, красота же ея многи славныя князи на любление приведе ко отцу ея; каждо их тщашеся, да бы пояти ю в жену сыну своему, и всем часто присылающим ко отцу ея,— он же отвещаваше: воля Господня да будет.

Един же, преодолеваше славным своим княжением и богатством, прис-

лав, испроси дщерь князя за сына своего. И, пришедше ей в возраст двунадесяти лет, нача отец ея глаголати княгини своей: уже лепо нам дати Предславу за князя. Тогда, слышавши тот совет, Предслава размышляше в себе, глаголющи: како се будет, яко отец мой мыслит припрячи ми мужу? Аще тако, то печали мира сего никако же имам избыти! А слава его есть прах и пепел, яко дым расходится и яко пар водный погибает...

И, тако ей размышляюще в сердце своем, ум же на Божию любовь подвизая и единое положи себе на сердци помышление таково: не се ли бы лучше всего жития было, да бых ся постригла в черницы и была под игуменьею, повинующися сестрам и учащися, како страх Божий утвердити в сердце своем и тако течение скончати. Сия на уме ся положши и, утаившися от отца и матери своея и всех домашних, поиде в монастырь.

В та же лета бяше игумениею княгиня вдова Романа Всеславича. Прииде к той Предслава и просящи прияти ангельскаго образа, дабы причитатися сущим ту инокиням и быти с ними под игом Христовым. Видевши же оная блаженная жена юность и возраст цветущий Предиславы, смятеся, нача сердцем ужасатися и, лице в землю приклоньши, на долг час поникши, зре на младость ея, воздохну, прослезишася и глагола: чадо мое, како могу сие сотворити? Отец твой, уведев, со всяком гневом возложит вред на главу мою, понеже юна еси ты возрастом и не можеши понести тяготы мнишескаго жития — и како можеши оставити княжение и славу мира сего?

Блаженная же отроковица отвещавши: госпоже и мати! вся видимая мира сего красна суть и славна, но вскоре минуют яко сон или яко цвет увядает; вечная же и невидимая во век пребывает. Или отца моего ради не хощеши мя острищи? Не бойся его, госпоже моя, убойся паче Господа, владеющаго всей тварию, и не отлучи мене от чина ангельскаго.

Блаженная же княгиня игуменья, дивящеся разуму отроковицы и любве к Богу, повеле быти по воле ея. И, огласив, иерей остриже ю и нарече имя новое Евфросиния, еже есть гречески радость, и облече в черныя ризы. И благослови ю игумения от святых отец, рече ей: буди, чадо, последствующи преже тебя бывшим женам Февронии и Евпраксии и иным множеству, иже Христа ради пострадали, да Господь Бог даст ти победу и силу на супротивника нашего диавола. И, рекши ей тако, отпусти во келию.

Уведев же сия, отец ея скоро иде в монастырь и жалостно терзаше власы главы своея, любезно целоваше ю и глагола: горе мне, чадо мое, почто ми сице сотворила еси и печаль души моей принесе? Почто ми преже сего мысли сея не явила еси? Люте мне, чадо мое сладкое, жалосте сердца моего — о, горе мне, чадо мое милое! Како поборет доброта твоя вражье пронырство? Уже достоит ми плакатися оструплению душею ко Богу моему, да внидеши в чертог царствия Его.

Жалость бе всем в дому его о ней. Преподобная же Евфросиния оттоле нача паче подвижнейша быти, собирающи мысли благия в сердце своем, яко пчела сот.

И, пребывши неколико время в монастыри, потом проси у епископа, правящего тогда стол святыя Софии, нарицаемого Илии, дабы велел ей ту пребыти в церкви Софийстей в голбце каменне — си есть во единой придельной каморе, подражающе древним иерусалимским девом, в них же среде бе и Пресвятая Дева Богородица, жительствовавшим при святая святых Соломонова храма во особных покоях, при стенах церковных устроенных.

И той повеле ей, да пребывает ту. Вшедши же, начат подвиг постнический приимати, книги писати руками своими и, продающи, доход свой нищим даяше. Пребывающи же ей ту неколико время, во едину нощь возлеже опочивати от многаго стояния в молитвах ко Господу и виде видение. Поял ю ангел и веде, идеже бе церковьца святаго Спаса — скит малый святой Софии, яже зовется от людей место Сельце. И ту показа ей ангел Господень, глаголя: Евфросиние, зде ти подобает быти!

Она же, пробудившеся, дивяхуся в себе, глаголющи: что хощет ми се

быти? Тоя же нощи видение приходи на нея трищи, а посем со страхом восста, славословяще: слава Тебе, Господи, яко сподобил мя в нынешнюю нощь видети святое лице ангельское.

И в тою же пору явися тот ангел епископу Илии, глаголя: введи рабу Божию Евфросинию в церковьцу святаго Спаса рекомую на Сельце, то бо место есть свято, яко достойна она есть Царству Небесному, аки миро благовонно всходит молитва ея ко Богу и аки венец на главе цареве почивает Дух Святый на ней, подобно как солнце сияет по всей земли — тако житие ея светится пред ангелы Христовы.

Епископ же вста вскоре со страхом и трепетом, прииде к ней и седоста оба. Отверз же блаженный владыка уста своя, начат беседовати о спасении души. Блаженная же Евфросиния приимаше словеса его яко семена в житницу души. Много же побеседовавши с нею, пририече ей, сице глаголя: веси ли, чадо, сия церковь соборная, идеже седиши, ту вси человеци собираются, и тебе не лепо зде пребывати. Но есть Церковьца святаго Спаса иже на Сельце, где братия наша лежат — прежде нас бывшие епископы; если Бог поспеш‹и›т их молитвами и трудом твоим, то возградит место сие велико.

Евфросиния же, слышавше ту речь, возрадовася душею и возвеселися сердцем, явлению ангелову веру имши и всему, еже виде и слыша от него. И глагола епископу: Бог да поможет ми, отче, молитвами твоими святыми. Призвав же епископ князя Бориса, сестер ея, отца Георгия и честныя мужи, постави их себе в послух и рек: се отдаю Евфросинии место святаго Спаса при вас, да по моем животе никто же не посудит моего даяния.

Евфросиния же, поклонившеся святей Софии и благословившеся от владыки, тоя же нощи приимаше с собою едину черноризицу, прииде на место, зовомое Сельце и, вшедше во церковь Святаго Спаса, возгласи сице: Ты, Господи, заповеда святым своим апостолом — не носите с собою ничесоже, токмо жезл; се аз Твоему словеси последующи, изыдох семо, ничтоже носящи, но точию слово сие в себе имуще, еже рещи «Господи, помилуй», и за все имение имею книги сия, ими же утешается душа моя сердце веселится. Лише же сих трех хлебов не имам ничтоже, но токмо Тебе, помощника и кормителя — Ты бо еси отец убогим, нагим одеяние, обидимым помощник, ненадеющимся надеяние, и буди имя Твое благослов‹е›нно на рабе Твоей Евфросинии отселе и до века, аминь!

И, пребывающей ей ту неколико время, посла ко отцу своему, глаголющи: пусти ко мне сестру мою Городиславу — такое бо ей имя нарекли родители,— да научится грамоте. Они же пустиша её к ней, и она с прилежанием учаше сестру спасению души, а сия со прилежанием научение приимаше, яко нива плодовита, умягчающе сердце свое.

Преподобная же Евфросиния, введше ее в церковь, повеле иерею огласити и облещи в чернеческия ризы, нарече имя ей Евдокия. И по малех днех присла отец к ней, глаголя: пусти уже сестру свою ко мне. Она же отвеща: еще не извыче всей грамоте. Уведев же́ отец ея, яко, утаивши, постриже ю, и взъярися на преподобную Евфросинию; сердцем горя, приехав ко монастыреви и рече: чадо мое, что ми сотвори? приложи сетование к сетованию, и души моей печаль ко печали! И, сия ему глаголющу, от горести сердца своего реки слез часто изливаше от очию своею, любезно держа Евдокию и глаголя: чада моя, на се ли вас родих? или на се вас мати воспита? таков ли вам брак уготовах? ужели чертог и брачныя ризы вам на сетование положил себе? чада моя милая, что ми воздали, в место радости горькою печалью сердце мое наполниста! И вси бояри его, слышавше горесть князя своего, горько плакахуся о напрасней печали его. Блаженная же Евфросиния отвещаваше ко отцу своему: чего ради печалуюшися на мя? имееши печальника и помощника единаго Бога. Отец же ея, малу утеху примше от словеси преподобныя Евфр‹о›синии, еха в дом свой. Евдокея же пребываше в монастыри, повинующися сестре своей.

Блаженная Евфросиния трудом многим моляшеся Богу о месте том, дабы устроил его Господь. Бяше ж во граде княжна иная Борисовна, именем Звенислава: та во един от дний прииде в монастырь и изнесе всю утварь свою златую и ризы многоценны ко Евфросинии, рече ей: госпоже и сестро! вся красная мира сего ни во что же ми ся мнит, сиу вся даю святому Спасу, а сама хощу поклонити главу свою под иго Христово. Она же прият ю с радостию и повеле иереови постриши ея и нарещи имя Евпраксия. И тако начаста пребывати в монастыри в едину мысль в молитвах, и тако бяше видети, яко едина душа в трех телесех. И по сем блаженная Евфросиния заложи церковь каменну святаго Спаса, и от начатка доспе ее за 30 недель.

И се хощу вам, братие, чудо сказати. Бе муж именем Иван, приставник над делателями церковными. К нему же прихождаше многажды глас, едва свитающи дни, глаголя: о Иване, востани и поиди на дело Вседержителя Спаса! И, во един от дний, востав, прииде ко блаженней Евфросинии и рече ей: ты ли, госпоже, присылаешь понуждати мене на дело? Она же рече: ни. И, паки рассмотревши, премудрая жена рече ему: аще и не аз тя возбуждаю, а кто тя ни позывает на таковое дело, того послушай прилежно с'потщанием.

И паки другое чудо скажу вам, добрии послушницы. Уже скончанней бывши церкви, и мало не доставши плитам, нечем бяше храм крыти — аще и сугубо поискавше, не обретоша ничтоже. И печаловашеся о том Евфросиния, воздохнувше, рече: слава Тебе, Владыко Вседержителю и человеколюбче, даровавый нам большая, подай и меньшая воеже совершити церковь Твою. И, тако ей помолившуся, заутро по устроению Божию обретошася в пещи плиты, и того дни совершися церковь и крест на ней восставиша.

Видевши же преподобная Евфросиния монастырь свой украшен и всего благаго исполнен, умысли создати вторую церковь каменную святей Богородице. И ту такожде свершивше, иконами ее украси, освяти и предаст ю мнихом, сего ради бысть другой монастырь велий.

Видевши же блаженная монастыря два устроена для жен и мужей, превелика зело и пребогата, рече в себе: слава Тебе, Владыко, благодарю Тя, святый! Что есмь восхотела, подал еси ми, Господи, желание сердца моего. И паки рече: помилуй мя, Господи, и скончай прошение мое, дабы видела пресвятую Богородицу Путеводительницу в сей святей церкви. И посла слугу своего Михаила в Царьград к цареви Мануилу (здесь Разумник добавил из поздней печатной истории, что другая дочь Всеслава Чародея и, следовательно, родная тетка Евфросинии была замужем за этим византийским императором из династии Комнинов) и к Патриарху Луце с дары многоценными, просяще от него образа святыя Богородицы, еже евангелист Лука написал. Три иконы Богородичны бо созда врач сей и живописец при самом животе Божией Матери, и едину постави во Иерусалиме, другую в Царе-граде, а третию в Ефесе. Она же с прилежанием прошаше Ефесския иконы. Видев царь любовь ея, посла во Ефес семьсот оружник своих и, шедше, принесоша образ святый во Царь-город. Патриарх Лука собрав епископы в собор святой Софии и, благословив, дает чудотворную преподобной Евфросинии послу.

Она же, внесши в церковь святыя Богородицы, постави ту и, воздевше руце, рече: слава Тебе, Господи, и паки реку — слава Тебе, Владыко, сподобивый мя видети образ днешный Матери Своея. И, се рекши, украси златом и камением многоценным, устави по вся вторники носити по святым церквам».

Тут Разумник несколько нарушил временнýю последовательность и добавил, что в 1239 году перед этой самой Эфесской Богоматерью венчан был в городе Торопце святой благоверный князь Александр Невский с дочерью князя из Рогнедина рода Брячислава, в память чего образ остался водружен в торопецком соборном храме.

Рядом он приложил и краткое сказание о наиболее знаменитой и

вместе загадочной святыне, на которой единственно сохранилось не житийное, а историческое упоминание княжны Евфросинии — получившем ее имя вкладном напрестольном кресте. Надпись, шедшая по его торцу кругом, сообщала: «В лето 7669 (1161-е по Христу) покладает Офросинья честный Крест в манастыри своем в церкви Святаго Спаса. Честное древо бесценно есть, а кованье его злато и серебро и камнье и женъчуг в 100 гривн, а драгих камней 40 гривн. Да не изнесется из манастыря никогда же, ни продати, ни отдати. Аще се кто преслушает, изнесет и от манастыря, да не буди ему помощник честный Крест ни в сей век, ни в будущий, и да будет проклят Святою Животворящею Троицею и святыми отцы 300 и 18 семию собор святых отец, и буди ему часть с Июдою, иже преда Христа. Кто же дерзнет сотворити сие, властелин или князь или пискоуп или игуменья или ин который любо человек, а буди ему клятва си. Офросинья же раба Христова, стяжавши крест сей, приимет вечную жизнь со всеми святыми».

В крест были включены частицы священных мощей и реликвий: капля крови Христовой, часть древа креста Господня, камень от гроба Пресвятой Богородицы с собственным Ее изображением, частицы мощей первомученика Стефана, кровь святого Димитрия, часть останков целителя Пантелеимона, при которых еще шла надпись о созидателе креста: «Господи, помози рабу своему Лазорю, нареченомоу Богъши, сделавшему Крест сей церкви святаго Спаса и Офросинии».

На кресте помещались финифтяные изображения Спаса, Богоматери, Иоанна Крестителя, архангела Гавриила, благословляющего Деву Марию, четверых евангелистов, апостолов Петра и Павла, трех вселенских святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, первомученика Стефана, великомученика победоносца Георгия, святых мучеников Димитрия воина и целителя Пантелеимона, небесной покровительницы княжны Евфросинии Александрийской — и ангела ее матери, святой Софии.

Затем Сельнокринов прибавил оспариваемое ученою братией, но явно для сердечной веры известие историка Татищева, что княжна создала при своей обители первую на Руси женскую школу — «собравши же младых девиц неколико, обучала писанию, також ремеслам, пению, швению и иным полезным им, да от юности навыкнут разумети закон Божий и трудолюбие». И вновь возвратился на путь жития:

«Видевши же, яко Бог просвети монастыри ея, глаголаше преподобная: абы мне доити еще святого града Иерусалима и поклонитися гробу Господню и всем святым местом видети и целовати, и тамо живот свой скончати.

Посла же по всей братьи своей, поведающи им мысль свою, еже восхоте доити Иерусалима — они же, слышавше весть ту, с жалостию многою съехавшеся отвсюду и моляху ея со слезами, да бы их не оставляла сирых. Она же утешаше их благим смыслом своим, яко мати детей своих любящи.

И посем поиде во Иерусалим, взявше с собою брата своего Давида и сестру Евпраксию. О, дивное чудо: не бываше ни в коей стране, ни во граде, ни в селе — ныне же, вземши мужскую крепость, премину вся грады и власти и приимаше от всех князей честь велику. И, тако прошедше страны, срете ю цесарь, идый на Угры, с великою честью и посла в самый Царьград.

Она же, пришедше, внидоша в великую церковь святыя Софии, поклонися, затем и всем иным Божиим храмам и благословися от Патриарха. И, покупивши различныя фимиамы и кадильницу злату, поиде во Иерусалим.

По пришествии своем, посла слугу Михаила ко сущему тогда Патриарху Иерусалимскому, глаголюще: владыко святый, сотвори милость на мне и повели, да отворятся врата градские Христовы! Он же повеле по прошению ее быти. Пришедши же ко вратом, паде на земли, глаголющи:

Господи Иисусе Христе, не вмени ми сего в грех, занеже изволих по стопам Твоим ходити и внидох во святый град сей! По сем, целовавши врата и сущих с нею, вниде во град и иде ко гробу Господню, поклонися и целова его, и покади золотою кадильницею и многоразличными фимиамы. В вечеру же изыде и обита у святыя Богородицы в Русском монастыри.

И во вторый день такоже у гроба Господня сотвори, и в третий, давши злата много и поставивши кадильницу злату. Воззревши очима своима и руце воздевши на небо и со слезами воздохнувши из глубины сердца, глаголаше: Господи Иисусе Христе, сыне Божий, рекл еси Матери Своей «просите и приимете»,— аз же, грешная, вся, яже просих, получих, и еще прошу у Тебе, милостиве, да скончаю прошение мое и предам дух свой во земном граде Иерусалиме, отнюдуже пресели мя в град вышний Твой Новый Иерусалим, упокой мя на лоне патриарха Авраама со всеми Тебе угодившими от века, аминь!

И, сице ей глаголавше, изыде в преждереченный монастырь Богородичный, идеже бе обитала. Ту посещением Божиим впаде в недуг и нача болети. И тоя же ради болезни не може тещи на Иордан — поиде ту брат ея Давид, сестра Евпраксия и сущии с ними. Она же лежащи на ложи своем и, егда приидоша бывши на Иордане, принесше от него воды — с радостию восстала, приемше и пивше, облияся по всему телу своему, и возлегла паки на ложе. И вскоре посла в лавру святаго Саввы, глаголющи: се уже приспе время, да Бог мя покоит, приимите мя, дабы легла в храме святаго Саввы. Отвеща же ту сущия иноцы: имеем запрещение от преподобнаго жены не примати никоеяже; но се ти есть монастырь Богородицы Феодосиев общий, в нем же лежат святыя жены — мати святаго Саввы, и мати святаго Феодосия, и мати святых безмездников Космы и Дамиана именем Феодотия, и инии многи святии — ту ти подобает лещи.

Пришедши посланному от нея, возвести сия Евфросинии. Она же о всем похвали Бога и, пославши, купи гроб в комаре святыя Богородицы. Лежаще в болезни своей 24 дня, позна свое скончание и рече: призовите пресвитера, да даст ми причащение святых таин; уже бо зватай близ предстоит, ждый повеления Владычня. И прииде пресвитер, несый причащение. Она же, вставши, поклонися трижды и прием Пречистое Тело и Честную Кровь Христову, возлеже на одре своем и предаст душу в руце Бога жива, в покой небесный, месяца мая в 24 день в лето от Рождества Бога Слова 1173-е. Давид же и Евпраксия с прочими спряташа тело ея честно...»

Вопреки ожиданиям и даже прямому заклятию, мощи и крест Евфросиниевы ожидало множество дальнейших земных странствий. Уже через четырнадцать лет по преставлении русской княжны в самой средине христианской вселенной, город был захвачен султаном Саладином, который приказал всем неприемлющим ислам покинуть Иерусалим вместе с имуществом. Некие единоплеменники Евфросинии взяли «единое на потребу» достояние — ее святые мощи, привезли на родину и поставили их в великой лавре Киево-Печерской, где они пролежали целых семеро веков в Дальних пещерах. Но и на том месте не нашлось им окончательного покоя — как не обрел вечной пристани перенесенный впоследствии в собор Софии вкладной ее крест, проторивший дорогу даже за океан.

25. О ОЖИДАНИИ ХОЗЯИНА ДОМА. Одного из недавних застольщиков и своего очередного подопечного Разумник встретил на самом выходе из дома, вознамерившись было проветрить голову после многодневных засадных писаний и чтений. Но сегодня хлебнуть свободного воздуха опять было не суждено — боясь упустить разговор, он наподобие заправского покупателя душ тотчас приступил с допросом к «соседушке», выказав не очень правдивое любопытство о состоянии его здоровья. Однако тот, как бы вовсе не замечая подначивающего намерения, легко поддался и заглотил немудрящую наживку разом с крючком.

— А куда еще дальше, когда осталось полтора легких и одна почка? — несколько по-мясницки отрезал он, но затем пояснил и причину недостачи: — Ведь все она виновата, дурь эта клятая...

Пока они подымались к себе на второй ярус — все остальные внизу и вверху совершенно выпадали из сельнокринова ведения, будучи набиты складами, запасниками, конторами и прочей околочеловеческой требухой, — спутник, влачивший в округе малопочтенное прозвище «Чифирист», признался, что дурь в его случае нужно разуметь и в широком, и в тесном толковании.

Руководясь все тою же поперечливой русской страстью, что и в недавней байке про Бруклинский мост, он еще сыздетства творил исключительно то лишь, что настрого запрещалось — гулял, пил, блудил, курил, а когда в печать дуриком проскочила переводная с румынского книжка некоего Бабаяна под заглавием «Путевка в ад», где гневно клеймился порок наркомании на Диком Западе, то, проявив природную смекалку, сумел извлечь из скудной отрицательной брани нужные рецепты и засим чрезвычайно успешно «подсел на иглу».

Сперва, как водится, все шло «путем», но потом незаметно стало сворачиваться и «рулем». Он разошелся со своею «наркошечкой», которой мужики сделались, с одной стороны, одинаковы, а с другой — ни к чему; стал промышлять подсыпкою сахарной пудры в «порошок» и «задвигаться» прямо в нужнике городской библиотеки, оправдываясь поговоркою про то, что «не пойман — не кайф». Кстати, как поведал теперь Сельнокринову Чифирист, говорят, что у нее существует живой сочинитель — писатель Битов, у которого и целая повесть есть про эти дела под названием «Улетающий Монахов»: ведь «улететь» на «наркоедской фене» означает нечто вовсе иное, чем в общем употреблении, так же, впрочем, как, например, «приход» — «уход» крайне разнятся от записей в книге дежурств или посещений.

Затем, как можно было ожидать, его впервые «свинтили» — «вломил» ли кто или сам на недобрый глаз «торчком» наскочил, теперь уже не разобрать, — короче, «зацепили» и отправили лечиться прямиком в «лесной техникум», он же бывший монастырь, позже тюрьма, а нынче «спецуха» для хроников. Там их уже заместо «дури» или «пали» потчевали такими крутыми «колесами», что коли не выплюнуть их вовремя, а «забросить» сдуру «на кишку» — скрутит, как полотенце при выжимке, верхняя челюсть зубы нижней крошит, так что воешь волком, да что толку: кругом-то все тоже в очень похожем виде обретаются.

Короче, как в одной из распространившихся около года Олимпиады людоедских частушек поется:

С криком железо в тело вошло —
И вместе с ногою детство ушло...

Тут уж, казалось, ни кайфа, ни лайфа. Но тертый, бывалый наш человек замастырил и здесь старую зэчью отраду — чифир: дешево, да сердито. Пачка чаю на кружку воды, отхлебываешь малюсенький глоток по кругу — и «поехал».

Причем, однако, даже в том немудрящем с виду занятии крылось немало свойственных хитростей — скажем, такая: от хорошего, но редкого индийского «приход» был прямо-таки «атомный», но зато очень слабые «таски»; с обратной стороны, свой чаек-жидок краснодарский обладал качественно мутным «приходом», слабо «цеплял», а тащил очень долго и мощно. Так что лучше всего работали составные смеси вроде нумера 36-го и с ним соседних, изготавливавшиеся из отходов своих пополам с заморскими — там и начальное действие, и «догоны», и «тащилка» были единого размера, да и назавтра утренней «ломки» почти никакой.

А посмотреть только, на какие гениальные пронырства пускались психи, чтобы заварить кипятку! Один притырит проводки, сконстролит

самопальный кипятильничек, другой пронесет во рту не замочивши заварку, третий кружку на кухне закосит — но все то еще четверть дела: главное затруднение — подключиться к сети, когда на всю палату единственная живая розетка, подле которой днем и ночью бдит змей-горынычем здоровенное санитарище.

Ин дурь на выдумки горазда: либо кто-то из отъявленных балагуров отвлекал его сногсшибательным разговором — что, впрочем, можно было проделывать не так уж часто; легче было заголить концы у люстры и подсоединиться туда, но и в воздухе долго не повисишь. А потому лучше всего получалось, ежели зачистить проводки у прибора, именуемого там перевирательно «тель-авивзор».

Но вот наконец беззаконные усики накинуты незаметно на его шнур, кружка, запихнутая в карман вместе с заваркою, постепенно вскипает, трубку аппарата начинает меж тем закорачивать так круто, что изображение принимается корчить умопомрачительные рожи, голос певца хрипит что твой сифон — но кайф тем часом уже мученически поспевает под спудом!..

Разумник Васильевич на всю ту науку покачал сокрушенно головою и спросил: правду ли говорят, что приверженцы чифирной страсти не доживают положенных лет и быстро загоняют сердце?

— Это только если класть сахар,— гласил ответ,— тогда действительно будет колотун страшный. А вообще-то — все в свой час помрем как миленькие.

— И не жалко прошедшего?

— Свое прошлое, дорогой мой, как родителей — не выбирают: приходится принимать какое есть, а еще лучше простить, коли все равно нету возможности поменять, да и полюбить; хоть и уродец, а кровный.

...Они долго еще сидели подле окна в Чифиристовой комнатушке, глядя на за-Славную сторону, где на другом берегу, куда вел выстроенный в начале столетия из-за узости перемычки Новоплановский мост, бледным безумным мороком вставали бесчисленные коробки «ночлежных» районов.

— И что это все такое?— вознесясь мыслью над отдельными бедами, полувслух вопросил небеса Разумник, но откликнулся на его пени лишь соседствующий собеседник, да так, будто он эту загадку бытия для себя давным-подавно уже разрешил.

— Это экран. Все экранируются кто как может от постылой своей обыденки,— высказал он заветное открытие, обративши внимание Сельнокринова на две картинки: ту, что открывалась через стекло, и мастерски расчищенную фреску рядом с нею, об обязательном присутствии коей раздумавшийся векописец даже на время позабыл — на ней было изображено полусонное общество, не замечающее за спиною вдали мерцающий над горизонтом свет. Теперь он вместе с хозяином прочитал и содержание рамочного повествования, словно объединяющего два зрелища общим смыслом:

«Блюдите, бдите и молитеся: не весте бо, когда время будет. Якоже человек, отходя, оставль дом свой, и дав рабом своим власть, и комуждо дело свое, и вратарю повеле, да бдит. Бдите убо: не весте бо, когда господин дому приидет — вечер, или полунощи, или в петлоглашение, или утро. Да не, пришед внезапу, обрящет вы спяща».

— И это тоже экран,— менее уверенно, но с большею страстью утверждал Чифирист.— Ты еще дальше, к Хруэму Циклодольщику загляни; а можешь и прямо отсюда посмотреть — видишь, эти клятые реставраторы, убийцы белкинские, сперва мою картинку любо-дорого починили, а потом взяли да проломали навылет левую стену вдоль последних комнат, соединивши нам личную жизнь.

Разумник зыркнул вдоль кое-как занавешенной пробоины и вынужден был признать правоту заявления.

— То-то и есть, что мы все здесь экранщики, только у одного этим щитом служат картинки к Библии, а у другого — программа «Время». Тутошний же соседский рядок как на подбор свою экранизацию учредил изнутри собственного сознания.

26. ЦЕСАРЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Однако прежде посещения застенного приятеля из экранной роты Сельнокринова ожидало свидание с поворотным мыслителем Платоном, сыном Любима. А тот, упрямо загибая личное противоречивое сказание, спросил его: что Разумник Васильевич думает о царском сыне прошлого века, великом князе цесаревиче Николае Александровиче?

На вполне естественное ответное недоумение о том, почему его пытают о нем как о наследнике, а не последнем русском царе — довольный произведенным воздействием Бенескриптов открыл, что это разные, хотя и единоимянные люди. А затем вновь вернулся к своему учению о неправильно избранных историей судьбоносных дорогах.

...У императора Александра II Освободителя, рассказал он уже в общепринятой временной последовательности, было пятеро сыновей и две дочери. Из них согласно закону о престолонаследии цесаревичем — то есть будущим наследником трона,— стал старший сын Николай, родившийся 8 сентября 1843 года. Крестным отцом его был дед Николай Павлович; а при появлении на свет счастливые родители пожертвовали десять тысяч рублей для выкупа неоплатных должников и раздачи «беднейшим обеих столиц».

Воспитанием и образованием будущего самодержца занимались со чрезвычайным тщанием. Историю ему преподавали Федор Буслаев, Сергей Соловьев, Михаил Стасюлевич, в общественные отношения посвящали профессора Константин Кавелин и Яков Грот, область права раскрывали Борис Чичерин и Константин Победоносцев, военному делу наставляли герои турецких войн генерал-адъютант Тотлебен, генерал Платов и полковник Драгомиров. Наставники в один голос — а он тогда был отнюдь не так льстив, как нам кажется в вековом отдалении из-за грехов нынешнего столетия,— отмечали его одаренность, недюжинные способности и ум, однако сетовали, что будущий царь «слишком мягок сердцем».

В 1859 году, по исполнении шестнадцати совершенных лет, Николай Александрович был всенародно провозглашен наследником престола. В 1861-м он отправился в первую широкую поездку по стране, проехав из первопрестольной Москвы в Поволжье, где посетил Нижний Новгород с его знаменитой на весь крещеный и некрещеный мир ярмаркою и Казань. В путешествии по «главной улице Руси» цесаревича знакомил с заволжскою стариною и нравами, в том числе обиходом раскольничьей жизни, чиновник Павел Иванович Мельников. Покоренный красочностью сказаний, великий князь подал ему мысль написать об этом художественную книгу; опытный деятель сперва отрекся, но по обязательному настоянию второго в империи лица наконец принужден был дать согласие. Именно благодаря этому, уже после кончины Николая Александровича, явилось на свет сочинение, подписанное вместоименем «Андрей Печерский»: известные «В лесах» и «На горах» (которые знающий толк в перемене ветров времени отставной служитель и действительный литератор посвятил, впрочем, уже новому наследнику Александру).

Второе, более обширное путешествие было совершено в 1863 году, когда Николай Александрович проплыл от Санкт-Петербурга до Астрахани, посетил Царицын, проследовал в Крым, через южные колонии достиг Екатеринослава и, минуя Харьков, Курск, Орел и Тулу, вернулся в Москву. В эту поездку в Новочеркасске на Войсковом кругу казаков он принял звание атамана Всевеликого Войска Донского.

В ходе одного из паломничеств по государству, в городе Петрозаводске его со-ученик у знатока отечественной старины Буслаева привел старика-слепца Кузьму Иванова, который пел еще собирателям Бессонову и Якушкину. Когда сказитель завел былину о Волхве Всеславиче — нашем князе Чародее,— то неожиданно почуял, что кто-то ему в невидимых слушателях подпевает, и вдруг прервал течение стихов. Оказалось, что вторил наследник Николай. «Вот до чего дожил,— склонил голову Кузьма,— и первенец царский поет наши песни!»

В 1864 году во время странствия по западноевропейским державам наследник избрал себе невесту и 20 сентября с согласия родителей был помолвлен с датскою принцессой Дагмарой, о чем возвестил народу в Петербурге сто один залп орудий. Николай Александрович побывал в Германии, Дании, затем проехал через Тироль в Венецию, Милан, Турин, Геную; купил во Флоренции за сорок тысяч рублей «Тайную вечерю» художника Николая Ге.

В Ницце с ним случился припадок давней болезни, полученной от ушиба спины, когда он еще в 1860 году упал во время скачек с английской лошади. Нарывала позвоночная кость, а цесаревич грустно писал близким, что «с охотой вернулся бы в Россию на зиму. Хочется домой, и это чувство, я думаю, весьма понятно. Мысль так долго оставаться за границей мне просто неприятна. Тянет на Родину».

Здесь он не раз вспоминал, как в день своего девятнадцатилетия присутствовал вместе с отцом на открытии памятника Тысячелетия России в Новгороде: когда с изваяния спала скрывавшая его до поры от взоров народа завеса, вокруг раздавались колокольный звон и пушечная праздничная пальба, митрополит кропил присутствующих, а отец-император обнял наследника, прижал его ко груди, поцеловал и благословил на царство...

Шестилетнее служение Николая Александровича в звании царского наследника окончилось неожиданно. Болезнь приняла роковое течение, к одру умирающего были срочно вызваны родители и невеста. В бреду он повторял военные команды «вперед», «за мною», «честь», среди последних слов запомнили и морской клич «навались!». Узнал прибывшего брата, будущего Александра III, явственно произнеся: «Дай руку, Саша!» Обнимал мать-императрицу, говоря по-французски приближенным: «Хорошенько позаботьтесь о ней...»

В остатние часы царь с царицей стояли в его ногах, когда он причастился около полудня; затем взял правой рукою с надетым невестой на прощание обручальным кольцом, Александра, а левой принцессу Дагмару, возложил на голову невесты братнюю десницу — и отдал душу Создателю.

Фрегат «Александр Невский» доставил тело почившей надежды страны в Кронштадт, манифест Александра Второго среди прочего возвестил «Скорбь наша была общая, семейная во всей России», а один из наставников, оплакивая кончину, в коей провидел в эти минуты тысячи других смертей, говорил, что умер не только человек, но умерла юность, умерла красота, умерла первая, едва вспыхнувшая любовь, умерла надежда миллионов добрых людей, умер идеал высокого, справедливого и благородного.

На самом месте кончины в Ницце, которая стала известным местом как раз благодаря тому, что этот заштатный прежде городок избрали для посещения русские цари и великие князья, три года спустя, в 1868-м была воздвигнута часовня святителя Николая. К 1912 году рядом с нею вырос и великолепно украшенный одноименный храм, выстроенный академиком Преображенским,— они действуют до наших дней, а дорога, ведущая к ним, именуется улицею Николая II.

И это отнюдь неспроста: племянник и двойной тезка цесаревича Николая явился как бы трагической тенью безвременно ушедшего наследника. Дело в том, что принцесса Дагмара, на смертном одре как бы перевенчанная усыпающим женихом младшему брату, действительно через

год после его смерти была выдана замуж за будущего императора Александра Третьего, по крещении стала зваться Марией Феодоровной, в память о бывшем женихе назвала первенца — впоследствии царя — Николаем и единственной из царствующих лиц сумела живой выйти из круговерти братоубийственной гражданской смуты, проведя последние годы в родной Дании...

Вот каков был еще один оплошно пропущенный поворот в нашем недавнем минувшем,— заключил свою краткую повесть Платон.

27. О ДВУХ ДОЛЖНИКАХ. На дверях комнаты заместо нумера красовалась чудаковатая табличка «ХРУЭМ ФРСТ» — наверняка где-то подтибренная мимоходом; впрочем, коли по толкованию котельного мудролюба все неразумное обладает действительностью — то почему бы не быть и таковому имени? Разумнику Васильевичу, между тем, звучание слов неожиданным перескоком напомнило хриплое горловое рычание, какое нередко слышишь за спиною, и потом замираешь в наставшей тишине, с омерзением и брезгливостью ожидая неминуемо-поганого, харкающего всплеска плевка.

Внутри же, рядом с окошком, где в упор на пришедшего глядела притча, каковую он по касательной уже видал намедни от соседа, находилось изображение человека в двух ипостасях, выдающего паре приятелей — толстому да тонкому — разного объема мешочки, и тут же шла пояснительная по-русски надпись:

«У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но, как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»

По другую сторону сказания стоял белобрысый высоковатый человек с матовою залысиной и делал в пустое пространство гримасы с ужимками, бросая беззвучные, одними лишь губами выговариваемые предложения, которые пустота по всей видимости отказывалась принимать на веру, повергая тем незадачливого просителя в еще ужаснейшие умолительные содрогания.

Жизненное описание, которое, все так же прерываясь кривляниями в немую бездну, поведал Сельнокринову этот обитатель боковых помещений, было безмерно печально, хотя, как нарочно, повинуясь наперед данному предсказанию, и ложилось в ряд исповедей экранирующихся сограждан.

Словно передразнивая крестьянский обычай давать людям помимо казенного фамильного прозвания, часто единого на всю деревню, еще другое для внутреннего потребления, называемое фамилией «уличной» — товарищ Хруэм господин Фрст действовал в ближайшей окрестности под кликухою Циклодольщик. Громкое сие имя он взял от одного из психушечных лекарств; хотя, впрочем, начинал юношей лишь с «травы» — то есть худого отечественного заменителя «марьиванны» (марихуаны), которая ответственными знатоками за океаном и за отраву-то по закону не признается. Согласно рассказу Циклодольщика сводная ее сестрица наших кровей действительно привыкания не вызывает, и «приход» от нее не длиннее часа-другого, самое большее трех. Кроме того, при потреблении приходится начисто исключить принятие спиртного, ибо два вида ублажения взаимно уничтожают друг друга. Курение Марьи Ивановны часто оканчивалось неудержимыми спазмами тихого хохота, а потом еще наступал «мышиный жор», когда все удобоваримое съестное в доме уничтожалось напропалую.

Покуда сей разряд дури — точнее сказать дурочки,— был не столь уж распространен в родных палестинах, он отличался сравнительною дешевизной, да и разбавляли содержащую его в сгущенном виде мастику, доставляемую старателями из теплых краев, не чересчур бессовестно.

Приятели будущего Циклодольщика совокуплялись у него на дому — поелику родители были забраны отрабатывать международную барщину куда-то на Кубу или в Анголу, и до далекого сына их руки долго не доставали; а он, покуда суд да дело, осваивал здесь науку набивать «беломорины» с добавкою пыльцы, именуемые на своеречии «косячок», что величалось еще на макар бородинского стихотворения:

Забил косяк я в пушку туго
И думал: заторчишь, подлюга,—
Постой-ка, брат мусью!

Особо ценились «косячки» среднеазиатские или рекомые «ядерные», от которых воистину можно было далее всего «уехать», причем еще самым лакомым в их составе был последний кусок, именуемый ласково «пяточка». Шутники из недостаточных изготовляли даже целые пачки для ленивых на труд, но состоятельных товарищей, продавая их затем за четвертной билет и очень похоже дописывая тем же шрифтом к печатному названию определение «с травкой».

Друзья хруэмовы были все как на подбор с творческими наклонностями — хотя впоследствии времени и засохли по большей части на корешке; они составили известное в узком кругу объединение «поэтов-подкуристов», взявши себе в заглавие сочиненное вместе двустишие:

Врубаться можешь ты не быть —
Но подкуриться быть обязан!

Завели общий рукописный альманах; появились также свои особые забавы — вроде той, когда придумали писать магические выражения на длинной ленте, склеенной в таинственное Мёбиусово кольцо с единой поверхностью; затем оно подбрасывалось на воздух и, с заклинаниями актуальной и потенциальной бесконечностей, рассекалось с лету ножом для того, чтобы тотчас прочесть два располовиненных пророчения и угадать их недоведомый смысл.

Существовали и внутренние, невнятные чужакам присказки, понятные лишь после курного посвящения, наподобие такой: учитель-кавказец, затянувшись хитрою белл-амориной, начинает урок природоведения про времена года.

— Как улетают осенью на юг журавли? — спрашивает он отличника Гоги.

— Косяками.

— Маладец! Садысь, пять. А как улетают синицы?

Четверошница Лола: «Косяками, скорее всего».

— Садись. Хорошо. А как улетают собаки?

Троечник Ашот: «Наверное, тоже косяками...»

— Ладно. Удовлетворительно. А со свиньями как обстоит?

Негодник Вовочка: «Свиньи, Акоп Муратович, не имеют крыльев».

— Вай-вай! Вийди вон, кайфоломщик!!!

Спустя годы, с возрастанием опыта, цен и гласности, содружество подкуристов развалилось, но наш хозяин, ставший постепенно его стержнем или, выражаясь одесским наречием, «центровым», успел разок-другой навестить на «психовозке» дурдом, где получил следующее по степени посвящение, разобравши, что на каждую голову есть своя подходящая «открывалка».

В его случае это оказались не общеупотребительные среди «колесников» кодеин с ноксироном, промедол-омнопон «игольщиков» или «трава» беднячков, а мельчайшие такие кружочки, используемые врачами в качестве «корректора»: когда буйно помешанному или несродно задумавшемуся человеку вводили насильно сульфозин, который скручивал его мышцы стылым параличом, то для выправления перекоса впихивали под язык

еще несколько штучек снадобья «циклодол», после чего тот преспокойно лежал твердым бревном, так что при легком щелканье по телу перстом оно издавало бодрый деревянный отзвук.

Заглоченный же в отдельности, а в выдающихся случаях и под водочку в количестве, измеряемом одним-двумя десятками (потому что полусотня составляла уже смертельный номер), препарат высвобождал задавленные посредственным бытием умственные способности и приносил восхитительнейшие видения, в одно из которых Фрст сочинил однострочное стихотворение:

Приблизить солнце — значит унизить розу.

Правда, со стороны это смотрелось вовсе не столь уж приглядно: человек поминутно облизывался — у лекарства было побочное действие, от которого резко сушило рот,— бессмысленно строил рожи, не мог довести до конца ни одного начатого предложения, ибо прямо посередине мысли она забывала точку, из которой вышла, и ту, куда направлялась. Зато взамен внутри поселялось потаенное, оторванное от забубенной жизни творчество духа.

Впрочем, в первые еще разы из души перла наружу вся сваленная там, скопившаяся за годы внешнего существования, муть — страхи, ненависть, воспоминание прошлых и предвидение будущих смертей; нередко являлись и несколько «черных» в трико, порывавшихся заколоть за грехи длинным кухонным ножом. В уши впивались бесплотные, требовавшие спасения голоса — и улетевший по касательной к подлой действительности гражданин ломал чужие двери или казенные строения, откуда ему обманчиво кликали «караул!»; но как скоро ему удавалось-таки сбить на сторону замки, скинувшиеся страдальцами бесы с гоготом уносились прочь, оставляя своего лжеспасителя в руках санитаров. В «том» лишенном густой плоти мире он не раз, слегка позавтракавши, отправлялся гулять по воздуху, в то время как в «здешнем» вещественном оставленная на плите и поглощенная «там» еда преспокойно калилась до угольков, двери в дом оставались отверсты, а прохожие шарахались в стороны от «задвинутого» идиота.

Но после всех таких мрачных заездов душа в итоге извергала вон наносный сор, успокаивалась до предела, и Хруэм с ней вдвоем мог, зажмуривши лежа глаза, свободно созерцать внутри собственных век сияющее ночное небо — вся эта звездная слава, вместе с кромешною чернотою кругом, были не что иное, как содержимое его очищенного от мирской суеты отреченного существа.

28. ЗВЕЗДА ХРАМОВНИКОВ. «...вси внуце Всеславли! уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени (затупившиеся), уже бо выскочисте из дедьней славе»,— продолжил историческую ветвь сказания Разумник отрывком о потомстве князя-чародея из «Слова о полку Игореве».

Призыв ко смирению, произнесенный в конце двенадцатого столетия неизвестным по имени певцом, пришелся куда как впору — ибо именно в том же самом XII веке сын Владимира Мономаха Мстислав выслал детей и внуков Всеслава к дружественному тогда ему византийскому императору, где большинство из них сгинуло на военной службе. Но одному все-таки удалось выбраться и вернуть прародительский стол — звали его Василько.

Последним же мужчиною в роду Изяслава стал Брячислав, перебравшийся в конце жизни в Витебск. Междоусобная замятня завершилась женитьбою Александра Невского на его дочери, происшедшей в 1239 году в Торопце перед той самой Эфесской иконою Богоматери, что добыла в Византии для Руси внука Всеслава преподобная Евфросиния.

Другую дочерь брячиславову взял за себя племянник великого литов-

ского князя Миндовга Товтивил, и с той поры здешний стол вместо людей, чьи имена оканчивались на «славу», начали занимать уже другие с прозваниями, звучавшими для славянского уха вчуже: Гердень, Витень, Ягайло, Гедимин, Скиргайло, Казимир...

Впрочем, большинство населения оставалось еще русским и православным, так что даже государственным языком Литвы всенародно провозглашен был церковно-славянский. А когда Ягайло опрометчиво прислал в город наместником своего брата-язычника Скиргайла, отказавшегося принять святое крещение, то рассвирепевшая толпа в ответ посадила его на лошадь задом наперед и под свист да улюлюканье прогнала за стену детинца. Пришлось упрямому идолопоклоннику смириться, и через несколько лет он был крещен Иваном.

Городская дружина участвовала и в Куликовской битве, потому что сестра здешнего князя Андрея была замужем за двоюродным братом Дмитрия Донского — Владимиром Андреевичем Серпуховским.

Но основной удар целил сюда с Запада: как раз кременецкие люди первыми из славянских племен страны столкнулись с тевтонским и ливонским рыцарством. Немцы явились сначала в балтийских низовьях Западной Двины близ тех мест, где впоследствии возник город Рига — изначально они числились владениями наших князей. Затем двинули вверх по течению, все ближе подступая под сотворенные самою природой твердыни Кременца. Кременчане вполне ясно видели размах и направление угрозы и недаром выставили в 1242-м целый полк на подмогу Александру Невскому в Ледовом побоище.

Распрю двух названных орденов за Кременец решил, как это зачастую водится в истории, третий — дружина «храмовников»: здесь была самая восточная точка, какой им удалось достигнуть после того, как превратившиеся из крестоносного воинства в потайное антихристово сообщество тамплиеры вынужденно покинули пределы Ближнего Востока.

Подгадавши безвременье междувластия русских и литовцев, они ловко воспользовались вероисповедными разногласиями прежде довольно мирно уживавшихся с коренными православными — пришлой из лесу языческой жмуди, изгнанных из отечества григориан-армян, новоявленных от Польши католиков и бежавших из очередного временного убежища в рассеянии иудеев,— и захватили Верхний Замок на соборной горе, принявшись править оттуда свою власть над городом и всем княжеством.

Внешне София была объявлена тогда орденским святилищем, куда днем могли приходить все последователи Христа. Но в подклете, как скоро разнеслось под рукою в людях, учинено было внутреннее храмовниково капище. Там собирался для своих суждений орденский капитул, тут же посвящали новых братьев, после чего открывали им учение о том, что Распятый оказался лжепророком, лишенным всякой видимой и невидимой власти. По пятницам, среди коих в отменности почиталась Страстная, как годовщина казни Иисуса, брат-принимающий, именовавшийся по-латыни «рецептором», доставал из футляра украшенное золотом и серебром металлическое изваяние по имени Бафомет, напоминавшее не то череп мертвеца, не то лицо старца с большой бородою, говоря новичку: «Верь в него, ему доверяйся — и благо тебе будет».

Тот должен был с непокрытою головой поклониться до земли, затем ему надевали «пояс Бафомета» — шерстяной шнур, делавшийся талисманом посредством прикосновения к идолу: это опоясывание никогда не могло быть впредь снято с тела посвященного, чтобы он неизменно находился под неусыпным покровительством его чародейной силы, и оно же служило сокрытым знаком, по которому допускали к участию в мистериях.

Далее первопринятый обязан был лобызать брата-рецептора и присутствующих при инициации старших посвященных в срамные части,

наименование которых даже в ученых трудах до последних времен писалось лишь по-латински. И это было не просто доказательство того, что он способен смириться до зела ради исполнения орденского долга. Как выяснилось гораздо позднее, среди храмовников в обычае была любовь только между мужчинами, ибо они крепко подозревали — не без оснований,— что связавшийся с женщиною рано или поздно нарушит обеты молчания и выдаст все тайны.

Таковы были житейские правила членов ордена, конечной же верой их служило исповедание двух правящих светом начал — доброго и злого; причем поскольку высший благостный Создатель пребывал на недоступной человеку высоте, поклоняться следовало лишь низшему творцу, создавшему грешный мир и правящее в нем зло — только он, по тамплиерским повериям, обладал силой приносить своим служителям здоровье, наделять их благами и сокровищами...

На протяжении последующих веков ученые мужи во множестве подвергали сомнению стойкое народное предание о том, что некогда собор Софии попал в руки антихристова воинства,— и постепенно отвержение его стало общепринятым. Однако в совсем недавние годы при разборке засыпанного подклета, где намеревались устроить подземный музей древнего быта, были во множестве раскопаны тонкие кирпичи-плинфа, испещренные тамплиерскими печатками — нарисованной, не отрывая линии, пятиконечной звездой, именуемой греками пентаграммою, а французским наречием пентаклем, меченными буквами Т (тампль — то есть храм) или латинскою монограммой Жака Молэ, последнего великого магистра ордена, сожженного королем Франции Филиппом Красивым и папою Климентом в Париже 11 марта 1314 года.

Тем не менее гостевание рыцарей сатанинского храма в соборе продолжалось, по всей видимости, недолго, хотя подлинных хартий о том не сохранилось или они были предусмотрительно уничтожены,— и не будь немо вопиющих кирпичей с пятипалым тавром, пришлось бы и нам посейчас почитать все это вековое сказание за пращурову сказку. Но еще одним косвенным, хотя и весьма весомым доказательством служит участие дружины княжества в знаменитой Грюнвальдской битве 1410 года — ее привел туда сам наместник Кременца Иван Немир; наши воины столь славно потрудились на бранном поле вместе с союзниками, что после заката этого дня навсегда перестал существовать на белом свете соседний и сродный храмовникам Тевтонский орден.

Почти одновременно, всего за четверть века до сражения при Грюнвальде — или, как зовется это место по-литовски, Жальгирисе,— в 1386 году великий князь Ягайло, соблазнившись красотою польской королевы Ядвиги и обещанием единой власти над Литвою и Польшей, объединяемых браком двух своих владетелей, принял католичество и начал долгую войну, иногда лишь скрытно протекавшую под мирной личиной, за насильственный загон в римскую веру всех своих подданных.

Одним из светочей православного сопротивления в ней оставалась многие годы наша София. Недаром где-то во второй половине пятнадцатого или начале шестнадцатого века ее подвергли частичной перестройке, обратив главы в башни, а все здание в некое подобие крепости. Именно в этом храме в 1495 году слушала свою божественную службу дочь Ивана Третьего Елена — невеста великого литовского князя Александра. Она поставила условием заключения брака сохранение собственного православия и покровительство свободе исповедания для единоверных сородичей в Речи Посполитой, чего с немалым трудом добивалась до самой кончины.

Софию и ее землю пытался вернуть в состав Руси сын Ивана III Василий Третий, осаждавший город в 1518 году,— впрочем, пока безуспешно. Исполнить отцовскую волю до конца взялся затем его горько-прославленный сын Грозный Иван.

29. О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ. Спасая собственную жизнь от полыхающих в пурпурной тьме молнийных разрядов и светопада огней, насмерть перепуганный Сельнокринов первым делом выдернул долой из розетки обвешанный проводами тройник, а потом осторожно, боясь подорваться, включил взамен обыкновенный свет.

Из глубины набитого до потолка проводами, счетчиками, каскадами каких-то усилителей и электронных коробок бункера на него недовольно уставились маленькие очковые глазки владельца всей этой сложносоставной космической техники инженера-любителя Обернибесова. Чуть позже он с еще большим ужасом разглядел в левом от входа углу спокойную сухую старушку, по всей видимости, мать хозяина — общим семейственным признаком у них служило успешное улепетыванье от времени: бабушка смотрелась сущею девчонкой, а сорокалетний сын, тщедушный и с босым лицом, казался просто-таки заправским пионером, так что им для полноты не хватало только песочницы, куличиков да галстука с барабаном.

При ближайшем рассмотрении, однако, Разумник нашел себя в истинном средоточии экранизации, полной и окончательной.

— Смотри, Васильич, что мне наворотили эти живоглоты! — пожаловался инженер, тыкнув ручонкою во внешнюю стену. В ее подножии громоздилась груда битых кирпичей, за которою была начерно раскрыта очередная фреска с непременной пояснительной легендою:

«*Человек некий схождаше от Иерусалима во Иерихон и в разбойники впаде, иже, совлекше его и язвы возложше, отыдоша, оставльше едва жива суща. По случаю же священник некий схождаше путем тем и, видев его, мимоиде. Такожде и левит, быв на том месте, пришед и видев, мимоиде. Самарянин же некто грядый, прииде над него и, видев, его, милосердова. И, приступль, обвяза струпы его, возливая масло и вино; всадив же его на свой скот, приведе в гостиницу и прилежа ему. И наутрия, изшед, изъем два сребреника, даде гостиннику и рече ему: прилежи ему и, еже аще прииждивеши, аз, егда возвращуся, воздам ти.*

Кто убо от тех триех ближний мнит ти ся быти впадшему в разбойники?»

Подобно сей притче, ближе всего оказались Обернибесову именно существа самые отдаленные, однако сродство это вышло отнюдь не на пользу. Со школьных еще времен более всего любопытствовал он про дальние страны, заокеанские прерии и владеющие ими сверхдержавы, грозящие нам из своих природных убежищ немедленной атомной гибелью. Со временем, однако, концерны, магнаты, акулы и воротилы в качестве главного противника показались все же малы ростом; ставши студентом, въедливый изобретатель принялся поглощать весь наличный в переводе состав научной фантастики и наконец открыл подлинные стоящие во главе заговора силы, управляющие из крайнего созвездия земною бедой.

Врожденная техническая жилка немедленно подвигнула Обернибесова тотчас приняться за создание сложной системы электроннолучевой защиты от вездесущих подглядывателей в нашу душевную жизнь, и он приступил к построению модели всеобщего экрана, покуда что в штучном исполнении предназначенной для одного человека — самого себя.

Для надежности он еще выложил внутри комнаты вторую, а за нею и третью добавочную стену из белых силикатных кирпичей, поставленных на торец. Столь деятельный отпор, проявленный ничего ранее не подозревавшим землянином, изрядно озадачил инопланетян, — но и они все же впоследствии нашлись, прибегнув для разрушения защиты к особым эфирным токам.

Тогда борец-одиночка, окончательно забросив ради достижения победы отнимавшую даром время чертежную службу в постылой конторе, принялся возводить экран нового поколения, постепенно доводя его действенность до уровня третьего тысячелетия и обеспечив почти что полную непробиваемость. Особая точность достигалась благодаря тому,

что Обернибесов, подобно радиоглушилкам, успевал вовремя перепрыгивать со своим блоком с волны на волну, из поля в другое, вырубая все поползновения оборотистых пришельцев, война с которыми превратилась в его единственное всепоглощающее занятие.

Между тем средств для существования он при всей своей худобе требовал совсем немного — в благодарность за верную защиту его питала и одевала на пятидесятирублевую пенсию беспредельно преданная сыновней страсти мать-старушка. Выплаты же за чудовищный перерасход энергии хитроумный технарь свел к совершеннейшей ерунде посредством изощренной системы жучков, подключенных на полупути к счетчикам ничего не подозревавших соседей — а недогадливые бедолаги списывали неприятную обязанность вносить двойные платежи за электричество на вконец одряхлевшую сеть, стремясь еще скорее перебираться от нее в заречные «хрущобы».

Сельнокринов же заявился уже под самую развязку сражения: коварные чужезвездяне наняли врагов-реставраторов, и эти бесовы служки насильно выломали внешнюю каменную стенку, оголив начисто тыл воздвигнутой многолетними самоотверженными трудами «линии Обернибесова». А первой бросившаяся на супротивника в бой старушка от огорчения слегла, собираясь, по видимости, вскоре вовсе отправиться к праматерям.

— Ну ничего, суки! — грозил кулачком антимирам не желавший отчаиваться инженер.— Я заместо этого смотри какую силовую защиту придумал, вот сейчас засобачу...

И не успел Разумник Васильевич повернуться, как проворный изобретатель вырубил опять свет и дернул потайной рычаг. Со всех сторон на голову посыпались снопы искр, что-то синеватое замелькало рядом с розеткой, резко запахло йодом или морскими водорослями, а потом кислый воздух пронизала столь мощная молния, что Сельнокринов от одного ее вида еще прежде, чем раздался позади катящийся гром, в вихре беззвучного залпа вылетел наружу.

...История эта получила завершение всего через несколько дней. Старушка тихо преставилась, а нашивший себе поверх штанов и рубашки тьму-тьмущую разноконечных звезд Обернибесов в совершенной отключке выскочил вон и пропал,— его тельце нашли значительно позднее разрезанным натрое обок железнодорожных путей. Пришедший задним числом оформить болезную карту врач на изумленные расспросы Разумника преспокойно заметил, что теперь почитай что в каждом доме имеется такой или подобный экранизатор, только мы не хотим их замечать; а по случаю наступления плюрализма и лечить-то всех недосуг.

30. ГРОЗНЫЙ ИВАН. Спустя сорок пять лет после отцова похода царь Иван решил поправить недовершенное им дело и 31 января 1563 года с большим войском и мощным «нарядом» подступил под городские стены,— правил далее свою историю Сельнокринов.

Помимо всех потребных вещественных орудий осады немалое внимание уделил царь вооружению духовному, а посему не забыл и про крест преподобной Евфросинии. Еще в начале тринадцатого века его забрали в Смоленск, завладевший тогда среди прочего и кременецкой землею; отец же царев великий князь Василий Третий в 1514 году, возвратив Смоленск Руси, перенес крест в Московский Кремль. А под 1563 годом Никоновская летопись гласит:

«Когда же боголюбезный царь и великий князь, мысля итти на отступников крестьянския веры на безбожную Литву, бе же тогда в его царской казне крест украшен златом и камением драгим княжны Евфросинии... Царь же и великий князь обновити велел и украсити тот честный крест и взя с собою, имея надежду на милосердаго Бога и на крестную силу

победити враги своя, еже и бысть». Действительно, спустя четыре сотни лет Евфросиниино сокровище вновь возвращалось в отеческий край надолго — хотя и не навсегда.

Об осаде подробнее всего сообщает лишь недавно преданная тиснению летопись, называемая Лебедевскою:

«А сам царь и великий князь, пришед к городу и увиде верх церкви Софии Премудрости Божии, и послал в большой полк и во все полки бояром и воеводам, чтобы, пев молебны и прося у Бога помощи, знамена бы розвертели. А владыке Коломенскому Варлааму и архимариту Чюдовскому и игумену Иосифовскому со всеми соборы повеле пети молебны и молити Господа Бога и Пречистую Богородицу и великих чюдотворцев. Тогда же прииде ко благочестивому государю от архиепископа Пимина Новогородцкого игумен Ефрем Животворящия Троицы Клопскаго монастыря, нося благословение, образ Святыя Софеи неизреченныя Премудрости Божия, и воду святую на освящение и на утвержение царскому его благородию и всему христолюбивому воиньству...» Про литовского наместника говорится в ней далее так: «Воевода же и со всеми своими ближними и с семьями живяше во церкви Святыя Софии, нападе бо на них страх и ужас и ничим же противити ся могуще».

Город сдался 15 февраля, воевода Довойна и епископ Арсений были отправлены на Москву. Царю устроили торжественный вход: «Встрете же царя и великаго князя в градных в болших в воротех со кресты Софейской протопоп Феофан с Софейским собором и с священники. Царь же и великий князь, видев пречюдныя образы в церкви Святой Софеи и любезне припадая и моли Бога и Пречистую Богородицу и великих чюдотворцев, что даровал ему Бог и Пречистая Богородица образы их видети. И поиде к соборной церкви к Софеи Премудрости Божии. И, вшед в церковь, нача пети молебны Софейской протопоп з братиею и со всеми градскими священники. Действова же Коломенской епископ Варлаам. Видев же государь в церкви Святыя Софеи пречюдныя и чюдотворныя образы от древних ту бывших государей крестианских украшенных, и со слезами припадает и хвалу Господу Богу и Пречистой Богородице и великим чюдотворцам воздает, что не в конец безбожнии Люторие церкви святыя осквернили и разорили и святым иконам поругалися...»

Столь настойчивое указание на поклонение самодержца чудотворным образам, Троице и Софии, кроме вполне понятной внешне борьбы с бурно зарождавшимся протестантством, имело и другую, менее известную потомкам причину. Царя возмущало не столько обращение католиков в лютеранство, сколько совращение ими природных русских — а тех и по ту пору было в Речи Посполитой презнатное число; недаром о них именно особо говорилось, что-де «те люторы отпали святые православные веры». Мало того, из среды крайних протестантов выделился толк противников Троицы — антитринитариев, сумевших найти связи с отнявшей много крови у царского отца Василия III ересью жидовствующих. Последователи этого толка действительно склонялись к ветхозаветному иудаизму, и те из них, кому удавалось бежать от тяжелой руки Грозного в раздираемую битвой вер и покуда терпимую к любому, самому буйному сектанству Польшу-Литву, случалось, на деле женились на природных еврейках — как Феодосий Косой — и переходили в сонм поклонников старого Моисеева закона.

Зот каково объяснение последовательной жестокости, с какой царь Иван преследовал отступников в отобранных назад русских землях. Еще прежде он в ответ на убеждения короля Сигизмунда-Августа допустить иудеев в свою страну для развития торговли резко возражал: «И нам в свои государства никак едити не велети, занеже в своих государствах лиха никакого видети не хотим, а хотим того, чтобы Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине безо всякаго смущения. И ты бы, брат наш, вперед о жидах к нам не писал...»

Посему, явившись лично туда, где бывал сам вождь антитринитариев Симон Будный, Грозный велел особо собрать иудеев, согласных креститься — крестить, а несогласных губить. Триста человек были пущены так под воду — «а которые в городе жили люди жидове, и князь великий велел их и с семьями в воду речную вметати, и утопили их». Не самая страшная казнь времен великих европейских вероисповедных войн, она тем не менее будто клещ впилась в память исследователей и неизменно получала отражение во всех статьях о прошлом Кременца.

Именно тут попался в руки Ивану Четвертому другой ересиарх из числа врагов Святой Троицы, инок-расстрига Фома, успевший образовать около себя целую общину из совращенных славян — его-то царь повелел вывести на лед и спустить в прорубь в первую голову. Попутно он разорял и латинские костелы, а союзные татары побивали членов ордена бернардинов. Архиепископом был назначен постриженник Иосифо-Волоколамского монастыря, то есть главной твердыни борьбы с жидовствующими, крепкий неприятель лжеучителей москвич Трифон.

Иван IV вскоре включил в свой титул имя местного княжества. Летописец свидетельствует также, что «месяца апреля в 4 день царь и великий князь по совету отца своего и богомольца Макария, митрополита всеа Русии, и богомольцев его архиепископов и епископов и всего освященнаго собора, учинил в своей отчине у Софии Премудрости Божией архиепископию».

Для защиты города был вновь насыпан вал, сохранившийся по большей части доныне. В Нижнем замке Грозный оставил под командою воеводы князя Петра Шуйского отряд стрельцов, поселившихся там слободою. Поскольку при приближении русских войск монахини Евфросиниевского монастыря поголовно бежали, крест ее был положен в Софийском соборе, где и находился вплоть до девятнадцатого века. Сам же Кременец, как отмечали современники, был тогда весьма густ населением — его числилось до ста тысяч душ, то есть он считался многолюдчее и богаче литовской столицы Вильны; состоял из двух замков наверху и внизу и еще поселения Заславья, был окружен, помимо природных каменных обрывов, рукодельными рвами, валами и деревянной стеною на предмостном укреплении.

Сотворивши благодарственный молебен, царь Иван проследовал с войском вперед к Великим Лукам, успев бросить изречение, запавшее на страницы истории. «Берега Славы,— сказал он нарочно обоюдосмысленно,— серебряные, а дно у нее — золотое».

Со времени этого взятия злато-серебро спокойно пролежало в царских руках целых семнадцать лет, покуда в августе 1579 года к нему не подступил польский король Стефан Баторий.

31. О ДОКУЧЛИВОМ ДРУГЕ. Следующий прием оказался дружественным и теплым свыше всякой меры приличия — причем и в прямом, и в переносном понимании последнего определения, поскольку на глумном языке ащеуловых жителей владелец комнаты звался еще «теплый брат». Это вполне прозрачное именование давно сменило на карауле подлинную фамилию хозяина — Засядко — и совсем уже непотребную кличку «дровосек», заимствованную из перелицованного двустишия

В лесу раздавался топор дровосека —
Мужик отгонял топором гомосека...

Про преступную страсть — или, коли глядеть с противного берега, то несчастную склонность Засядкину Разумник, как водится среди постоянных, но не близких приятелей, знал, знал, да и забыл. Однако всем суетливым поведением, строем мысли и направленностью речей тот почти с порога восстановил памятное упущение: сперва выбранил все противуполое сословие, каковое он полуприлично называл «двужопыми

крокодилами» (корень чего рос в известной расхожей побасенке); затем рассказал другую байку того же разбора, но прежде Сельнокринову незнакомую.

Впрочем, Засядко учел образовательный уровень навестившего его соседа и углубился в более пристойные слои своего мира. Он пропел ему изощренно сокращенный стишок Окуджавовой песенки:

Женщина плачет — муж ушел к другой,
А муж вернулся — а он голубой...

И даже, прослышавши стороною про некие исторические разыскания Разумника Васильевича, неожиданным рикошетом попал в совсем недавнюю написанную им главу, когда, округлив глаза, таинственно поведал, что, говорят, истинные рыцари, когда-то обитавшие в их общем соборе, именно этот род любви предпочитали всем прочим за совершенную чистоту и полную преданность. Да вот теперь времена пошли все кривые да кособокие...

В слащавом воздухе всех этих приколов Сельнокринов наконец ощутил совершенно посюстороннюю удушливую гадливость. Совопроснику хватило разума обратить на нее своечасное внимание; опасливо обронив, что в готовящемся новом уголовном своде всех невинно уклоняющихся от вековых предрассудков пола оставят теперь в свободном покое, он полуобнял пришельца за плечико и, пользуясь явным его вниманием к настенной росписи, затянул в укромное местечко как раз по-за шкафом, отодвинул скрадывавшую внешний свет занавесь и указал на бледный, едва читаемый рисунок с видом стучащего в ночную хижину путника. Содержание пояснительной надписи он выдать впрямую, однако, отказался и взамен тихонько прошептал его прямо на ушко с тяжелым прерывающимся задыханием:

— *Это про то, что некто, имея друга, пришел к нему в полночь и стал просить: у меня гость, дай взаймы хлеба, ибо он зашел с дороги, и мне нечего ему предложить. А тот в ответ: «Не беспокой меня, я уже двери запер, и дети мои со мною в постели лежат — не могу встать и дать тебе».*

Так вот, если не встанет он по дружбе, говорится далее, то все-таки подымется из-за неотступности просьбы, чтобы выдать потребное. А нравоучение в общем смысле таково: просите — и дано будет вам, ищите — и обрящете, стучите — и отворят!

32. БАТОРИЙ. — Король Стефан, — едва успокоившись от приторнокарамельного общения с Засядкою, поторопился удалиться в благородную старину Разумник, — происходил из старинного венгерского рода, шедшего из одноименного ему города Батора; а тот, в свой черед, вел имя от тюркского слова «батыр», что означает «храбрец», которому, кстати, и наш «богатырь» родной брат. Сперва он состоял князем на Семиградье, а с 1576 года был избран на польский престол, после чего ретиво взялся воевать с Иваном Грозным и сумел-таки его изрядно потеснить. Уже три года спустя, в 1579-м, он подступил и под наши стены. Описание осады города оставил находившийся в королевском обозе Гейденштейн. В его «Записках о Московской войне» есть в числе прочих такие слова:

«Сам пресловутый замок, и особенно находящийся в нем храм Софии, где, по слухам, хранились будто бы древнейшие произведения искусств, серебряные статуи, драгоценнейшие приношения прежних русских князей, — все это разжигало алчность солдат надеждою на огромную добычу». Жадность достигла таких размеров, что осаждавшие даже убили нескольких перебежчиков, принесших предложение о сдаче, — чтобы не лишить себя трофеев, ибо по средневековому праву войны добровольно сдавшийся город не отдавали на разграбление.

Кременец, впрочем, действительно не мог или не хотел крепко про-

тивостоять осаждающим. «Только епископ Киприян,— пишет далее Гейденштейн,— которого они называют «владыкою», и воевода, находившийся в замке, сильно противились сдаче, предпочитая лучше умереть, чем живыми предаться неприятелю. Они еще раньше, при общем пожаре, старались взорвать посредством пороха все и всех, находившихся в замке, но солдаты не допустили их до этого. Тогда они, по общему между собою согласию, удалились в Софийскую церковь, решившись не иначе выйти оттуда, как только уступая силе».

Когда же замок был все-таки захвачен, историк вновь главное внимание уделяет Софии: «Храм громаден, на отличной местности, великолепно построен из камня. Он принадлежит многочисленным последователям греческого обряда, которые с древнейших времен обладали им... Найденная там библиотека имела, в глазах ученых, почти такую же цену, как и прочая добыча. В ней, кроме летописей, оказалось много сочинений ученых отцов греческой церкви, между прочим и Дионисия Ареопагита о Небесной и церковной иерархии,— все на славянском языке. По словам их летописей, многие из этих книг переведены с греческого святыми Мефодием и Константином».

Книги были вывезены в Польшу, в Краковскую королевскую академию и Варшавскую академию Замойских. Доныне их сохранилась дюжина: одиннадцать в Варшаве и одна во Львове.

Город и храмы подверглись при взятии разгрому. Почти все пятнадцать православных монастырей Баторий передал в руки иезуитов, в том числе и Евфросиниеву обитель. Тогда же в ордене Иисуса сочинили легенду о никогда не существовавшей сестре Евфросинии Параскеве, которая якобы в отличие от нее ездила уже не в Святую Землю, а в Рим, где и умерла преданною поклонницей. С июня 1580 года, то есть уже на следующее лето после приступа, город стал одной из резиденций иезуитских, а еще через год тут был открыт орденский коллегиум с преподаванием на русском языке.

Вслед за тем Баторий взял Великие Луки и осадил Псков, но его добыть уже не смог. С помощью папского посредника иезуита Поссевино в 1582 году был заключен тягостный для Руси мирный договор, согласно которому вся кременецкая земля отошла во владение Польши; сам же король умер спустя четыре года, накануне турецкой войны, в Гродно.

Еще до его избрания на престол, в 1569-м на сейме в Люблине Литва и Польша окончательно объединились в одно государство, где католики принялись рьяно насаждать свое единое понимание христианства. А потому в 1595 году последовало подписание другой унии — религиозной, насильственно заключенной в Бресте, в соответствии с коей православные подданные Речи Посполитой, до поры удерживая собственные обряды, переходили в верховное подчинение папе. Среди имен прочих первоотступников значится под нею подпись и здешнего епископа Григория-Германа Загорского. Засим в городе учреждена кафедра униатских архиепископов, и собор Святой Софии сделался средоточием униатства на долгих 343 года.

33. О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ. — Я, должно быть, не вовремя? — ошарашенно вскричал Разумник Васильевич, когда его при входе самым ловким образом схватили за бока двое ухватистых «хомутов».

— А это мы сейчас подробно узнаем,— откликнулся третий и главный — судя по тому, что именно он восседал у стола, не снимая шапки. И хотя все трое были облачены в штатское платье, а в углу нахохленно громоздились двое одетых же теток, Сельнокринов недолго мучился сомнениями и сообразил, что происходит здесь отнюдь не ограбление: обиталище единственного в городе «свободного» писателя Порфиридова досматривают и потрошат на законном, с позволения сказать, основании.

Пока у него в установленном четком порядке выясняли пол, возраст и род занятий, предъявляли постановление об обыске и указывали на неотменный долг вплоть до его окончания пребывать неисходно на месте взаперти, не подавая знаков наружному люду,— неожиданно ожил тихо кемаривший в уголку телефон, вообще-то бывший редкостью в здешнем обиходе. Хозяин Иван Александрович — худой долговласый гражданин в вышитой украинской рубахе — торкнулся было к нему по привычке, но один из бдящих на страже служителей поднял кверху упреждающий перст: не тронь — заказано!

Другой продолжал между тем перекапывать книжные россыпи, извлекая все, что согласно его усмотрению можно было признать противузаконным и предосудительным. Сам же Порфиридов, видать, уже наскучил впустую доказывать ему, что хотя Василий Великий действительно сторонник самодержавия, Григорий Богослов воистину занимался религиозной пропагандой с высочайшего амвона, а Иоанн Златоуст считал синагогу хуже театра,— все это навряд ли можно вменить в вину читателю, а потому изымать их сочинения нет причины; и, махнувши в сердцах рукою, отправился к низкорослому холодильнику.

Пока суд да дело, изыскатель крамолы ненароком надыбал открытку с явственно нехорошим намеком: на ней был вырисован узкобородый молодец, роющийся в распахнутом чемодане, из которого он извлекал и тут же предавал на полу сожжению преопасного содержания бумаги и прочую печатную снедь для свечного огня. Услужливая надпись на другой стороне поясняла не только нашему человеку, но еще добровольно повторяла для немца, англичанина и француза: «Художник Я. Калиниченко. Перед обыском». Рядом, но уже лишь для внутреннего читателя значилось еще: «Главлит № 69042. Тираж 10.000 экз. Москва, 1926. Фабрика «Гознак», Мытная, 15. Издание Музея революции СССР».

Все это помещалось на левой, предназначенной для сообщений стороне оборота; одесную же, в графе «Место для адреса» чья-то недрогнувшая рука начертала, как вороной накаркала: «Дорогому Ване на крепкую память!»

Счастливый находчик сперва излиха возбудился при виде вещественного доказательства измены, но затем, немного пораскинув мозгами, огорошенно застыл, не будучи уверен, на каком основании можно приобщить подъелдыкивающую весточку к сонму прочего изымаемого. Свои сомнения он поведал возглавному чину всего наряда, который как раз вносил в перечень отбираемых «касающихся дела или запрещенных к обращению предметов» пачку снимков, обозначив ее сперва просто как «группа фотографий членов семьи Романовых», а потом, припомня тезоименитство нынешних или совсем недавних вождей, осторожно добавил в скобках «царской».

Он, впрочем, тоже устал столь долго напрягаться над вражеским скарбом и, оставя до поры в нерешении вопрос с треклятою карточкой, решил в свой черед сбить с толку не в ту степь мыслящего согражданина. Строго указав на старательно, хотя и не совсем по-знатоцки отмытую фреску посереди оконной стены, он допросил его совесть:

— Верующий?

Разумник Васильевич вслед за Порфиридовым и прочими служителями охраны обратил свой занятый до того сиюминутною суетой взор на изображение толстющего удачника, слепо не замечающего выглядывающую с превеликою яростью из-за его плеча смертяки, поверх которых Ветхий Денми Отец громоверзительно вещал свой приговор в изложенном кратко прении:

«Человеку некоему богату угобзися нива. И мысляше в себе, глаголя: что сотворю? яко не имам, где собрати плодов моих. И рече: се сотворю — разорю житницы моя и большия созижду, и соберу ту вся жита моя и благая моя; и реку душе моей: «Душе! имаши многа блага, лежаща на лета многа,—

почивай, яждь, пий, веселися!» — Рече же ему Бог: «Безумне! в сию нощь душу твою истяжут от тебе; а яже уготовал еси — кому будут?»

Смысл с трудом вычитанного еще гулко отдавался в молчании внутри сознания Разумника и Ивана; поэтому мало что петрившему во всей той старозаветной премудрости командиру пришлось повторить вновь:

— Верующий, спрашиваю?

— Я-то? Я русский,— не прямо, хотя и впопад возразил Порфиридов и взамен воздвиг уже свое вопрошание.— А что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу выпивать во время обыска не возбраняется?

Пораженный лобовой бесшабашностью по отношению не только к их чужепришлой, но и к своей участи, дядька вынужден был согласиться, что в У-Пэ-Ка по сему вопросу существует явный пробел. На что жилец еще более нагло ответил, что с недавней поры у нас все, что не запрещается,— значит разрешено, и вынул початую бутыль сухого болгарского, которую в последней надежде обнаружить самиздатскую отгонку обыскиватели, подозрительно морщась, нюхнули; однако усилия их и здесь сгинули втуне. А порядком повеселевший от проявленной лихости горемыка плеснул себе с Разумником всклень и возгласил паясническую здравицу:

— Со свиданьицем!

Винный пар существенно снял напряжение; Сельнокринов тоже расслабился, для закрепления чего пришлось, однако, еще несколько раз дополнительно «вздрогнуть», покуда, как говаривал один его старый приятель, дело не дошло до того известного случая, когда:

— Повторим! — вскричал почтмейстер, и выпили по «-надцатой»...

Изыскательные работы продвинулись тем часом до перетряхивания трусов и пробованья на зуб зажелтевшего анальгина; тут внутрь, словно привлеченная светом ночника бабочка, влетел общий знакомец со схожими родовыми корнями — душка Бенескриптов — и, лишь только попал в ловчие сети, нисколечко не сумнясь, провозгласил:

— Бувайте здоровы, Алеши-поповичи!

— Платон мне друг дороже всяких истин,— ответно сослался на именитых предтеч Порфиридов.

Нежданно-милому гостю была выставлена третья по счету емкость «воеже наполнити и осушити покал»; когда же низкопузая бутыль в плетеной рубашке подошла к опустошению, предусмотрительный Бенескриптов извлек из просторного кармана и свою заветную с уже куда более ответственным содержимым, хотя опять-таки неукоснительно казенного производства.

Смертно скучавшие на обочине событий понятые девицы, пойманные на улице задарма на бабье любопытство к чужой невзгоде, набрели в дальних закромах дома на никогда прежде не виданные западные журналы с картинками. Тою самой порой внимательнейшим, как оказалось, образом следивший за всем происходящим и только прикинувшийся простяком Иван улучил мгновение, когда пришлые младшины глядели в разные стороны, а возглавитель их вписывал в кондуит отбираемый «нож финского образца с ручкой из волосатой ноги копытного животного»,— и подтибрил с собственного стола беззащитно лежавший там и потому на самом виду почти прозрачный для оперативного зрака томик солженицынского «Октября Шестнадцатого», который как раз накануне не поспел дочитать на ночь глядя. Уповая на то, что гражданские барышни вплотную погружены в лицезрение забугорных красот и, на крайний раз, хотя даже увидят, так не должны продать просто за так,— он заховал книжку поглубже в мотню, подтянул портки и заявил, что желает проследовать на оправку.

Ничего действительно не подметивший чиноначальник кивнул соглашательски, но на самом выходе литератора в укрывище нужника глазастая косым зрением понятая прошептала главарю что-то на ухо, после чего он взвился и, полетев вслед, выловил Порфиридова за руку, почти что уже

угнездившую заветный плод позади обысканного еще в первый час сливного бачка.

— А-а, попался! — довольно восклицал охотник, воображавший, что уловил-таки искомое.— Признавайся: почему ты ее туда прятал?!

— А вы зачем у меня мои книжки тащите? — обиженно и нисколько не смутясь, дал сдачи ему той же монетою Иван Александрович.

— Мы проверим и отдадим,— лукаво пообещал «по уставу» следователь по непутным изданиям.

— На том свете угольками...— бросил с горечью его противник уже раз где-то слышанную Разумником новую поговорку.

Затем оскорбленный жрец чистой словесности стал из чистого упрямства пытаться справить невеликую свою потребность при отверстой сзади для проверки двери. Покуда он старался вызвать нужное действие у непокорного, тупо приверженного обыденным стыдливым приличиям естества, Бенескриптов вдруг помрачнел и шепнул Сельнокринову тихо-тихо, пробуждая того из плена опасного расслабления:

— Слушай, мы тут с тобой кукуем, как сычи,— а ну как не приведи Бог и у нас там тоже шмон?!

Разумник похолодел, но делать-то было нечего; на их выручку, по доброму совпадению, время уже подобралось к тому самому одиннадцатому часу пополудни, когда УПК строго указывает прерывать всякие следственные действия, коли они только не обусловлены спасением жизни граждан, охотою за преступником по горячему следу или иными важными причинами. Последние, впрочем, в нем поименно не оговорены, равно как и способ отделения уважительных оснований от всего прочего их обширного до неисчислимости стада,— но Порфиридовы прихожане и так уже получили сверх меры желаемого. Протокол на ровных тридцать три пункта был тщательнейше исполнен в двух экземплярах: его впереди подписей пришедших, пострадавшего и присутствующих достойно венчали указания на изъятие телефонной книжки и пишущей машины «Эрика» («— Это мое единственное средство производства!» — «Ты что, умнее Пушкина?»). Старший следователь Ефременков на прощание спросил, нет ли вдруг на что жалоб; Порфиридов плюнул, двое подхватов взяли на плечи увесистые короба с добычей и направились вон.

Уже на пороге ершистый помощник — не тот, что служил знатоком по крамольной печати, а перерывавший бытовуху,— вернул в утешение Ивану двусмысленную открытку, теперь уже как бы на память о нынешнем посещении, и, недоуменно взирая на содержимое пухлых охапок, почти сплошь состоявшее из книг старой русской печати, процедил:

— Ну и ну... А нам говорили, что — сионист.

34. ВИЗАНТИЯ I. Дóма против ожидания царило безлюдье, и никакой чужак туда покуда не заглядывал наведаться впритык. Но осторожного Бенескриптова гнела уже новая докука: его изрядно поджимали сроки гонки, да и спешившая навстречу им свыше ожидания спорая Сельнокринова векопись.

Он все продолжал неопустительно потчевать собрата потребною пищей для чтения и рудой для намывки исторического золота, одновременно все отбиваясь от «неспелых» вопрошаний про смысл стенных загадок. Тем не менее явно запаздывая с собственным попятным движением обратно в прорву минувшего, где он все никак не мог точно установить исходный перекресток, откуда обознавшаяся судьба свернула на торную тропу ошибок с головного пути истины и предпочла труднодоступной правде легкопадкую заместительницу,— северный Платон притащил с собою в числе прочей ловитвы простяцкую с виду августовскую листовку девятьсот четырнадцатого года. Бýдучи не столь уж и древней, она, однако, протягивала нить почти что на полтысячи лет назад, в самый венец Средневековья, и

связывала ею воедино жребий Софии Кременецкой с ее первообразом — Софией Константинопольской:

Штурмуют османы твердыни Царьграда,
Разметаны башни; в дыму и огне
Последняя пала пред ними ограда,
Пал кесарь последний в бою на стене.
И сила неверных во град покоренный
Вломилась отвсюду; за нею вослед
Вождей и улемов толпой окруженный
Вступил, торжествуя, султан Магомет.
Спасаясь от плена, в Святую Софию
Толпа заперлася и жен, и детей,
И, к смерти готовясь, свершал литургию
Средь общих рыданий старик иерей.
И вот совершилась уж тайна святая
Бескровныя жертвы; разверзлись врата,
И выступил старец с дарами, взывая
Народ приобщиться во имя Христа.
Вдруг с громом расселись наружные двери,
Слетели запоры, и турки толпой
Во храм ворвалися, как дикие звери,
И кровь полилася в Софии святой.
И храм обратился в вертеп преисподней,
Но, в ужасе общем и жен и детей,
Как будто на страже святыни Господней
Один не смутился седой иерей.
И Чашу святую и взор умиленный
Всей силою веры он к Небу вознес,
Взор этот был воплем души сокрушенной
Глубоким, сердечным: «Владыко Христос! —
Молил он.— Не дай твоему иерею
Узнать оскверненье святыни своей,
Не дай надругаться, о Боже, злодею,
Над Телом пречистым и Кровью Твоей!»
И вопль был услышан. Свершилося чудо:
Раздался вдруг помост, глухая стена
Воочию всем поднялася оттуда,
И скрыла алтарь с иереем она.
...Пал град Константина — и дети ислама
В нем властвуют гордо на стыд христиан.
Давно уж святыня Софийского храма
Мечетию стала в руках мусульман.
Но в тяжкой неволе народная вера
Хранит упованье из века и в век,
Что гнева Господня исполнится мера —
То знают и верят и турок, и грек,
Что там, за чудесной стеною, хранимый
Чудесною силой, живет иерей,
И молит он Бога, для мира незримый,
И чает спасенья великого дней.
И дни те наступят: из стран полунощи
Господь избавленья пошлет благодать,
Под знаменем веры, исполнена мощи,
К Стамбулу придет православная рать.
Падет перед нею неверных ограда,
Их силы навеки она сокрушит
И снова прибьет ко вратам Цареграда,
Как древле когда-то, победный свой щит.
От края Босфора до края Эвксина
Раздастся свободы призыв громовой,
И вступит рать Божия в град Константина
И кончится плена позор вековой.
И в миг, как с вершины святыя Софии
Она полумесяц низвергнет во прах,
В тот миг, как сыны православной России
Воздвигнут над ней искупления стяг,
С молитвою вступят во храм тот, смиренно
Склоняя честные свои знамена,
В нем новое чудо свершится мгновенно:
Исчезнет внезапно глухая стена,
Открытый алтарь вдруг заблещет огнями

И, выступив снова из царских дверей,
Навстречу им выйдет с Святыми Дарами
Сокрытый веками седой иерей.

Вдогон рифмам Бенескриптов дополнил: подобное сказание столь прочно вросло в души, что хронисты противного стана принуждены были почти сразу сочинить расхожее объяснение — чем, однако, только прибавили вероятия исходному смыслу. Они занесли в свои свитки, что после взятия Константинополя и продолжавшегося весь день разграбления султан Магомет вступил в него только под вечер, прямиком направившись к Софийскому собору. Перед входом он спешился и, преклонив колени, посыпал свой тюрбан горстью земли в знак покорности перед Аллахом. Затем вошел внутрь и в молчании приблизился к алтарю. Вот тут-то, сообщают они, из потайных ходов за южной стеною и появилось несколько укрывшихся там священников, пало перед ним, моля о пощаде,— а он, сжалившись, отпустил их с миром.

Здесь, сами того не желая, стремившиеся уничтожить веру в воскресение Софии почти дословно повторили историю о том, как пришедшие с вестью об исчезновении тела Христа солдаты, которые сторожили его заваленную камнем пещеру-могилу, были снабжены законниками деньгами и приказом: дабы последователи Иисуса не сочли сбывшимися его предсказания о восстании из мертвых, заявить, что его попросту выкрали. «Они, взяв деньги, поступили, как научены были,— говорит евангелист Матфей.— И пронеслось слово сие между Иудеями до сего дня».

Возможность земного толкования чуда,— указал Платон,— есть его непременнейшее условие и лучшее доказательство, ибо что за цена вере в очевидное для всех; да и можно ли ее тогда даже называть верою? Потом он распространился о том, что поверье про скрытого за алтарною преградой священника оказалось куда мудрей своей внешней неимоверности. Столетиями подбиравшаяся ко вратам Царя-града Россия в начале первой мировой войны, казалось, уже почти что совершенно достигла исполнения заветного упования — но в итоге лишь потерпевшие поражение белые добровольцы попали к стенам Софии, которую турецкий революционист Ататюрк как раз превращал тогда в музей. А ведь, доберись туда русская рука не в немощи, а при силе где-то году в шестнадцатом — и на ту шею, как ее кременецкой тезке, нацепили бы заместо креста какой-нибудь научный маятник Фуко! Так что и некоторым историческим неудачам надо кланяться в ноги и благодарить — за смирение заносчивой человеческой гордости.

Лист с не очень умелыми, но несомненно исполненными живым исповеданием воскресения строками он оставил Сельнокринову для списания. А удаляясь, еще добавил, что именно судьба Византии, всегда привлекающая нас как ее часто беспутных, но уже по рождению неотменно исконных наследников, и есть настоящий ключ к разгадке, третья ступень и даже преддверие откровения. Поскольку же прочие русские ошибочные перепутья приходится за недосугом миновать стороною, он признался, что по длительному изучению все они оказались не причиной, вызвавшей душебродное заблуждение, а необходимым рядом следствий. И потому именно на краеугольных точках византийских нужно, начиная с сегодняшней беседы, трижды сосредоточить свой взор.

35. О БОДРСТВУЮЩИХ СЛУГАХ. — А ты не примечал,— спросил Разумника, заговорщицки склонясь лицом к лицу, съемщик помещения Сережа или, в просторечии, Серый,— как ночью у нас часто откуда-то как будто из трубы эдак... дует?

— Ну, бывает задувает,— легко согласился Сельнокринов, ничего особливо чудного в том не разглядевший.— Стены-то вековые, как в крепости толстые, а перегородки худы, да еще сверху все эти склады, кон-

торы, крысой-мышью насквозь обихоженные и тараканом обсиженные: как же тут-то не дуть? Здесь, брат, и сам засквозишь — чтоб хоть проветривалось...

— Так я и думал! Ну, погоди, скоро ты еще не то запоешь, только помяни тогда мое слово! — пребольно хлопнул его по коленной чашечке сосед.— А пока слушай внимательно.

...Оно и у меня сперва только чуток дутье завелось, почти что и незаметно; но день ото дня — вернее, конечно, ночами — стало наяривать, сильней и сильней. Студило сначала на ногах пальцы да пятки, потом через ступни подобралось и ко щиколоткам, покуда к утру все до колен не принялось делаться синим-сине и твердо, словно у твоего мертвяка, так что можно стучать (тут он для верности треснул костяшками десницы о стол). А там уже до рук стало дотягиваться, и через левую — прямо к сердцу: жуткое дело!

Ну, отставил я кровать от стены, думал — это она выхолаживает; да только еще пуще завертело. Принялся конопатить стенные дыры — опять ни в какую, и так в бессоннице все сидел — новые способы защиты выдумывал, а вместо ночного отдыха завелась сущая пытка. Вон гляди, чего намалевано, еще от старых попов осталось — и я точно как этот вот был, про которого тута писано:

«Да будут чресла ваши препоясана и светильницы горящии. И вы подобни человеком, чающим господина своего, когда возвратится от брака — да, пришедшу и толкнувшу, абие отверзут ему. Блажени раби тии, их же, пришед, господин обрящет бдящих. Аминь глаголю вам, яко препояшется и посадит их и, приступив, послужит им. И аще приидет во вторую стражу, и в третию стражу приидет и обрящет их тако, блажени суть раби тии».

Только у меня все то получилось наизворот, вместо блаженства адова мука: зажжешь свет — тихо и тепло, ан при лампочке-то не больно соспишь. Стоит же лишь потушить — опять колотун, и наконец это полуночное бдение заневоле мне вон уже куда подперло! — Он дернул ладонным ребром по горлу над кадыком.— Хоть ложись помирай, но вон ведь беда — как раз лежать-то и не получается! Дохни стоя, как слон...

Дует, лихо его раздери; дует, стервó, как от дымохода зимой или у чорта из задницы!

Я уж к себе каждый день шагал как на допрос в чеку или гестапо... Жена убралась к матери, сказала — спятил; но ведь у меня руки-ноги взаправду были ледышками поутру, не в мечте. А у нее — нет, что правда, то верно. Я и к врачу наведался, дал он мне направление к психоведу — нет, все путем, говорит, никакого такого расстройства; таблетки только прописали упокоительные, от которых слюна течет незаметно и дурной становишься, будто ватный, а ноги как есть остаются холодными. Я испугался, что от них еще в постель начнешь делать, и все Циклодольщику на портвейн сменял. Он вот согревает, конечно, но ненадолго, а там все по новой опять.

Напоследок поехал на ту сторону реки в лес, в селение, к отцовой тетке — она там в деревушке почитай что одна сохранилась: хотел взять домой коврик родительский из красного угла да на стенку навесить — пусть не тепло, так материна память и молитва помогут. А то, понимаешь, если, случаем, тронешь ночью кирпич — бьет морозом как ток, обжигает огнем прямо, красные пятна на коже остаются, и опрометью просыпаешься, если даже успеешь ненадолго под утро вздремнуть.

Тетка, как услыхала про напасти-то,— сразу в голос:

— Дак ведь это же о н!

— Кто таков?

— Не смей даже имени вслух говорить! А... который д у е т!

Собралась со мной в одночасье, подняла образа и приехала прямо на ночь. Сидит, бубнит в темноте свои заговоры раз, другой, еще третий... Ме-

ня и сморило, правда, сидя — да и не шутка: сколько дней толком не сыпа́л, все кое-как кемарил.

А за полночь вдруг крик, шум, гомозня! Она чтой-то такое цап под кроватью, хряснула башкою об пол — и, раскрутя за ноги, шмяк вниз по лестнице из дому.

Так вот с той-то поры как отрезало: снова тепло.

— Ну, а что она потом рассказала? Кого выкинула-то?

— Говорила — кого надобно. И наотрез обсуждать отреклась — утром же съехала в свою пустынь.

— И ты тоже ничего не заметил?

— Ну, вишь, сидели-то в темноте. Но в последний миг как будто вспышка была — кой-чего разглядел, только очень начерно, быстро. Такой маленький, дитячьего росту, но по статям взрослый и как есть мужской человечишко, будто деревянный или литой, ручки разлапые, ротище — дыра бездонная, уши навроде рог торчком, носяра крючком, усы золотистые, бороденка серебряна, а на лбине прописано что-то ... какая-то чушь несусветная... наподобие как ТЕМОФАБ.

36. ИОСАФАТ — БОГ СУДЬЯ. В иезуитской коллегии, которую сперва возглавил проповедник Петр Скарга, поначалу было лишь пятеро учеников — народ не благоволил перемене веры; но постепенно она все-таки увеличилась до полных трех классов. Помимо «ордена Иисуса», в городе явились также последователи кармелитов, мариавитов, доминиканцев, бернардинов, францисканцев, пиаров и других.

В отличие от католиков православие не знало орденского движения; однако именно — и лишь — в западных землях, столкнувшись с ними, оно принуждено было искать какой-то ответ. И тогда в середине шестнадцатого столетия были созданы братства — сперва как цеховые объединения. Во главе их стоял староста, за ним следовали братья или министры, старшины и младшины, подмастерья — «товарышы», полуподмастерья-пахолки и хлопцы-учни. Пока храм за храмом в городе отходили католикам и униатам, в 1601-м образовалось два цеха и первая братчина для борьбы с униею; единственный никогда не склонившийся в раскол монастырь во имя Богоявления впервые упоминается в 1633 году, а доныне дошедший его собор был выстроен между 1761-м и 1777-м.

Словно живое воплощение этой жестокой распри между христианами в 1607-м сгорело сердце города — Святая София. После длительной починки она была отдана под архив, а служба возобновилась лишь около 1618 года. Сперва даже думали вовсе упразднить ее и разобрать стены на кирпич, но сейм Посполитой Речи уважил просьбу воеводских послов, разрешив выстроить и поправить руины собора. Тогда-то София была окончательно обращена в крепость, пятерка куполов исчезла и уступила место единственному серединному, который вместо шлемовидного сделался шатровым.

Перестройку эту завершил один из самых известных деятелей края архиепископ Иосафат Кунцевич, чье имя переводится на наш язык как «Бог судья».

В миру он звался просто Иваном, родился в семье сапожника и лишь позже переделал фамилию на шляхетский лад. Вышедши из православной белорусской семьи, попал сперва во Владимире-Волынском, а позже в Вильне, где служил у богатого купца, — в обучение к иезуитам, которые довольно ловко переправили Ивана в свой толк. После окончания иезуитской академии он вступил в орден базилиан — так во имя православного святого Василия Великого назвали созданное униатами общество; был пострижен самим основателем унии первоотступником митрополитом Ипатием

Поцеем в 1604 году и ревностнейшим образом взялся за совращение единоверцев в чужое согласие — его за это прозвали «душехватом», ибо Иосафат не терял времени для уловления даже на улице.

В 1617 году он был назначен в наш город епископом-коадъютором — то есть как бы заместителем главного. При торжественном вступлении на новый престол его встретили городские власти и старец-архиепископ, который вскоре скончался. В приветственной речи прозвучали предостережением слова: «Если ты к нам не с униею, то мы принимаем тебя, яко Ангела Господня; если же с униею — то чураемся, как выходца из преисподней...»

Однако он был именно из последнего числа и скоро вполне явственно сие доказал. Говоря, что имеет высшим наставником «патриарха», он осуществлял известную «умственную оговорку» иезуитов — ибо они тоже лицемерно почитали римского папу, среди прочих его имен, патриархом Первого Рима. Иосафат немедленно отправился по городам, где неопустительно служил в храмах униатскую обедню, а потом, на основании того, что она там произошла, требовал передачи их в унию. Сопротивляющихся же продаже отцовских заветов он ковал в железо, а церкви запирал или отдавал прямым католикам.

Притеснения со стороны нового владыки достигли того накала, что население края обратилось к польскому сейму с прошением: «Отступник владыка, чтобы досадить мещанам, приказал вырыть недавно похороненные подле церкви тела умерших и бросить на съедение собакам, как некую падаль. О, нечестие! О, невыносимая неволя! И подобные беззакония, подобную неволю хуже турецкой терпим по всем воеводствам и поветам мы, народ русский». Прошение не получило ответа.

Не было его и у открытого послания к Иосафату литовского великого канцлера — католика Льва Сапеги, который упрекал в насильственном проведении унии, именуя ее «сварливой и беспокойной подругою» римской церкви.

Иосафат отнял у православных в Витебске все до одного храмы; они построили за Двиною шалаш, где и продолжали править свою службу. Когда посланный им архидиакон схватил священника и повлек его за собою на суд, братчики сбросили шапки — знак согласия к делу защиты — и ударили в ратушный колокол. Отступник Иосафат был пойман народом, его рассекли бердышом и бросили на тело в оказание позора дохлую собаку. Это произошло 12 ноября 1623 года; после всеприлюдного позорища труп швырнули в реку.

Папа чрезвычайно озаботился наказанием за Иосафата, написав королю: «Проклят человек, который удерживает меч свой от крови!.. При таких отвратительных преступлениях милосердие есть жестокость». Два бурмистра и восемнадцать горожан погибли на плахе, сотня других, приговоренных к казни, бежала к казакам. Две православных церкви были разрушены до основания, со всех колоколен сбросили звон. Витебск был лишен магдебургского права, жители обязаны на свой счет отстроить великолепный собор на месте казни Иосафата. Тело по Славе доставили в наш город и погребли в Софии. Через год его достали из земли, торжественно отпели вновь и положили в серебряную раку.

В 1643 году папа Урбан VIII признал Иосафата блаженным. В 1654 при приближении русских войск боярина Шереметева останки увезли — сам же боярин забрал гробницу, которую впоследствии вернули. Пий IX в 1867 лето причислил Иосафата к лику святых, провозгласивши его покровителем Руси и Польши.

В 1655-м прах перенесли в белорусское местечко Жировичи, а затем и далее — в польское Замостье. Он ненадолго возвращался в Кременец, но потом, после знаменитого случая с Петром Великим,— о котором речь еще будет впереди,— кости перенесли в город Бела, где они были открыто

поставлены с 1769 года для поклонения. Состояние останков постепенно ухудшалось, и в 1874-м в том же польском городке их замуровали в склеп.

А Софийский храм отдали в руки ордена базилиан.

37. О БЛАГОРАЗУМНОМ ДОМОУПРАВИТЕЛЕ. Чередным исповедником Сельнокринова был бойкий кооператор с отзванивавшей вечным противоречием фамилией Антипенко. Показателем его проворства служило уже то, что он встретил Разумника Васильевича с услужно занесенным на отдельную бумаженцию стихами евангелиста Луки из настенной истории, каковые он ради вящей вразумительности переписал по-русски и подготовил к приходу векописателя:

«Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, пришед, найдет поступающим так: истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут».

Затем он, как будто для показательства одного из неисчетных воплощений этой мудрости в обыденной суете, стал сетовать на то, что с прошлых времен нравы пали даже у самых предприимчивых человеков. Первым делом припомнил, как впервые еще в середине минувшего столетия завелся первый пароход на реке Славе. Он был государственный и звался «казенкою», но оказался неудобен и приносил одни убытки. Вслед за тем расторопный купец Ненюков запустил два собственных парохода «Павел» и «Антреприз» — который в народе легко переиначили в «Антихриста». Он выжил «казенки», а поскольку пропал соперник, то поднялась с полтины до полутора рублей и плата за проезд до Витебска. В конце шестидесятых годов появились новые пароходы Российской компании «Красотка» и «Кокетка». Спервоначала по зазорности имен ими старались не пользоваться, но компания сбила цену вновь до полтины, и дело пошло. Ненюков установил тридцать копеек, компанейщики двадцать, ненюковцы десять. Наконец на казенных стали возить бесплатно; и тогда купеческие спустились до того же, но еще давали в придачу даровую булку.

В итоге поладили на том, что казенка стала ходить по четным, а купец — по нечетным дням. Теперь же соревнование, если и идет, то в сторону обратную, к увеличению.

Кооператор рассказал еще совсем свежий анекдот. Приходит домой муж, а супруга ему вместо ужина: «У нас теперь хозрасчет и самоокупаемость».— «И какие расценки?» — «А вот: обед пятерка, завтрак два рубля, ужин три». Муж платит, а про себя думает: «Ну, погоди!..» Ложатся спать. Жена: «Будем, что ли?» Он в ответ: «Не-ет, у нас теперь тут тоже потребсоюз».— «А какие у вас цены?» — «Так вот: в кровати червонец, на полу пятерка, в ванной рупь». Жена спокойно достает красненькую и заказывает: «Изволь девять раз в ванной и целковик сдачи!»

Разумник усмехнулся — и все продолжал ухмыляться, даже когда уже дошел до собственной кельицы. Дело в том, что и сам хозяин был не глупее той бабенки: он открыл кооператив «Книгочей». Там можно было брать за деньги почитать самые редкие, только что вышедшие книги. Он бы их и перепродавал, но для этого нужно было по закону ждать три года со дня вы-

пуска. Вот Антипенко и исхитрился: давал как бы читать, взимая залог ровно в рыночную их стоимость, а засим не очень огорчался, если обратно не возвращали.

38. АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Русский царь вновь занял город во время польской войны в 1654 году, и почти тотчас, 13 июля, София была переосвящена от униатов.

А в первый день августа Иван Тимофеев сын Веризин произвел ее имуществу подробную опись:

«Соборная церковь Софеи Премудрости Божии, строение прежних государей царей и великих князей Московских, каменная, а в ней местные образы Деисусы и царские двери Греческого письма на золоте. На престоле два Евангелия с Евангелисты серебряными, одно с басмяными, а другое с резными. Крест благословенной, обложен резным серебром. Образ Пресвятые Богородицы Одигитрие Владимирские в чюдесех, Московского писма, обложен басменым серебром, а венца и цаты нет, в киоте, и тот образ стоял за правым крылосом у столпа, где была Римская служба. В тое ж соборную церковь снесено из иных унейских церквей Деисус и образы местные и пророки и меньшие Пядницы святых, Московского письма. Печатных писмяных 4 книги церковных ветхих, Треодь постная да цветная, Апостол печатной ветхой, Минея печатная общая, в полдесть, Потребник печатной, две Минеи печатных Сентябрь да Октябрь, Псалтирь печатная, синаник Русских родителей, пять книг харатейных старых, два Ермолоя, ризы комчатыя белы, оплечье бархат червчат, ризы рудожелты отласные ветчаные, ризы Индейской камки рудожелты, оплечье зеленое полосатое, да ризы ветхи белые камки, оплечье бархат червчат с плащаницами, шито золотом и серебром, да полица ветчатая отлас лазоревой, патрахель ветхая отлас лимонной, четыре пелены ветхи старинные, уларь камчатой, семеры поручи ветхи, хоругвь ветхая, написана Троица, два кадила медные ветхие, чаша медная болшая, в чом воск топят, два ковришка да подножие властелинское, четыре подсвечника медных болших пред местными образы, четыре шандельца медных маленьких, что ставят под свечами, как воду святят, два паникадила да четыре шандала медных, гривенок по десяти шандал, принесены из костела с Язовитцкаго двора.

В той же церкви пять сундуков с книгами печатными и с писмеными и со всякими Литовскими писмами, да на колоколнице два колокола болших, один в 100 пуд, а другой в 50 пуд, три колокола в 30 пуд. У церкви и у паперти трои двери железные. Да из-за реки привезены от церквей пять колоколов середних и малых, да от костела, что был в городе, взят колокольчик...»

Через тринадцать лет, по Андрусовскому договору город и София его вновь отошли к Польше. Тогда же стараниями иезуитов была окончательно закрыта школа при православном Богоявленском братстве. Но один из ее преподавателей по имени Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович ушел с царем Алексеем и при его дворе стал знаменитым писателем Симеоном Полоцким, взяв новую фамилию от родного места.

39. О БЕСПОЛЕЗНОЙ СМОКОВНИЦЕ. Обитателем двадцатого и последнего на левой стороне собора нумера был известный бедолага Пуцинко по прозванию «Мокрый — ». Вторая часть титула являлась, что называется, неподцензурной, но совершенно совпадала со знаменитым мужицким определением, приложенным к гоголевскому Плюшкину — «заплатанной...». Там же прямо рядышком особо отмечена выразительность нашего родного срамословия: «Выражается сильно Российский народ! И, если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света...»

Как будто для того лишь, чтобы в очередной раз доказать нетленность провидений создателя «Мертвых душ», Пуцинко еще на заре своего существования увлекся суетным чтением в повременных изданиях всех подряд иностранных новостей, а потом сам не заметил, как заразился страстью проникнуть в Москву, в таинственный Институт международных отношений, о котором даже в справочнике высших учебных заведений дипломатически умалчивается.

Подвигнувшись на общественное поприще, он со временем сделался столь беспокойным молодежным заводилою, что от него решено было избавиться единственно приемлемым способом: посредством дачи положительного отзыва в столицу, что Пуцинке и было единопотребно.

Правда, на предэкзаменационном собеседовании он чуть было не срезался напрочь, оплошкою в ответе об империалистической «политике проволочек» сделав ударение во втором слове на первый слог; а затем вместо того, чтобы исправиться, предположил, что сие означает дергание гнусных наймитов из-за кулис наподобие ярморочного Петрушки. Проводивший беседу выпускник-пятикурсник долго про себя хихикал, но, сообразивши, что бедному выходцу из необеспеченных слоев населения (ближайшие родственники, как говорится, медведи) и растолковать-то сию газетную штуку не было кому в его кременецкой глуши, устыдился, быть может, впервые в жизни и выставил в табеле положительный крестик.

Экзамены Пуцинко сдал для «выдвиженца с мест» не так уж и хило, но зачислить его решились лишь на подготовительный курс — откуда, впрочем, по успешном окончании путь в заветные пределы между народов был почти что совсем обеспечен.

За треклятые «проволочки» счастливый новопринятый, однако, жесточайшим образом оскорбился и затаил в недрах сознания крепкое желание отомстить московским хлыщам; возможность воплощения в жизнь этого не весьма похвального, но вполне объяснимого намерения он сыскал год спустя.

Летом в поощрение за примерную услужливость его назначили политруком принудительно-добровольного отряда строителей, участие в котором, помимо галочки в графе общественных работ, позволяло всякому студиозусу посредством вкалывания от зари до заката в течение лета приработать на Курилах или Камчатке тысячу-другую рубликов, да еще, если подвезет, и с гаком.

И вот, когда уже приблизилось впритык время расчета, Пуцинко, не спрашивая никого, взял и перевел все благоприобретенные средства в фонд помощи очередного свободолюбивого движения — ведь, как зло шутят хитроязычные зубоскалы, отечественный карлик на голову выше чужих, а наш паралич — самый прогрессивный...

Удар был нанесен безошибочно, но слишком открыто. В ту пору всеобщего согласия ни один будущий международник, конечно, и пикнуть не посмел вслух против столь похвального начинания; зато и месть — тихая столь же, сколь неотвратимая — ждать себя не заставила.

По всем стенам четырех зданий института — начиная со старого Катковского лицея и оканчивая школьною типовухой в Калошином переулке, где вскоре обвалился в нужнике потолок и пришлось спешно передавать дом под милицейский участок — тотчас поползло по стенам единообразнохульное надписание, в коем неопустительно сразу вслед за фамилией Пуцинко шло то самое краткое русское речение о трех буквах с обязательной точкою над последним «и». Мало того, разъехавшиеся вскоре на практику или по местам родительской службы жлобы с самым кастовым удовольствием ославили бедного чужака по посольствам и представительствам от Австралии до Лондона, обративши отличное внимание на святилище Организации Объединенных Наций, где непонятливым иноземцам в ходе частных бесед был весьма подробно разъяснен смысл всемирного наказания.

Дело докатилось наконец до того, что в мгимовской многотиражке пришлось поместить особ-статью, где резко осуждалось пакостное поветрие пачкать святые стены альма-матери лозунгом «Мартынов — хам». Сие, к сожалению, только подлило керосину в огонь, вследствие чего даже на доске отличников после фотографии усердного просиживателя порток Пуцинки уже загодя, чтобы не трудиться черкать соседние имена, оставлено было достаточное пространство для почетного звания.

Буря несколько поутихла, казалось, в год окончания страдальцем учебы. Его направили как не имеющего не только за границей, но и дома никаких близких, на работу в одну из непьющих мусульманских стран. Зато легко вообразить себе новую радость бывших однокашников, когда Пуцинко угораздило там втюриться в местную уроженку, что вообще-то было неудивительно для человека, после пяти мучительных курсов тугой премудрости посаженного еще на три года на великий пост в горячем климате.

По неписаному закону родной дипломатической службы, как скоро связь эта сделалась известною, пришлось прохудившемуся влюбленному самому собирать жалкий чемоданчик с только начавшим копиться скарбом да понуро брести сдаваться в собственное свое посольство, покуда им не догадалась призаняться вплотную бдительная враждебная разведка.

На сем международное поприще Пуцинкино и было вытоптано. Не обладая гражданством Третьего Рима, или, проще, московской пропискою, он принужден был проследовать в исходную точку. А поскольку единственным навыком, каковой ему привили и письменно подтвердили в дипломе для споспешествования межгосударственным сношениям, оказалось умение преподавать науку о построении будущего счастливого общества,— даже и в родном Кременце найти занятие Пуцинке так и не удалось: слишком множествен был наличный полк преуспевших в том же призвании. Хорошо, что еще выдали клетушку в коммунальной Софии, а не то пришлось бы катиться дальше в полное безлюдье Полесья.

Никакой росписи, надписи или хотя бы намека на их останки Разумник Васильевич у него отыскать не сумел. А когда шествовал уже прочь в свои пределы, выразив сколько умел приличное сочувствие, то на пороге повстречал нетерпеливо ожидающего Бенескриптова с новою пищей для исторической трапезы. Первым же делом тот ткнул молча перстом в незнакомую прежде рукопись, где под буквицей-цифрой К находились церковно-славянские строки:

«Смоковницу имяше некий, в винограде своем всаждену. И, прииде, ища плода на ней, не обрете. Рече же к виноградарю: се третие лето, отнелиже прихожду, ища плода на смоковнице сей, и не обретаю: посецы ю убо, вскую и землю упражняет! Он же, отвещав, рече ему: господине, остави ю и на се летр, дондеже окопаю окрест ея и осыплю гноем — аще убо сотворит плод? Аще ли же ни, во грядущее посечеши ю».

40. УБОГИЕ И КРЕТИНЫ. Затем Платон Любимович торжественно пояснил утроившему внимание содеятелю, что поскольку на противоположной галерейке почти что все росписи либо накрепко повалены — то есть забелены,— либо вообще сбиты, то в награду за усердие и догадливость Сельнокринову предоставляется свиток начала века, в котором изложен весь замысел фресковой живописи Софии. В основе своей он происходит еще от первоисточника тысячелетней давности, когда и зародилась впервые до крайности смелая идея воплотить здесь живой лик Премудрости.

В средние века на Западе сложилось целое учение о подражании Христу,— наставлял напарника Бенескриптов. Чистый порыв его, быть может, и нес здравое начало; но, окостеневая в людских поступках, легко извращался в очередную попытку товарищества, то есть заместительства (помнишь, что антихрист, по сути, значит вместо — Христос).

Здесь же, в храме домонгольских времен, среди прочего наглядного богословия — Вседержителя в главном куполе, который впоследствии разобрали униаты, Богоматери «Нерушимая Стена», как в Софии Киевской, над алтарем, тоже утраченной в веках,— по сторонам второго яруса протянулась цепь из сорока назидательных изображений рассказанных Христом притч. Постигая их при стоянии за службой, человек на деле пытался вникнуть в мудрость Спасителя и, заодно, воочию убеждался в небеспредельности собственного разума, чем на корню уничтожалась возможная в подражании высочайшему образцу гордыня. А потому натужное внешнее следование не грозило уже увлечь на приманке превозношения в самое преисподнюю, которая ведь тоже есть своего рода обезьянское зеркало, застящее облик сущей истины.

Но Сельнокринову сие признание показалось далеко не достаточным, и он принялся пытать собеседника о смысле и порядке расположения назидательных стенных сказаний, чем постепенно привел Платона в изрядную оторопь. Тот смог лишь открыть, что во всех четырех Евангелиях обнаружено на деле ровно сорок притч — или, греческим наречием, парабол, то есть в исконном смысле не примеров, а прикидываний, сравнений, уподоблений. Никакого основания, кроме пристрастия Тво́рца ко красоте круглых чисел, для подобного счета и он не ведал. Мало того, у последнего евангелиста, Иоанна, притчи как будто бы вовсе отсутствовали — они содержались у излагавших одни и те же события с разных граней первых трех, зо́вомых еще «синоптиками». Последование же изображений в соборе было вполне простым: сперва согласно Новому Завету шли притчи Матфея, Марка, Луки; затем те, которые находились в незначительных разночтениях у Матфея или Луки с Марком разом и, наконец завершали ряд совместные притчи всех троих.

Засим Разумник перекинулся к современным живым примерам и еще более затруднил своего путеводителя: он недоумевал об определенной «сделанности» непосредственно собственных соседей. То есть они, как и все окружение Ащеулова переулка, представлялись ему какими-то нарочито чудны́ми: слишком уж большое число экранирующихся, что-то воплощающих и неухоженных чувствительно бередило его совесть векописца.

— Ну, на чудозвонов и план не писан,— отбрехивался Любимович; а потом еще привел поговорку прошлых веков про то, что-де «каких только людей у нашего царя нет!».

Сельнокринова успокоить подобным лукавством было трудно; он продолжал загадывать еще труднейшие задачи — скажем, отчего это большинство населения мужики, да еще все несуразные с виду и чересчур красноречивые изнутри. Тут уж Платон не на шутку возмутился и заявил, что готов чрезвычайно точно ответить на три самых последних краеугольных вопроса, так что пусть Разумник Васильевич их внутри головы приведет в Божеский вид и тотчас задаст, вслед за чем вновь приступает к своей прямой работе, не мутя больше попусту воды.

Сельнокринов согласился и во-первых спросил:

— Почему соседи такие необычные и несчастные?

Ответ гласил: сам Христос говорил, что пришел спасать скорее мытарей и блудниц, чем тех, кто живет праведно и не слишком нуждается в помощи свыше.

— Нет ли впечатления, будто здесь с намерением собрались люди не только природные кременцы, но и со всех прочих русских городов, дабы воочию представить «бродячее Христа ради отечество»?

— Такое впечатление есть.

И конечное: являются ли заселяющие собор-коммуну человеки воистину реальными?

— В смысле средневековом, а ежели глядеть в корень — платоновс-

ком, когда «реалистами» почитали тех, кто признает независимое существование идей и душ в надмирном пространстве — да.

В заключение Бенескриптов, как бы благодаря за прекращение допроса, высказал еще то соображение, что чудак — он ведь является ближайшим родичем чуда. Как и убогий — только с виду дурак, снутри же греется на самом лоне «у Бога». Кстати, заключил он, и франкское «кретин» есть лишь заболтанное латинское «христианин», а наше родное «крестьянин», как не раз уже было примечено, есть законный союз Христа и Креста.

43. О БАШНЕ И ЦАРЕ, ИДУЩЕМ НА ВОЙНУ. Зело рано вышел Разумник со своей западной половины на перекресток внутри соборной улочки, где рабочие под чудом сохранившимся островком голубого неба и Новозаветною Троицей в нервах свода уже начинали долбить отбойными молотками асфальт и подложенную под ним брусчатку. Проходя мимо, он вяло покосился на перегороженную и оголенную до основания нишу северной стены, состоявшую из перемежающихся рядов плинфы и булыжника,— именно она служила полуверным униатам за алтарь,— и впервые вскарабкался на восток.

Но первая же дверь справа была наглухо затворена, а посему Сельнокринов, руководствуясь намерением писать только про то, что видел собственными очами, отложил посещение ее внутренности на пото́м и стукнулся в следующую.

За нею обитал человек, представлявший собою образец почти что утраченного теперь в обиходе русского правдоискателя, который еще в школе принялся обвинять Пушкина в разных несообразностях, следуя тайком поглоченным статьям Писарева, а позже из-за возрастающего сопротивления все ширящемуся кругу насильников над личностью самым естественным образом вырос в одинокого бойца за попранную где бы то ни было справедливость.

Уже после успешного проникновения в высшее учебное заведение он прилюдно плюнул, отказавшись сдавать зачет по принудительному безбожию, тотчас же вышел вон и направился в храм. Но и тут неизжитая протестантская закваска не дала примириться с большинством стоявших вокруг косных непросвещенных бабулек, да и учение о «страхе Божием» было воспринято в штыки как неприкрытое вмешательство в человеческую самость. После того он напитался содержанием малоизвестных, а потому втройне сладких религиозных томов полного собрания сочинений Льва Толстого и за наличным отсутствием прямых толстовцев направил свои стопы к «чистым христианам» — баптистам.

Они сумели довольно скоро оценить молодую настырность и рвение старателя за правду и устроили ему изрядно польстившую самолюбие почти что подпольную безалкогольную свадьбу, дав в подруги оборотистую жену-хохлушку. Та вскоре же одарила мужа чуть не полной дюжиною потомства, каковое выскакивало из нее через раз целыми двойнями, будто галушки из казана у Пацюка в приснопамятной Диканьке.

Быстро, как сказывается сказка, покинул он и это пристанище, сочтя его не в достаточной степени вольным, и свел знакомство с как будто ушедшими в прошлую даль сообществами хлыстов, которые все-таки таились где-то на Тамбовщине и обещали умную радость уже совершенно очищенного свойства заодно с достижением способности воспарять духом, делаясь как живые боги.

А потом, рано ли, поздно, в совсем среднерусской глуши прибило его и к сокрытому ордену, составляющему ядро хлыстовства — попал наш искатель истины новопринимаемым во скопцы.

Поскольку же сие дело не чисто мысленное, но сопряжено и с некоторыми хирургическими действиями, в намеченный для вступления день был он в одной полотняной рубахе посажен посередь избы; за спиною у

него довольно ловко укрепили выделанные из проволоки и материи крылья,— а прочие, уже посвященные и тоже обряженные в белые балахоны, стали радеть, бегая около кругами под обрядные песнопения. Новичку же было указано покуда в видах самосовершенствования накануне «принятия малой печати» вникнуть в свой внутренний мир и подумать над ним с полчаса.

Ну, а поелику был он существом до беспредельности совестливым, то принял таковое наставление дословно и действительно пустился размышлять. Для начала взглянул на все зрелище как бы сверху: что вот, дескать, сидит здоровенный тридцатилетний дядька без трусов в чужой хате середи заснеженного сельского края и готовится по собственному почину сделать кое-чему чик-чик, а затем еще придется объяснять как-то про это жене и родным деткам.

Загнало же его в этот угол желание непременно доискаться окончательной правды; и вот какой, выходит, у нее вблизи своеобразный облик...

Между тем крики вокруг стали усиливаться, из общего гама на октаву вверх выплеснулись взвизги дебелых скопчих, и он сообразил, что тут вскоре грядет окончательное «освобождение» — да ка-ак бабахнет башкою прямо в избяное окно и давай наяривать босиком по ледяной колее вперед к большаку.

Корабль кастратиков бросился вдогон — ясно как день, что коли перебежчик сумеет утечь, потом неминуемо всех заложит аки изуверов. Здесь у него — кстати или некстати, сразу трудно судить — вдруг из прорвы воспоминаний вынырнула еще прочитанная у философа Сковороды аллегория про бобра. Охотники убивали их как раз из-за высоко ценимых для изготовления духо́в «ятр»,— и вот на гравированной заставке изображался животный бедняга, сам себе отгрызающий детородные части, помещенная поверх чего надпись гласила: «Поступаюсь малым ради великого»...

Мысль о такой самоотверженности только подхлестнула бойца за истину Боброва задать еще скорейшего стрекача. Он наконец донесся до проезжего тракта, и тут на его неверное счастье навстречу выкатился грузовик КамАЗ (имя которого замысловатые острословы производят от индийского любовного трактата «Кама сутра» — Камаз-с-утра). Беглец стал что было силы махать, и водитель согласно приостановился, но как только разглядел, что в кабину, вопия неблагим матом, прется какой-то почти голый ангел, норовя проворно упихнуть вместе с собою заспинные крылья, то здесь уже его хватил настоящий столбняк. Неудавшийся небожитель, по доброму совпадению, кое-как умел править машиною; схватил баранку в руки и дванул на газ, так что скопцы, словно стая бесов, лишь проводили его вслед диким улюлюканьем...

— Ну и какова же теперь твоя вера? — спросил в заключение Сельнокринов.

— А сижу пока перевариваю,— честно признался рассказчик.

Не доходя до дому, Разумник Васильевич вынул приточный томик и прямо на лету вычитал полагавшийся здесь наказ:

«Кто бо от вас, хотяй столп создати, не прежде ли, сед, разчтет имение, аще имать, еже есть на совершение — да не когда положит основание и не возможет совершити, и вси видящии начнут ругатися ему, глаголюще, яко сей человек начат здати и не може совершити?

Или кий царь, идый ко иному царю снитися с ним на брань, не, сед ли, прежде совещавает, аще силен есть срести с десятию тысящ грядущего со двеманадесять тысящами на нь. Аще ли же ни, еще далече ему сущу, моление послав, молится о смирении...»

42. БОГОМАТЕРЬ НА МИНАРЕТЕ. Повидавши нашествие литовцев, тевтонов, поляков, молдаван,— чей воевода Богдан приходил в 1509 году,—

Кременец в XVII столетии сподобился узреть под своими стенами также турок и их тогдашних союзников казаков.

В 1648-м и 1651-м его осаждал сам Хмельницкий, но взять все-таки не смог, а памятливая судьба взамен именно здесь развязала последний узел в умопомрачающем бытии его сына и преемника Юрия.

«Хмельниченко» был избран после смерти отца хлопцем шестнадцати лет в нарушение всех прежних казацких обычаев, не признававших наследования у владельцев верховной булавы. Вскоре он увидел свою неспособность править и отдал власть отцовскому сподвижнику Ивану Выговскому, отправившись учиться в Киевскую духовную академию. Выговский постепенно перешел к союзу не с Москвою, а с Посполитою Речью, подписав наконец даже договор о новом присоединении к ней Украины. Тогда на несогласной раде близ Белой Церкви его противники вновь посадили на гетманство сына Хмеля. В 1660-м девятнадцатилетний гетман выступил вместе с московским войском боярина Шереметева в поход против Польши. Он оказался крайне неудачен: боярские силы были разбиты татарами, Шереметев пленен, а осажденный в крепости Юрий после трехнедельного сидения сдался и присягнул королю на условиях того самого Гадяцкого договора, который заключил Выговский.

Тут уже против поляков восстало все Левобережье Днепра во главе с шурином Богдана и, следовательно, Юрьевым дедом — Якимом Сомком. Хмельниченко сперва успешно осадил его в Переяславле, но затем, за подмогою ведомых Ромодановским русских, вверх стал брать уже Сомко — покуда не был отброшен обратно татарами. Их приглашали почти все участники междоусобной руины, а они, в битвах часто переметчивые, зато неизменно подвергали край страшному опустошению.

Меж тем у Юрия развивалась от государственных неудач черная тоска — меланхолия. На раде в Корсуне в 1662 году он вновь отрекся и постригся в Корсунском монастыре под именем Гедеона.

Однако, пишет историк, и черный клобук все же освещался отблеском отцовской славы, почему новый гетман Тетеря, обвинив молодого инока в подпольных сношениях с казацкою старшиной, выхватил его из обители и заключил в 1664 году во львовскую крепость. Заключение оказалось трехлетним, в продолжение чего на Левобережье Сомка сменили трое соперников — Брюховецкий, Многогрешный и Самойлович; на правой же стороне после Тетери выбрали Дорошенка, который отдался под султанскую руку.

Это вызвало войну Турции против Польши, и вот в 1672-м казаки с турками и подступили под кременецкие кручи с трехсоттысячным войском. Возглавляли осаду сам султан Магомет Четвертый и гетман Дорошенко; она длилась изрядное время, покуда не были подведены подкопы под крайние башни предмостного крепления, затем взорван загораживавший вход бастион и город наконец взят штурмом.

Султан превратил его в столицу военного округа — пашалыка, забрал около восьмисот детей в янычары, а множество девиц раздал по гаремам. Оставив для православных, католиков и армян по одному храму, все остальные церкви, включая Софийский собор, он обратил в мечети. Во многом повторяя обряд вступления своего предшественника на троне Порты Магомета Второго в Константинополь, султан 19 сентября торжественно въехал в крепость, причем по пути к городской Софии для доказательства верховенства ислама ему кидали под копыта коня образа христианских святых. Вскоре же в знак победы с двух сторон церкви были пристроены минареты.

Затем то же воинство отправилось осаждать Львов. Ослабленная донельзя Польша короля Михаила принуждена оказалась признать всю Правобережную Украину казацкой собственностью под верховенством султана. И более чем на четверть века град и край попали под магометанскую пяту.

6*

Опасаясь турецкой мести, Юрий воспользовался военными обстоятельствами и бежал, но был пойман и приведен в Умань. Тут как раз уманские граждане отказались заплатить за себя выкуп туркам, за что их поголовно отправили в Крым, а самого Юрия султан вытребовал в Царьград: он таким образом века́ спустя повторил скорбный путь потомков Рогнеды.

На берегах Босфора против ожидания обошлись с младшим Хмелем милостиво, поместив только на несколько лет в греческий монастырь. В 1676 году Дорошенко примкнул к Москве — впоследствии он был воеводою на Вятке, а конечные восемнадцать лет до самой смерти провел в подаренном подмосковном имении Яропольце. И вот Юрию уже втретье была вручена булава вместе с небывалым званием князя — он подписывался «Гедеон-Георгий Венжик Хмельницкий, князь сарматский и гетман запорожский». Поход в 1677-м оказался неуспешен, и Юрий стал подумывать о бегстве к единоверцам, но за ним внимательнейше наблюдали. Зато на следующее лето ему удалось с турками захватить и разрушить гетманскую столицу Чигирин.

Москва вынуждена была уйти за Днепр, Юрий остался малороссийским князем-гетманом и правил при помощи бывшего киевского полковника, своего родственника и Дорошенкова тестя Павла Яненко-Хмельницкого. Они вместе сожгли на Левобережье Канев, а укрывшихся в местном монастыре жителей и иноков во главе с архимандритом Макарием Токаревским обложили дровами-соломой и спалили заживо; позднее архимандрит был причислен к лику святых мучеников.

Продолжая пустошить и зорить отечество, Юрий поселился в Немирове, где за ним опять-таки самым плотным образом следил назначенный от султана чиновник. У него стал мутиться рассудок, и постоянные жалобы жителей о черезсильных поборах и казнях в припадках исступле́ния лишили его в 1681-м вновь булавы — на его место был посажен молдавский господарь Дука. Однако два года спустя он попался в плен к полякам, и Хмельниченко уже в четвертый и последний раз сделался гетманом.

Он отчаянно пустился насильничать да косить головы. Малороссийский летописец Величко занес в начале восемнадцатого века в свое сказание сведения о том, что в 1685-м четырежды гетман Украины содрал кожу с живой жидовки, муж которой принес жалобу султанскому паше, жившему о ту пору как раз в Кременце. Тот вытребовал Хмеля к себе на суд, признал действительно виновным и по своему обычаю удавил шнурком, а тело было брошено в Славу.

В предпоследний год семнадцатого века успешные действия царя Петра под Азовом заставили турок заключить Карловацкий договор, по коему янычары навсегда покинули кременецкую землю. Возвратившиеся поляки вновь окатоличили храмы и снесли все минареты до единого — сей единый был в назидание оставлен при Софии слева, а на нем водружена статуя Девы Марии в звездном венце.

41. О ЗВАНЫХ НА ВЕЧЕРЮ. Руководимый справедливым занудством, Сельнокринов все-таки вернулся вскоре к не отворившейся с начального приступа двадцать первой двери; но, стремясь упредить новую неудачу, наперед вычитал в путеводителе притчу́, что когда-то должна была гласить именно отсюда. Рассказ вышел, в общих чертах, довольно-таки знаком по тем осколкам, что за века поминаний застряли в устном обиходе, однако многое уже в тягучей славянской вязи сделалось столь непостижно, что его пришлось перепроверять по русскому переложению — более внятному, но оттого не всегда точному, полученному от Бенескриптова в придачу:

«Один человек сделал большой ужин и звал многих; и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово.

И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу придти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин ответил: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой; ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина — много званых, но мало избранных».

...Внутри, однако, и роспись, и поучение отсутствовали; не было в живых даже хозяина — сидела лишь скукоженная от горя родительница, готовившаяся ко скорой годовщине его отхода в иной мир. Сам же Володя, носивший неприметную, хотя и пушкинского оттенка фамилию Белкин, был первым реставратором — то бишь восстановителем собора, каковое занятие и вогнало его в гроб.

Собственно, уродился он на Москве, где и вековал вдвоем с матерью близ Беговой улицы; сюда же попал почти что случайно, мимоходом завезенный на летнюю практику. Его задело за душу жуткое запустение всемирно славного храма, и при распределении он нарочно напросился в Кременец, где еще только затевалось преобразование коммуны в концертный зал. Столичный выходец в благодарность за рачение был немедленно назначен ведущим архитектором проекта; затем он же руководил пробными расчистками и обмерами.

Тут произошли начальные, но отнюдь не детские по силе стычки с полудюжиной наторевших реставрационных халтурщиков, присланных республиканским трестом и давно обвыкших получать двойные оклады за вполне заурядное тяп-да-ляпствие.

Мало того, протирая последние выходные штаны в областном архиве, как раз Белкин-то и открыл историю о приточных фресках, что принесло ему лавры из терния от своих ученых соработников, которые ценили лишь «истинное домонгольское искусство», обрывками задержавшееся в щечках нескольких заложенных проемов, снисходительно поплевывали на «провинциальное виленское барокко», а уж девятнадцатое столетие и вовсе почитали за суемудрый псевдостиль. Особенно же обидно сделалось им, когда упертый в свои изыскания Белкин сумел-таки доказать, что вереница притч в красках существовала в соборе от рождения и при всех крушениях и перестройках заботливо возобновлялась, даже передвигаясь, но все же извод оставался исконный — одежды с годами менялись, но гнездившаяся внутри суть пребывала единой.

Как скоро Володя совершил первые раскрытия, что именно и видел Сельнокринов на своей стороне, сразу же раздались заспинные, но могучие призывы прекратить эдакое самоуправство; их с радостью подхватило оплачивавшее работы ведомство культуры, которое справедливо сочло, что глазение по сторонам будет досадно отвлекать слушателей от определенной сюда на прописку органной музыки.

Беда, как водится, поодиночке не бродит и согласно военно-искусным правилам навалиивается с тройным перевесом: ко внешней брани, воздвигнутой на одинокого Белкина, прибавилась еще и внутренняя, хотя тоже вполне материального свойства. Старатель был одержим жесточайшей грудною жабой — или, по-нынешнему, астмою — вызывавшей страшные приступы удушья даже при виде комнатной собаки; что уж тут говорить о строительной грязи и пыли! Его подвижнических усилий все явственней переставало хватать, а потому, кроме заметки в московской многотиражке, приточное открытие так и осталось вне ведения печати.

Доведенные же до каления, разъевшиеся на особых хлебах холуи, от которых Володя ежеденно требовал, лазая в кашле по лесам, достойного качества раствора, кирпича, кладки, точности выполнения заданий, и зорко следил, чтобы редкие отделочные вещества не уплывали по боковым ходам на местные стройки и кладбища, устроили забастовку совершенно на западный образец, взявшись трудиться строго по правилам, отчего окончание работ в Софии отодвинулось к середине следующего тысячелетия.

Отчаявшись собачиться с ними, Белкин пошел в прямом смысле слова по улицам, выступал в кружке ревнителей старины при куцем музейчике, на разной руки собраниях и даже однажды на Пасху после обедни близ Евфросиниевской церкви. И сумел-таки набрать достаточно добровольцев, которых саморучно принялся обучать строительным навыкам. Дело понемногу вновь начало двигаться, а избалованные невольные каменщики получили по справедливости «процентовки», закрытые ровно настолько, насколько действительно выполнили работ.

Посоветовавшись о напасти, они пригласили тогда Володю к себе в «бало́к» как бы выяснить отношения и найти мировую; а он бестрепетно пошел один — впрочем, кого и брать-то с собою было? Нагулявшие за бездельем сил костоломы тогда знатоцки измордовали его, долго колотя в полном молчании через мокрую тряпку — после чего снаружи не остается царапин или явных синяков, зато внутри образуются обширные кровяные раны.

От такого угощения Белкин неделю провел в постели и, прежде чем мало-мальски оклемался, не сообразил пойти снять протокол о побоях у врача. А засим уже стало поздно — да он и вообще не был злопамятен. Злую мстительность оказала болезнь: через год в голове у него явно из-за одного наиболее точного удара образовалась и стала стремительно разрастаться опухоль, которая к задыханию прибавила почти полную слепоту. Приехавшая с Беговой мама забрала его с собою и отвезла домой, где поместила в очередь на сложную операцию с раскрытием черепа в Боткинскую больницу, находившуюся как раз неподалеку от их дома.

Ждать назначенного закланья под нож нужно было несколько месяцев. Поэтому многие, знавшие в невеликом нашем городке Володю, были до крайности удивлены, когда встретили его летом — дело было как раз за торжественной литургией в воскресный день на Троицу в Спасском монастыре. Говорить за службою вроде как не положено, а на приветствия соседей Белкин, по их памятям, улыбался, кивал, но приставлял палец к губам, стыдясь как-либо помешать празднику.

По окончании молебна он куда-то исчез; а потом уже, гораздо позже, дошла из столицы весть, что в следующий же понедельник, когда православными особо отмечается день Святого Духа, он, не дождавшись своей спасительной череды, скончался прямо в палате.

Очевидцы стали тогда сомневаться, не примерещилось ли им вообще свидание — ведь до Москвы от нас ничего не летает, а железным путем хода более суток, потому что ездит всего-то один прицепной вагон, да по четным лишь дням. И потом, на самом-то деле как же было слепому-лежачему ходить и видеть?..

Похоронивши сына, мать вернулась сюда добиваться правды — она ее и узнала вскоре, но спустя два года после драки чем же помашешь перед законом, кроме разве кукиша? Доброхоты на областном радио сделали заметку для местного вещания, однако начальство, дабы не бередить даром народ, предусмотрительно ее зарубило.

Имеющий уши, таким образом, услыхать не сумел; обладатели глаз нового открытия притч не дождались,— и все же, странным образом, покидая пораженную совершенной и необратимой безнадежностью женщину, которой он не в силах был воскресить первенца, Разумник Васильевич чувствовал в воздухе комнаты едва заметное тонкое веяние надежды.

44. ВЗРЫВ ПЕТРА. С уходом турок приступ окатоличивания в Кременце стал наиболее ярым. Конфедерация сословий Речи Посполитой вынесла постановление о запрете употреблять православным природный язык в качестве государственного и литературного. Иезуиты значительно расширили училище, открыли при нем пансион для шляхетских детей, возвели посреди города костел с двухбашенным фасадом и целый городок коллегиумных зданий с музеем, библиотекою, трапезной, жилыми и хозяйственными помещениями. При женских монастырях базилианок и мариавиток открылись училища-пансионы для девочек.

Но взор доставившего земле освобождение от мусульманства своей азовской викторией русского царя Петра уже достигал и бронзового венца на Софиевом минарете. Во время Северной войны в 1704 году, препятствуя соединению шведских войск с беглецом Мазепою, он повелел князю Репнину вступить в Литовские области с двунадесятью полками, занять среди прочих селений Кременец-на-Славе и разместить пехоту на квартирах в ближней окрестности. В феврале следующего года сюда двинулся князь Меншиков и расположился лагерем в пригороде.

Вскоре за ним прибыл лично самодержец, остановившись в кельях Спасо-Евфросиниева монастыря, принадлежавшего тогда иезуитам. Одним из первых дел он предпринял посещение Софийского собора, вновь отданного униатскому ордену базилиан. В нем-то и произошла тогда сперва перепалка, а затем и целое побоище, о котором был издан 11 июля 1705-го в Вильне особый мемориал:

«Егда случилось Его Царскому Величеству итти мимо их костела, и желая видеть их церемонии, пошел с несколькими знатными особами Двора своего, тогда злочестивые не токмо Его Величества с подобающею честию не приняли, но паче со всяким безчестием, котораго б не токмо такому монарху, но и простому б, чести достойному, снести от них не возможно. Ибо егда Его Царское Величество, желая обрядов их церковных видеть, войтить хотел во олтарь того костела, то начали оные безчинники словами Его Величеству говорить, что недостоит ему, як противнику веры, тамо вступать. Его же Царское Величество, однако ж, по благоутробию своему, снес и, ничего не отвещая, вышел вон; и пришед к некоторому ту паче прочих украшенному образу, вопрошал их: «Чей то образ?» Но оны злочестивцы ругательски отвещали, что сей образ священномученика их Иосафата, котораго-де ваши единоверцы, еретики и богоотступники и мучители, как и вы, убили. За которую мерзкую хулу возъярився, повелел Его Царское Величество при себе тогда обретающимся людям оных хульников и уличенных изменников взять и привесть за арест для осуждения, изшед сам вон от сих богомерзких. Но оные, видя наших малолюдство, начали сим Его Царского Величества людям противитися и кричать о помощи, так что еще иные к ним из их причету на монастыре со оружием пристали, хотя их отбить, и в том супротивлении некоторых из Его Царского Величества людей ранили; за что оные, озлобясь, начали сами сих злодеев не щадя рубить, так что четыре из них, против воли Царского Величества, смертию ранены и померли, избавя себя по осуждению от достойной смертной безчестной казни».

После сего убийственного прения храм был опечатан; в нем разместили склад военной амуниции, а имущество изъяли. В числе прочего взята была чудотворная икона Богоматери, принесенная в дар Софии дочерью Ивана Третьего — помянутою выше польскою королевой Еленой, в серебряном позолоченном окладе с восемнадцатью камнями и в двух венцах. Алексей Михайлович уже забирал ее с собою в июне 1656 года в поход под Ригу, но затем украсил на Москве золотом и драгими самоцветами и с епископом Каллистом Риторейским отправил на исконное место. Запись же от 1712 года скорбит: явленный образ Пресвятой Девы, находившийся в кафедральной церкви, увезен комендантом Озеровым в Смоленск. Более он уже сюда не возвращался.

Первого мая 1710-го, в ночь под которое по народным поверьям вся нечисть справляет свой ежегодный шабаш для сбора вокруг сатаны, где она пытается помешать благополучному течению весны, насылает порчу и всячески вредит людям и даже животным, неожиданно взорвались расположенные в подклете собора пороховые запасы. Одна стена была полностью снесена, разрушен боковой алтарь, поврежден фундамент, пострадали колонны, рухнул потолок. София на темные двадцать восемь лет погрузилась в руины.

45. О ПОТЕРЯННОЙ ДРАХМЕ. — Года три тому, — поведала Сельнокринову жиличка другой кельи баба Мотря, — в некоем зазорном месте навроде таможни какому-то проныре вместо «та можно» твердо произнесли «та ни, не можно!» — и извлекли из поклажи изрядный кус противозаконных драгоценностей.

А середи них королевским блеском сияло единственное в своем роде изумрудное ожерелье, про которое довольно скоро выяснилось, что изготовлено оно было к венчанию в 1894 году младшей сестры последнего русского императора Ксении с великим князем Александром Михайловичем и явилось впервые на данном в сию честь балу. С восемнадцатого года оно кануло, казалось, без возврата, ибо хотя эта великокняжеская чета и избежала счастливо революционного убийства, ни при жизни, ни после кончины Ксении Александровны несравненное изделие царских мастеров больше на свет ни разу не выплыло.

Цепочка добровольных и вынужденных признаний привела от междуграничного пролаза через отечественных перекидчиков и откупщиков к первоисточнику — в данную то есть кременецкую клетушку к почти что девяностолетней тетке Матрене.

Заявившись по обычаю с превеликим громом и понтом, московские уголовные разыскатели намеревались перепугать старуху чуть не до самой смерти и из едва тепленькой еще души получить свежее показание. Ан не тут-то пришлось: тертым калачом прошла по миру свой почти что век Мотря, и нечего ей оставалось уже здесь опасаться. Зато когда, отстранивши посрамленных столичных страхунов, местный участковый с парой подручных подкатились по-хорошему-доброму, она им задарма выложила всю подноготную — и просто призналась, что блестящие камешки в золоте сама загнала за цельную живую тысячу ловкому заезжему подтибре.

Тогда прихожие молодцы перешли прямо ко второму и главному: а откудова сия государственная ценность к ней-то, в свою очередь, залетела? На это баба Мотря расправила солнышком тугие морщины и, чуть ли не облизнувшись, смиренно покаялась:

— Полюбовник отдарил...

Слушатели, по своему служебному положению лишенные, как говорится, и тени легкомыслия, только ради придания разговору обезоруживающей допрашиваемого естественности тоже изобразили подобие улыбок на суровых ликах и попросили назвать имя тороватого соблазнителя, а также по возможности предъявить и какой-то «вещдок».

— Звали его Несторушкою, — плавно пропела Матрена, а затем, отодвинувши ржавую заслонку давно не топленной печуры, выудила из потаенной захоронки коробку «досюльного» монпасье, откуда извлекла обернутую против сырости в тугую тряпицу фотографию явно сообразной с самой владелицей давности, а уж по непристойности ее и сравнить было мало с чем.

На плотной, проржавевшей местами карточке, среди мелких крапинок траченного временем верхнего слоя, и до сих пор вполне четко можно было различить нестесненно раскинувшуюся на спине совершенно голую красулю с гордо торчащими к небу козьими титьками. По сторонам ее восседали

двое картинно вооруженных повстанцев, наперехлест опоясанных ремнями и кобурами, которые самым страстным образом резались в карты прямо на беломраморном лобке,— причем губастый игрок справа зорко набычился в свои козыри, а длинно-прямоволосый противник его откровенно косил оком не то поверх его мастей, не то меж соблазнительных девичьих ляжек.

— Вот этот и есть,— охотно указала на второго вникливым правдоискателям Мотря.— Он, дружок мой Нестерка, благословил уходя.

— А фамилия как будет?

— Таких бы вам, молодежь, в лицо знать,— назидательно укорила бывшая ласочка.— Это батька Махно.

Здесь радостно поверившие совершенно, казалось бы, неслыханному сказу вопрошатели — ведь теперь вполне можно было счесть дело окончательно раскрытым за отсутствием в живых начального в нем звена,— наскоро записали все собеседование в казенную бумагу, отобрали свидетельскую подпись на конце каждого листа и стали уже собираться. На прощание начальник участка слегка подзадержался и посоветовал в частном порядке веселой вдове:

— А ты бы, бабка, чем по копейке-то изумруды раздавать, взяла да кооператорам эту картинку толкнула — уж они бы ее по пакетам да майкам запустили на миллион!

— Спасибочки,— услужно кивнула Мотря.— Я уже все и продала соседушке, что вон книгами на прочтенье торгует; эту вот только на память да всякий случай попридержала — вишь, и пригодилась.

Тут многоопытному старлею оставалось только присвистнуть...

Записав всю скабрезную потешку, Разумник раскрыл затем пояснительную притчу и прочел сперва по-славянски:

«Кая жена, имущи десять драхм, аще погубит драхму едину, не вжигает ли светилника, и пометет храмину, и ищет прилежно, дондеже обрящет. И, обретши, созывает другини и соседы, глаголющи: радуйтеся со мною, яко обретох драхму погибшую».

Опять-таки не вполне пробравшись через ветхословные речения, он перепроверил в русском приближении, ненароком прибавя к двум приточным стихам еще следующий, нравоучительный:

«Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи, и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А, нашедши, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму.— Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».

И здесь Сельнокринов надолго загорюнился над вопросом о соответствии, смещении или даже полном противоречии содержания притч, под знаком которых жили в Софии его современники, и их собственного бытия. Стремясь ничего не привносить в эти сложносплетенные отношения — ведь противоречие гораздо более родственно своему отрицаемому, чем нечто между ними срединное,— он заносил древние стихи и нынешние рассказы в точности так, как слышал, оставляя полное осмысление кому-то другому, глубже вникающему, нежели сам.

И еще он подивился тому, что притча, понимаемая обычно как прообраз-загадка и в то же время присказка, которую следует толковать расширительно, в нынешний век взамен раскрытия ее сжатого до предела и на любую пору рассчитанного ядра в многомерном пространстве окружающего мира претерпевает еще значительнейшее сужение и вместе с тем уплощение. Второй вопрос, впрочем, подобно первому повис покуда что без ответа.

46. ПОВОРОТ ВОСТОКА. После двадцативосьмилетнего разора и запустения униатский митрополит Флориан Гребницкий в 1738 году взялся

за восстановление Софии, но отнюдь не простое, а чрезвычайно хитро замышленное. Ведь за ним уже и тогда шла слава рачительнейшего сторонника переделки покуда еще по внешности православного обряда унии на явный католический лад: он снимал долой по храмам всей епархии не принятые в римском укладе иконостасы, одел священников в сутаны и ввел для белого духовенства — иереев и диаконов — обязательное безбрачие, какого ни христиане первого тысячелетия, ни церкви, воспринявшие крещение от грехов, не ведали никогда.

Легче, конечно, было бы просто снести вполовину уничтоженный собор и на том месте заново поставить иной, но унит Флориан с намерением включил его остатки — алтарь, фундамент, основания колонн и стен — в свое здание, подчеркивая преемство с исконною Софией. Зато главы он не стал выводить вовсе — ни семеро, ни одну, придав постройке вид совершенной базилики и на фасаде вместо рухнувшего минарета поместив две парные башни колоколен, а на противоположной им стороне — повторяющий очертание фасада щипец. Другим повтором стал граненый западный придел — точное отражение подлинных алтарных абсид с востока. Тогда же появились на теле древнего храма щеголеватые одежды барокко родом из Вильны.

...Далее Сельнокринов записал сокращенное изложение довольно удачной главы из единственной современной книжечки о соборе. Утром или вечером,— говорилось в ней,— низко стоящее над небоземом солнце подчеркивает теперь вытянутость Софии кверху, а в полдень с особенной четкостью проступают очертания продольных тяг. Волшебное разнообразие венчающих украшений словно бы напряженно истончается в неукротимом движении ввысь. Внутри огромный и по-католически открытый восьмиколонный алтарь, продолжая пространство средней части кверху к образу Новозаветной Троицы, определенным образом вторит виду главного внешнего фасада, как бы размывая грань, отделяющую рукотворный космос от природного. Чары единства усиливает островок лазурного неба в вышине сводов среди общей белой лепнины, представляющийся плывущими над престолом облаками. Внутренние хоры, главные и боковые притворы кажутся состоящими из множества дробящихся пространств, разнообразно и обильно освещенных льющимся сквозь окна солнечным светом. Стены были оставлены почти что голыми, их лишь выкрасили в палевый тон с белыми полуколоннами; а алтари, которых стало ровным счетом тринадцать, выделялись позолотою, причем главный из них был еще украшен по карнизам изваяниями.

Собор освятили вновь в 1750 году в день Сошествия Святого Духа по католическому счету дней, а в 1752—1768 рядом вырос базилианский — или, по-русски, васильевский — унитский мужской монастырь, здания которого в основном погибли в двадцатом столетии.

Выстроили все это зодчие-католики Глаубиц и Косинский, но головой архитекторов и душой перестройки был митрополит Флориан, умерший в 1762 году и погребенный прямо в соборе. Впоследствии захоронение было утрачено, а потом, ровно сто пятьдесят лет спустя, как будто случайно открыто в начале нынешнего века при починке стены с левого бока алтаря, в нише: его опознали по золотому перстню с личной сердоликовой печатью.

Однако основным преобразованием, внесенным Флорианом, была перемена стороны света для поклонения. Православный храм искони должен быть повернут алтарем на восток, католический — к западу. Архиунит же поставил престол обновленной Софии на севере — и с той поры три главных христианских церкви города: единственный неизменно остававшийся православным собор Богоявленского монастыря, иезуитский костел и униатская София глядели в разные концы света.

47. О БЛУДНОМ СЫНЕ. Вопрос про то, является ли понятие о царе у человека природным и врожденным, заданный юрким книгочеем, истово копавшим полукруглую шкиперскую бородку в ожидании ответа, порядком озадачил Сельнокринова, который вообще-то собирался сам задавать загадки, но не был готов столь же скоро их разрешить.

Поэтому он всего-то и выцедил наконец, что скорее уж прирожденною нам служит мысль о всеобщем равенстве, ясная даже ребенку.

— Вот как раз ребятенку-то и нет! — уверенно выставил свое противное мнение вопрошающий.— Подумай, как он отнесется к сказке, зачинающейся так:

«В тридевятом народоправстве, в тридесятом республиканстве жил да был один президент, и была у него демократия такая, что ни по телевизору показать, ни в газете напечатать...»

— Ох,— отозвался Разумник Васильевич.

— Тьфу да и только,— подтвердил бородач.

И пустился затем толковать про то, что человеческая мысль в своих плутаниях сделала, начиная с семнадцатого столетия, трехвековой загиб через чуждые области; лишь на наших глазах она начинает выворачивать «во своя си» — в законный наследный чертог. В доказательство же выудил из преизрядного вороха окружающих томов тертую-перетертую Псалтирь — книгу, далеко опередившую все прочие на свете по количеству изданий: с большим отрывом вслед шла, как он заметил походя, Агата Кристи, а уж за нею плелись принудительно тиражированные корифеи обществоведения. Ведь именно по Псалтири девять веков начинал постигать грамоту русский человек,— и вот одно из таких переизданий, впрочем вовсе не древнее, начала девятисотых годов, преподнес хозяину заезжий московский искусствовед по имени Валерий Николаевич, собиравший в здешних лесах у последних раскольников рукописи для рублевского музея.

Сия же самая поздняя печатная книжка была ему вовсе не впрок, а коли приглядеться к заметам на полях, то еще и в острастку. Дело в том, что вникливые в соответствие преходящих событий вечным заветам старообрядцы любили, обнаруживши любопытное совпадение или исполнение предсказанного, делать в тексте отметину в виде звездочки и слова «зри» — то есть обрати, друг читатель, особенное внимание,— а на пустом месте рядом не обинуясь вписывали собственное толкование.

Данную книгу такими примечаниями наполняли, судя по содержанию заметок, в самом конце двадцатых или начале тридцатых годов протекающего мимо столетия. И уже против прославленной первой строки самого первого псалма — «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» — угнездилось вслед за указующим «зри» пояснение вкратце: «сельсовет». А обок конца того же стиха — «и на седалищи губителей не седе» — несколько неграмотно, зато с разительностию раскрывалось: «призидиум».

По словам домашнего доточника выходило, помимо того, что царь-псалмопевец Давид еще за три тысячи лет многое очень точно предугадал о нашем времени, начиная с того, что храмы будут превращены в «овощное хранилище» — и вплоть до... Тут он вклеил байку про то, как недавно совсем впопад оговорился местный дьячок (по всей видимости, не без влияния острых слов отца Ероса). Читая наизусть до оскомины знакомую псалтирную кафизму, он поменял всего лишь порядок двух соседних слов в изречении «Аще не Господь со-зиждет дом, всуе трудятся зиждущие» — значит, всякое строительство без высшей духовной цели обречено на развал,— и окончил их так: «всуе зиждут трудящиеся».

— Погоди еще,— углубился он в дальнейшие разыскания и минут на десять пропал в личном книжном развале. Даром время терять Сельнокринов позволить себе не мог, а потому, опять не найдя здесь даже следов от начисто сведенной росписи, принялся вычитывать из своего путеводи-

теля полагавшуюся по ходу главу, которая оказалась хотя и мудрено изложена при переводе с греческого на славянский, но по сути своей знакома еще с младенчества:

«Человек некий име два сына. И рече юнейший от них отцу: отче, даждь ми достойную часть имения. И раздели им имение.

И не по мнозех днех, собрав все, мний сын отиде на страну далече и ту расточи имение свое, живый блудно. Изживш у же ему все, бысть глад крепок на стране той, и той начат лишатися. И, шед, прилепися единому от житель тоя страны; и посла его на села своя пасти свиния. И желаше насытити чрево свое от рожец, яже ядяху свиния; и никтоже даяше ему. В себе же пришед, рече: колико наемником отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю. Востав, иду ко отцу моему и реку ему: отче, согреших на небо и пред тобою. И уже несмь достоин нарещися сын твой: сотвори мя яко единаго от наемник твоих. И, востав, иде ко отцу своему.

Еще же далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и, тек, нападе на выю его и облобыза его. Рече же ему сын: отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой. Рече же отец к рабом своим: изнесите одежду первую и облецыте его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на нозе. И, приведше телец упитанный, заколите и, ядше, веселимся: яко сын мой сей мертв бе, и оживе, и изгибл бе, и обретеся; и начаша веселитися.

Бе же сын его старей на селе; и, яко грядый, приближеся к дому, слыша пение и лики. И, призвав единаго от отрок, вопрошаше: что убо сия суть? Он же рече ему, яко брат твой прииде, и закла отец твой тельца упитанна, яко здрава его прият. Разгневася же и не хотяше внити; отец же его, изшед, моляше его. Он же, отвещав, рече отцу: се толико лет работаю тебе и николиже заповеди твоя преступих, и мне николиже дал еси козляте, да со други своими возвеселился бых. Егда же сын твой сей, изъядый твое имение с любодейцами, прииде, заклал еси ему телца питомаго. Он же рече ему: чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя — твоя суть. Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко брат твой сей мертв бе, и оживе; и изгибл бе, и обретеся».

— Вот, нашел-таки! — радостно гаркнул тут как раз бородоносец и, торопясь пояснить сказываемое, изложил вкратце общее окружение нужной истории своими словами.

— Это,— сказал он, распахивая с треском толстокожую книжищу на бронзовых застежках,— житие Василия Нового, одно из любопытнейших византийских творений, широко ходившее по Руси. Так вот вся вторая его часть — в первой раскрывается посмертная судьба человека,— написана про то, как однажды ученику сего Василия по имени Григорий прилетел извне на ум таковой помысел: что-де и Моисеев закон тоже хорош и даже достаточен, ибо отклоняет от пагубного многобожия язычников.

Мысль сия была полностью опровергнута сперва самим Василием; но на небесах все-таки сочтена до того негодной, что ночью Григорию явился нарочный ангел, который показал ему в видении устройство рая, а затем, забежав вперед всего времени, привел прямо на Страшный Суд.

В повествовании наглядно отражено правовое пристрастие ромейца: например, осужденные на вечные муки иудеи, распявшие Христа, требуют представить им в качестве свидетеля защиты самого Моисея, утверждая, что свое зло они совершили в точном согласии с его заповедями: «Начаша плакатися и терзати брады своя, ови в перси биюще, овии лице деруще, глаголаху: о Моисею, Моисею, о, люте нам, о Моисею, что нам сотворил еси, где ты еси ныне, прииди!»

Христос-Судия соглашается — и тут же являет им первого пророка: «лице же бе Моисеево прославлено славою Божиею, и ризы его яко молния».

Тогда лукавые убийцы начинают утверждать, что коли весь их ветхий закон всего только «баснь есть», то пусть и сам Моисей вместе с ними «мучится по правде, яко он повинен есть нашей пагубе». В ответ тот обличает их неправду: «О, несмысленнии и коснии сердцем, вы сынове не Авраама, но диавола! Не писах ли вам в Законе сице?!» — и указывает в своем Пятикнижии все пророчества о грядущем Спасителе не как завоевателе дольнего царства для них одних, а как о победителе страстей мира любовью. «Но зависть, и злоба, и гордыня ваша не остави вас веровати,— заключает он,— и сего ради ожидает вас родство огненное». Затем «приидоша ангели огненнии, яко молнии скоростию, иже над муками бяху, и начаше, восхищающе, вметати во огненное море. Они же вопияху: люте, люте, велия беда! — И абие погрязнуша».

Последний Суд отделяет овнов от козлищ; праведники направляются в Новый Иерусалим, мучители — в кипящий пламенем ад. Ну, в общем, эти приговоры всем вроде бы мало-мальски знакомы наперед. Но вот гляди, какое занятное средостение — где-то как раз между теми и другими является сообщество свойства отъявленно двойственного:

«Иных множество, бяху же смешени иноцы и простая чадь, на них же одеяние яко мгла, лица же их бяху яко черных человек, овогда усрамляхуся, овогда же просвещахуся. От рук же их десных капаше масло чисто яко злато, от левых же яко сурова смола. Их же виде Господь, остави и отврати лице свое от них — и абие пришедше суровии ангели, влачаху их с нуждею. Они же обращахуся часто, вопиюще к Господу: пощади нас, милостивый Боже! И видяшеся Господь милосердуя и гневаяся на них.

И се внезаапу сниде отроковица с небесе, красна зело и препрославленна, и служаху ей ангели. И, пришедши, ста пред Господем и поклонися о сонме оном. И вскоре постиже немилостивых ангел и глагола им: живо лице Отца, иже есть на небесех, и единороднаго Сына его и Святаго Духа, яко не имать мучитися сонм сей. Познавше же ангели, кто есть та, и реша к ней: вемы, кто ты еси, яко ты еси Богом возлюбленная Милостыня, и никтоже ин, паче тебе, имать дерзновение, но мы не можем преслушати Судии. Она же рече: вем и аз сице, но молихся о них много, и повеле ми возвратити вас с ними.

Тии же возвратишася и сташа пред лицем Судии, трепещуще яко листвие. И абие глагола к ним Судия: яко милостыни вашея ради огня вечнаго избавляю вы; блуда же ради и инех нечистот и страстей во Царство мое не внидите, и благих моих не насладитеся и радости святых не узрите.

И повеле дати им место на севере, да будут потребных скудны».

— Скажи откровенно,— вопросил он, захлопнув кожаные ризы книги,— скудное северное место, где всего добра в недостатке, и эти двуликие люди полуправедники-полугрешники не напоминают ли что-то не завтрашнее, а сегодняшнее, не грядущее, а уже нагрянувшее?..

Разумник Васильевич вежливо отозвался, что над этой вещью надлежит еще на досуге крепко покумекать и помараковать, на что хозяин охотно и согласился. Напоследок же вместо просьбы простить, коли что сделал не так, или панибратского «чик», сокращенного из бывшего «честь-имею-кланяться», он изрек нечто совсем неподобное:

— Ну, как говорит нынешняя молодежь вслед не отцам, а дедам: встретимся на баррикадах!

48. ВИЗАНТИЯ II. — Видишь ли, милый друг половинного века,— сказал Сельнокринову явившийся с новой подмогою Бенескриптов,— ключ, по всей видимости, действительно находится в Царьграде.

Если ты когда-либо обращал внимание, на древних наших иконах часто встречается изображение на заднем фоне двух домов или башен, а то и

храмов, между которыми, коли присмотреться, переброшена пурпурная ткань, означающая царское достоинство.

Такою вот передающей высшее преемство связью, соединяющей первые века христианства и Русь, и являет себя Византия.

Откровение об этом я получил, когда читал довольно-таки косвенно связанное с ними письмо. В 1399 году Константинополь был уже почти насмерть обложен турками, и осада длилась целых три года. Тогда император Мануил II Палеолог — то бишь, русским языком, Ветхословец — сам вырвался из города и отправился в Италию, Францию, Англию к другим христианским государям просить о помощи. В Париже он жил в замке Лувр у короля-безумца Карла VI; и вот там-то однажды он увидал роскошную ткань — род будущих гобеленов с картиной весны. Ее он подробно описал в послании на родину:

«Весна! На это указывают цветы и нежно разлитый по ним прозрачный воздух. Листья приятно шелестят, и кажется, что трава как бы волнуется под влиянием дуновения ветра, который колышет ее дружественным прикосновением.

Приятно смотреть! Реки уже вступают в берега; сильное течение их сдерживается, и то, что прежде исчезало в наводнении, теперь появляется над водою и позволяет рукам ловить ее сокровища. Мальчик уже схватил одно из них; держа его в левой руке, слегка нагнувшись и усевшись так, чтобы не погрузить ноздрей в реку, опустя бесшумно свою правую обнаженную руку в воду, он исследует водный поток, проверяя пальцами норки, чтобы не спряталось туда что-нибудь в испуге перед шумом от ног мальчика, мутящих воду.

Куропатки радуются, получая обратно свою силу, утерянную от преобладания вредных свойств природы; солнечные лучи им эту силу восстанавливают и чрезмерным жаром не вредят. Поэтому они весело живут в полях и, приводя к пище своих птенцов, первые к ней прикасаются, указывая этим на еду.

Певчие птицы, сидя на деревьях, почти не трогают плодов; большая часть их времени уходит на пение. Я думаю, они хотят объявить, что становится лучше, когда засияла царица времен года, что вместо туч ясное небо, вместо бури тишина и, наконец, вместо горя радости. Все оживляется, даже самые ничтожные существа — комары, пчелы, стрекозы и другие им подобные разнообразные творения. Одни из них, только что вылетевши из ульев, другие, только что получив жизнь благодаря температуре времени года или, если хочешь, благодаря проникновению тепла в соответствующую ему влажность,— те и другие шумят вокруг человека, летят перед путником, и более музыкальные из них поют вместе с поющим где-то поселянином. Некоторые состязаются друг с другом, другие сражаются, третьи садятся на цветы.

Все приятно для взора. Дети, играющие у сада, начинают безо всякого злого умысла бороться или красиво гоняться за ними. Вот один ребенок, снявши шапку и пользуясь ею как орудием охоты, но не будучи в состоянии в большинстве случаев что-либо поймать, возбуждает смех своих сверстников. Другой же, держа перед собою руки, бросается всем телом на маленькую тварь, желая тем ее залучить. Разве это не забавно и не смешно?

Видишь ли ты этого младенца, едва превосходящего своим телом насекомое? Поймав, наконец, с трудом одно из так называемых некоторыми перепончатокрылых, ребенок от радости уподобляется участнику в празднествах Вакха, и, приподняв края своего платья, чтобы завернуть туда схваченную стрекозу, он отправляется на поиски другой, не замечая, что у него обнажены те части тела, которые надлежит скрывать. Однако более забавен тот, который еще младше его по возрасту: связавши очень тонкою нитью двух насекомых, он позволяет им как будто летать, а сам, придерживая на некотором расстоянии пальцем поводок, мешает обычно-

му полету, смеется, радуется и прыгает, считая эту шутку за нечто важное.

Вообще, искусство тканей услаждает взор и доставляет зрителям удовольствие. Причиною этого является весна, которая уничтожает печаль и, если хочешь, доставляет веселье...»

— Веришь ли, над этим тихим зрелищем, запечатленным почти отчаявшимся о судьбе отечества императором, я сперва даже пустил слезу. Между прочим, ни один из европейских монархов так ему и не помог — на тот раз, и раз последний, вмешалась сама судьба, послав на турок-сельджуков железного хромца Тамерлана, который разгромил их вдребезги. И Византия получила предсмертную передышку на целых полвека, покуда ее все-таки не уничтожили турки-османы Магомета II.

Но сразу вслед за умилением я крайне возмутился духом: так неужто же нет ни смысла, ни добра в истории? Как могла вконец пропасть такая, целое тысячелетие царившая над всем миром держава? Причем пропасть вчистую: Греция и Италия вновь возродились в Новое время, но где же рядом с ними былая страна Византийская?!

Недаром русские цари, а вслед за ними даже и обезьянничавший царские порядки Сталин неистребимо тянулись к Константинополю... Искомое им не было дано; но потому-то я и осознал, что как раз там исторический путь свернул от верной цели к подложной. И тогда принял совершенно безумное по внешности решение — восстановить его правый ход, вернуть Византию в мир.

— Сумел?

— До следующей встречи!

49. О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ. Эту притчу Разумник уразуметь не мог — хоть убей. Сперва он прочел ее на славяни:

«*Человек некий бе богат, иже имяше приставника; и той оклеветан бысть к нему, яко расточает имения его. И, пригласив его, рече ему: что се слышу о тебе? воздаждь ответ о приставлении домовнем; не возможеши бо ктому дому строити.*

Рече же в себе приставник дому: что сотворю, яко господин мой отъемлет строение дому от мене: копати не могу, просити стыжуся. Разумех, что сотворю, да, егда отставлен буду от строения дому, приимут мя в домы своя. И, призвав единаго когождо от должник господина своего, глаголаше первому: колицем должен еси господину моему? Он же рече: сто мер масла. И рече ему: приими писание твое и, сед, скоро напиши: пятдесят. Потом же рече другому: ты же колицем должен еси? Он же рече: сто мер пшеницы. И глагола ему: приими писание твое и напиши осмьдесят.

И похвали господин дому строителя неправеднаго, яко мудре сотвори; яко сынове века сего мудрейши паче сынов света в роде своем».

Отчаявшись усвоить мудрость с листа, Сельнокринов отправился в гости к ее непосредственному насельнику, но нарвался там на такую замысловатую похабень, что еще только больше запнула понимание.

Хитрец Володя, разводясь три года назад с постылой женою, отдал ей добровольно почти что все нажитое в придачу с отдельной квартирою и, перебираясь в соборную коммуналку, оставил в награду за бескорыстие себе лишь единое достояние — заработанную в отходном дальневосточном промысле черную «Волгу».

Сибирские просторы пристрастили его в скитаниях к полному самостоянью, и вот, ощутив некоторый «недостаток общения», принялся он по вечерам выезжать на своем вороном к извозчичьему торжку у пересечения городской дороги и общесоюзного тракта, ведшего прямо на Брест. Деньги ему не очень-то требовались — его занимало в основном знаком-

ство с противоположным, донельзя желанным полом. Пол же против ожидания выказал себя прямо-таки поголовно падким до мужика на роскошном колесном скакуне.

Постепенно обвыкнув среди прочих представителей нового ремесла, он свел приятельство с простыми калымщиками, «кидалами», надувавшими на различные лады лопоухих проезжих, ломовиками, зашибавшими деньгу на перевозке громоздкой неподвижности, и прочими завсегдатаями ночного развоза. Теперь, стоило только Володе подкатить, остановиться и бросить рублевик на лапу знакомому постовому, как соседи сами, уверенные в том, что их законных ездоков он не уведет и доход не отымет, отправляли по назначению соответствующих его вкусу поезжанок. Чуть завидят развеселую девицу либо середушку, сейчас говорят: нам не по пути, это — к Володе!

— И доложу я тебе,— ласково глядя в Сельнокриновы очи, признался бабий ведун,— чего там ихний Париж... У нас тут такое тёлки творят, что разве руками разведешь. Только успевай поворачиваться. Вон я сегодня даже до работы не дошел, да еще весь заработок недельный спустил — три дня у нее из номера не вылазил, а ведь еще актерка, не здешняя!

И он стал расповедовать Разумнику Васильевичу про столь замысловатые чудачества в женском роде, что тот, хотя и был уже полувековой давности человек, чуть не взревел, елозя в нетерпении ногами под столом, и наконец в бессильной ярости кинулся вон наутек.

Дома он забéгал по кругу, бормоча что-то весьма непристойное и восклицая от невозможности выплеснуть куда-нибудь разбуженную могучую силу, захлестнувшую ум и разум, бормотал, какие помнил, молитвы, дабы отогнать плотно прилепившегося блудного беса, но все было не впрок. Тогда Сельнокринов попытался отвлечься, вновь вперив душу в странную притчу, теперь перечитав ее уже в русском изложении:

«Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.

Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом: копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись, скорее напиши — пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши — восемьдесят.

И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил: ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители».

По вторичном прочтении Разумник застыл в еще большей оторопи и недоумении, хотя за размышлениями похотливый зуд и оставил его незаметно в покое.

50. ЕКАТЕРИНА. Правобережье Славы вместе с большею частью города и Софийским собором окончательно вошло в состав Российской империи после первого раздела Речи Посполитой 28 мая 1772 года и образовало сперва Кременецкую провинцию Псковской губернии, а затем, в 1776 году, и отдельную губернию, центром которой на следующий год утвержден был Кременец-Славянский; с 1778-го губерния была преобразована в наместничество. Левобережье прождало воссоединения еще пятнад-

цать лет до второго раздела Польши в 1793 году. Всего Кременец оставался губернской столицей целых два десятилетия, но уже в 1780-м его посетила впервые императрица Екатерина Великая.

Во время путешествия она писала наследнику Павлу Петровичу и его супруге Марии Феодоровне: «С самого Острова тянутся все холмы да холмики, между которыми множество озер, что очень красиво; здесь население самое разнородное, сплошь да рядом обитают православные, католики, униаты, евреи, русские, поляки, чухонцы, немцы, курляндцы, словом, не увидишь двух крестьян, одинаково одетых и говорящих правильно на одном наречии; смешение племен и языков напоминает Вавилонское столпотворение».

К городу царица прибыла в шестом часу вечера. Въезд был особо торжественный: впереди следовал губернский почтмейстер, за ним двенадцать почтальонов, потом губернская конная команда и губернский предводитель с дворянством верхами. Императрица ехала в вызолоченной открытой карете, милостиво и приветливо кланяясь стоявшему кругом народу; обок следовал генерал-губернатор Чернышов, а позади нее эскадрон лейб-кирасирского полка, встретивший государыню за пять верст от города; за кирасирами шли запряженные шестериком придворные кареты.

При въезде пальба из пушек, расставленных по городским валам, слилась с колокольным звоном во всех церквах и костелах. У триумфальных ворот, воздвигнутых за городом, императрице отдал честь стоявший там лагерем лейб-кирасирский полк. Здесь же государыня была встречена комендантом, городовым магистратом и лучшими гражданами. В самих воротах играла музыка.

Начиная от них, по направлению к городу по обеим сторонам стояли евреи, а у городских ворот — губернский магистрат; вдоль улиц вплоть до площади помещались городские цехи со своими знаменами и барабанами, «кои приносили Ея Императорскому Величеству поздравление преклонением, по обычаю своему, знамен и барабанным боем». На площади, у присутственных мест, были все «присутствующие» и канцелярские служители; по другой ее стороне находилось подле иезуитского костела католическое и униатское духовенство.

Выйдя здесь из кареты, императрица направилась в православный собор Богоявленского монастыря; а затем, когда она уже выехала во дворец, светлейший князь Потемкин в сопровождении многочисленной свиты прибыл в кафедральный униатский собор Софийский, где его встретил унит-митрополит Ясон Юноша-Смогоржевский со своими базилианами пением гимна Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим...».

Вечером Екатерина писала сыну: «Я приехала сюда в совершенном здравии. Между окнами моими и Польшею одна только Слава, которая здесь очень широка. Въезд представлял прекрасную картину. Весь день был жарок, а сейчас ночь и сильный гром. При въезде я видела зрелище, совершенно для меня новое: иезуиты, доминиканцы и жиды, стоящие фронтом; последние весьма неопрятны, первые представляют собою величественный маскарад».

На следующую же ночь был затеян и подлинный маскарад с балом и иллюминацией — подле костела иезуитов воздвигнуто пятеро пирамид, ростом равных самому храму, с аллегорическими надписями. Представленная отдельно от еврейского кагала иллюминация на реке также оказалась внушительна.

Довольная посещением и приемом, императрица повелела привести в надлежащее состояние городские укрепления, одарила деньгами все действующие храмы, монастыри и училища.

В том же году немного позже императрицы, в сентябре, три дня провел

в Кременце-на-Славе наследник цесаревич Павел Петрович, которому в собственное царствование суждено было круто изменить судьбу города и Софии.

51. О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ. «Человек же некий бе богат и облачашеся в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло. Нищ же бе некто именем Лазарь, иже лежаше пред враты его гноен. И желаше насытитися от крупиц, падающих от трапезы богатаго; но и пси, приходяще, облизаху гной его.

Бысть же умрети нищему, и несену быти Ангелы на лоно Авраамле; умре же и богатый, и погребоша его. И во аде, возвед очи свои, сый в муках, узре Авраама издалеча и Лазаря на лоне его. И той, возглаш, рече: отче Аврааме, помилуй мя и посли Лазаря, да омочит конец перста своего в воде и устудит язык мой: яко стражду в пламени сем. Рече же Авраам: чадо, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем, и Лазарь такожде злая; ныне же зде утешается, ты же страждеши. И над всеми сими между нами и вами пропасть велика утвердися, яко да хотящии прейти отсюда к вам не возмогут, ни иже оттуду к нам преходят.

Рече же: молю тя убо, отче, да послеши его в дом отца моего: имам бо пять братий, яко да засвидетельствует им, да не и тии приидут на место сие мучения. Глагола ему Авраам: имут Моисеа и пророки: да послушают их. Он же рече: ни, отче Аврааме, но аще кто от мертвых идет к ним, покаются. Рече же ему: аще Моисеа и пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры».

Прочитав сказание, Разумник Васильевич от души пожалел, что оно не попало в дом того, к кому относилось по праву,— знатока Моисея и Страшного Суда. Но, смиряясь с недоведомой до поры волей Провидения, он покорно отправился навестить своего врага.

Ибо действительно под напрочь соскобленной со стен историей про богача и бедняка наткнулся на человека, который его доподлинно обокрал — в самом грубо житейском смысле глагола. Виталий Судейкин, беспрописно проживавший там, не раз и не три, несмотря на относительную еще молодость, перекантовывался поневоле в местах отдаленных и не очень, да, как видно, с тем давно уже свыкся.

Прознав что-то краем уха про ведущееся Сельнокриновым письменное расследование, он, естественно, истолковал его на свой немудрящий салтык и с порога признался, что приобретенный тем в прошлом году на сбереженные средства переносной приемник для коротких волн украл и тотчас же пропил самолично.

Разумник в ответ спокойно рассудил внутри себя, что все происходящее помимо нашей воли воистину случается к лучшему, и останься у него в обладании этот скулящий прыщик, как знать, захотел ли бы он еще тратить свой досуг не праздно. Как ни удивительно, не испытывал ни угрызений, ниже видимого стеснения и его грабитель, нагло попытавшийся взамен занять трюльник «на пропой души». Сельнокринов, сокрушая гордость дозела, наскреб ему рубль мелочью и, пользуясь временным расположением, спросил только: разве уже отменено древнее воровское законное правило — не тащи, где живешь, и не живи, где гребешь?

— Касательно до баб — может, и есть еще; а у нас забыто подавно,— отрезал преспокойно домушник; и затем вдруг в свой черед напустился на Васильевича за то, что делу о покраже не было дано судебного хода.

Выяснилось, что при его посредстве он напрашивался вновь залететь на зону, а Сельнокринов своим всепрощением как бы даже похитителя оскорбил. Дело в том, что ему как завзятому уркагану отказали при последнем освобождении в городской прописке, принудительно отправив

в деревню. А там оказалась сплошная грязь, скука и малолюдство! На «химии» же жизнь, напротив, всегда бьет ключом.

Бросивши сию уличную премудрость вместо «до свидания», он попилил за косушкою, а Разумник, вытолкнутый поневоле наружу, медленно потек восвояси, горько размышляя про то, до чего же довели крестьянскую сторону, коли она и уголовнику кажется хуже тюрьмы. А потом он еще стал решать, кто из них убогий, а кто богатый, если просветить этот разговор вневременной притчею,— и вовсе запутался. Все оказалось неразрубаемо перемешано.

Вечером наклюкавшийся вдрезину горе-взломщик навестил его в ответ и завел сперва степенную беседу про «божественное»; но по мере того, как хмель все больше вступал в права, Виталька начал наполняться изнутри густопсовой тягучей обидою. Когда же она залила его душу по самые уши, он ударил что было мочи кулаком по столу и, прервав степенно-вымученные рассуждения собеседника про то, что-де никогда не надо отчаиваться, всегда есть время начать покаяние, кинул ему в лицо столь жгучие слова, что право дело лучше бы харкнул:

— Бог, говоришь? Ну, допустим, что Бог. А только ты посмотри, что он со мною-то сделал?!

52. ИЕЗУИТЫ. Через четыре месяца после матери, 27 сентября 1780 года, в Кременец-на-Славе приехал на три дня и наследник цесаревич Павел с женою. Отсюда он направился за границу, но посещение города запало в память будущего императора.

Скромному преподавателю здешней иезуитской коллегии Гавриилу Груберу удалось вылечить супругу наследника Марию Феодоровну от жестокой зубной боли, с коей отчаялись уже справиться придворные медики; а кроме того, он приготовил ее мужу замечательный «иезуитский шоколад», полюбившийся цесаревичу навсегда.

Услуги были оказаны как нельзя ко времени, ибо после упразднения иезуитского ордена во всем мире в 1773 году он по заковыристому стечению обстоятельств сохранился в одной лишь стране — России, где буллу о его роспуске отказалась признать императрица Екатерина, считавшая унизительным, чтобы ее подданные выполняли приказы из-за границы: потому-то ее так тепло и приняли незадолго перед тем кременецкие отцы. А после этого их коллегия при костеле «Приветствия девы Марии» стала главным мировым гнездом ордена, поменявшего берега Тибра на откосы Славы.

Павла Петровича в кабинетах коллегии поразили также такие диковины механики, как «говорящая голова» и вогнутое металлическое зеркало, посредством которого стоящий на галерее музеума человек казался находящимся на кресте колокольни святой Софии.

В благодарность за гостеприимство Груберу с 1799 года были открыты двери личного кабинета императора в Петербурге и дозволено являться к Павлу во всякое время без доклада. К городу новый царь отнесся куда жесточе: в год вступления на престол, 1796-й, он слил все западнорусские земли в единую Белорусскую губернию, центром коей назначил Витебск. Сын его Александр в 1802-м еще раз преобразовал ее, поделив надвое; но Кременец так и остался вплоть до тысяча девятьсот семнадцатого уездным городком.

А тою порой бывший кременецкий преподаватель Грубер с 1802 по 1805-й служил уже генералом иезуитов. Булла папы Пия VII о восстановлении ордена, выданная в 1801-м — причем он учреждался вновь только в России,— была получена в Петербурге в самую пору убийства Павла, и Александр I долго колебался, не торопясь ее обнародовать. Однако год спустя он вслед за бабкою и отцом навестил Кременец и, оставшись очарован

отцами-иезуитами, велел заграничный приказ напечатать и привести в действие.

Царь побывал в городе трижды — в 1802, 1807 и 1812-м; причем в январе последнего коллегия иезуитов была обращена в академию с приданием ей всех прав университета.

Обнадеженные постоянными успехами члены Иисусова ордена стали требовать возвращения в захваченный ими Спасо-Евфросиниев монастырь и лежавшего тогда в базилианской Софии креста преподобной. Униаты отказывались, а потому по своему лукавому обычаю однажды, когда в праздник Крестовоздвижения крест был вынесен для всенародного поклонения на средину собора, переодетый иезуит незаметно подменил его искусной подделкой, скрыв подлинник под сутаной. Но, по счастью, подвох почти тотчас же был раскрыт, и вора настигли на полупути к коллегии прямо на улице. В пришествие наполеоновых «двунадесяти язык» крест ради сохранности замуровали в соборной стене.

Постепенно полюбовные отношения императора Александра с орденом делались все прохладней, и когда в 1816-м слишком уж распетушившиеся иезуиты были по высочайшему указу удалены из столицы государства, их выслали именно в Кременец. Наконец, в 1820 году орден был окончательно выдворен из российских пределов, а коллегию с ее зданиями и костелом передали другому — пиарскому, который своим внешним служением имел безвозмездное образование юношества в католическом духе.

53. О РАБАХ, НИЧЕГО НЕ СТОЯЩИХ. Опрятное очково-пиджачное существо с красным значком на лацкане само заблаговременно наведалось к Разумнику и всем своим внешним видом изрядно его застращало. Тем более что человек прямо с порога заявил: ему-де хорошо известно об исторических предприятиях Сельнокринова, в коих он доброхотно и задарма берется тотчас же помочь. Поэтому векописец шел к нему гостем отнюдь не в радости и на довольно-таки одеревеневших ногах.

Однако внешний вид «оттуда» оказался всего лишь защитной окраскою, хотя направленность мысли и угадывалась в голой комнатенке с нарочито выставленным на позор синим пятидесятипятитомником и колченогим столом, задавленным грудою прошений и казенных отписок: подлинный образ бедственного бытия упрямо выглядывал из застоявшегося опустения всего остального пространства.

Подобно большинству населения, здешний жилец искал в мире правду, как множество из нас, он вожделел ее прежде всего для самого себя и, сходно с немалым числом соотечественников, не находил — что только подстегивало и даже питало его настойчивость в избранном занятии.

В первую голову он добивался справедливости по отношению к славному прошлому своего собственного деда, а ему отказывали в том с редким упорством. Услыхавши затем из первых уст про суть дедовских подвигов, Разумник Васильевич стал приглядываться к пиджачнику попристальней: уж не подначивает ли он своими речами? Но нет, тот говорил вполне искренне. Значит, болезнь,— печально заключил Сельнокринов про подобное одержание.

...Отец отца хозяина по имени Степан в девятьсот пятом, когда прежде суровое начальство нежданно дало слабину, отправился в скопище прочих погромщиков государева имущества брать «казенку» — коронный водочный завод. И покуда понурые белорусы и разгульные кацапы вместе с несколькими сынами Авраама, разбивши подвалы, потребляли добро, не отходя от источника, предаваясь ярому буйству и макая усы прямо в спирт, а порою забираясь в емкости целиком,— наутро самый бесшабашный был найден в корчаге утонувшим от перепоя,— Степан Юхимович, как и полагается хитрому хохлу, на трезвую еще губу взял цельный бочонок

десятиведерного достоинства и, осторожненько докатив его до дому, завел сзади (чтобы «жинка не бачила»), да там в зарослях подсолнуха и закопал понадежней, вставив в дырку тростину.

Засим в течение добрых трех лет у него уже не было на душе особых забот, а потому попутно бурно росли накопления; когда же в голову забиралась злая кручина — Юхимов сын делал дюжину осторожных шажков на огород, залегал там, приникая к природной трубе, и сосал сколько желается доброй горилки.

Впоследствии наступила все-таки жесточайшая столыпинская разборка; мстительное самодержавие среди предавшихся бунту смутьянов вычислило и Степана. За дедом в один черный день явилось двое городовых, но лукавый потомок Тараса Бульбы как нарочно предусмотрел и сию напасть — ровно за неделю до того он-таки выдул бочонок до полной порожности безо всякого для врагов остатка.

Казнь между тем не могла быть отложена из-за мелкого препинания, однако, не желая пачкать себя изъятием жалкого скарба Степанова, угнетатели просто заставили его с позором прокатить пустую тару через все местечко собственными руками обратно по принадлежности в завод — да и вся недолга.

Впрочем, на деле она вышла довольно длительною: бесчестье оказалось хуже тюрьмы, тыканье и постоянные просьбы, задаваемые в шинке по глуму, поделиться опытом вытягивания через простой очерет из земли десяти ведер спирта, — довели Степана до того, что он от расстройства пропил донага все накопленное и наконец в самом кануне Февраля помер нищим.

А теперь лепту, внесенную им в подтачивание самодержавного строя, ни местные товарищи, ни областные, ни даже минские отнюдь принимать во внимание не желали. Внук, однако, не просил ни вознаграждения, ни памятника, ни места особого на городском погосте — благо здесь в отличие от столиц его предостаточно. Он вожделел лишь поместить среди прочего краеведения снимок деда с прописанием истории его борьбы.

Разумник попытался отвлечься мыслью от чудачливой внешности подвига и здраво рассудил: ведь по самой главной сути люди, подобные Степану Юхимычу, конечно, наяву внесли немалый вклад в разрушение, особенно благодаря лихой беспечности, недомыслию и многому своему числу. Участие их, пожалуй, навряд ли было решающим, хотя, ежели раскинуть мозгами, то еще как сказать? Но и то нужно иметь в виду: разве может приучить к бескорыстной мудрости тяжкий крестьянский труд...

Он поспешил домой за ответом к положенной притче, ища, быть может, в ней окончательного разрешения новой загадки. Славянский текст вышел совсем уже непонятен за давностию перевода, а потому, каков бы ни был прост русский, пришлось воспользоваться именно им:

«Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? не думаю.

Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».

Помянув про то, что в соотношении притч и их жильцов вышла заметная подвижка, смысловое смещение, Сельнокринов решил, что если в вечном писании говорилось как будто бы об обязанности человека ратовать за правду без ожидания какой-либо награды, — то в жизни речь вышла лишь об усердии скорее даже не во зле, а в разгильдяйном промысле. При

этом он еще раз обратил внимание на одно из предыдущих приточных окончаний, которое гласило: впрочем, сыны века сего догадливей сынов света в своем роде.

54. БОНАПАРТ И ЭНГЕЛЬГАРДТ. В достопамятном двенадцатом году Кременец-на-Славе был взят французским корпусом маршала Удино, направлявшимся на Петербург; однако в июне в бою у деревни Клястицы первая армия Витгенштейна остановила его дальнейшее продвижение. Кременец же до глубокой осени оставался в руках двенадцатиязыкого воинства.

На обратном пути Наполеона с ним произошел в нашем городе случай, о подлинных причинах коего историки не могут прийти в согласие и поныне. Теснимый преследовавшим его Кутузовым, к которому с севера спешил на подмогу Витгенштейн, Бонапарт, подойдя ко Славе, обнаружил на другой ее стороне поджидавшую его Дунайскую армию адмирала Чичагова и понял, что попался в ловушку.

Седьмого ноября Чичагов даже издал в Минске приказ о его возможной поимке: «Наполеонова армия в бегстве. Виновник бедствий Европы с нею. Мы находимся на путях его. Легко быть может, что Всевышнему угодно будет прекратить гнев свой, предав его нам. Поэтому желаю, чтобы приметы сего человека были всем известны. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая и волосы черные. Для вящей же надежности ловить и приводить ко мне всех малорослых».

Положение сделалось настолько отчаянным, что французские маршалы говорили про своего императора: если и теперь он сумеет вырваться, значит, ему помогает сам дьявол!

Русский же исследователь Военский писал впоследствии об этом образно: «Очень богатые люди, промотав все свое состояние, некоторое время еще роскошествуют за счет былого обаяния золота и пользуются кредитом. Так и баловни счастья, потеряв благоволение капризной фортуны, заставляют богиню обернуться и послать прощальную улыбку».

С земной точки зрения глядючи, выручил «корсиканское чудовище» скорее всего весьма тонкий расчет. Собравши ветхозаветных старшин, он выспросил у них через Удино, где лучше всего переправиться, и, сказав, что выбирает переход через Славу с юга у местечка Ухолоды, заставил их при раввине поклясться соблюдать строжайшее о том молчание. Затем, отпустив лукаво на волю, он послал сделать в указанном месте лишь ложную демонстрацию, а главную переправу велел скрытно готовить гораздо севернее у деревни Студянки.

Задумка сработала как нельзя лучше, ибо тою же ночью пятеро перебежчиков — Мовша Энгельгардт (что значит в переводе с немецкого «ангельский сад»), Лейба Бенинсон и трое оставшихся безвестными,— были нарочно пропущены через французские посты и донесли все слышанное Чичагову. Тот, убежденный их словами и зрелищем демонстрации, очистил Студянку и сосредоточил армию против Ухолод; бравых беглецов он наградил тысячью червонцев каждого и представил к почетному гражданству.

Когда же Бонапарт, бросив потерявшие боевой порядок тылы, перешел благополучно Славу с гвардией и регулярными частями, горе-наводчики не только лишились наград, но и были немедленно вздернуты в петлю — да только поздно.

Погибших при взятии Кременца семь тысяч русских воинов погребли на холме сбоку от Софийского собора. Чичагову до самой смерти пеняли за излишнюю доверчивость; бранили и Кутузова за медлительность столь

необычную, что кое у кого даже сложилось мнение, будто Наполеон был нарочно выпущен целым, дабы бесхозная без него Европа не попала целиком в руки коварных англичан.

Году же в 1830-м через город проезжал природный дворянин генерал Энгельгардт, ведший баронское родословие из Швейцарии через Лифляндию, отец которого — тоже генерал русской службы — был убит как раз здесь при взятии мостового укрепления над Славою. Он обратился к старожилам, чтобы найти свидетелей последнего боя своего отца — и тут хитроплетчица судьба подвела к нему никого иного, как сына Мовши, Мордухая. С трудом можно представить себе ярость храброго воина, не только услыхавшего про «подвиг» родителя проводника, но и узнавшего в его сыне своего однофамильца!

Тогда он немедля направился на берега Невы, где в личном приеме у императора Николая добился издания указа, по которому повелено было всех многочисленных кременецких Энгельгардтов впредь именовать Энгельсонами.

А еще двадцать лет спустя посреди города, перед бывшим иезуитским костелом и коллегией, был открыт обелиск в честь грозной Отечественной войны. Он представлял собою чугунный шатер в двадцать один метр высотой и четырнадцать с половиною тысяч пудов весом, увенчанный вызолоченной луковкою-короной с крестом; на восьми его гранях ниже располагались двуглавые орлы, держащие в когтях державы. Схожие знаки были воздвигнуты на самых главных полях битв той кампании: в Бородине, Малоярославце, Красном, Смоленске и Полоцке. На открытие памятника 20 августа 1850 года прибыл лично цесаревич Александр Николаевич, будущий Александр Освободитель.

55. О НЕПРАВЕДНОМ СУДЬЕ. Завершив новую главу, Разумник принялся в качестве отдыха за еще одну стертую мудрость, но во все время чтения что-то смутно знакомое без имени копошилось на задворках его памяти, будто закравшийся в зубное дупло зловредный окусок:

«*Глаголаше же и притчу к ним, како подобает всегда молитися и не стужати си, глаголя: судия бе некий в некоем граде, Бога не бояся и человек не срамляяся. Вдова же некая бе во граде том и прихождаше к нему, глаголющи: отмсти мене от соперника моего. И не хотяше на долзе времени, последи же рече в себе: аще и Бога не боюся и человек не срамляюся, но, зане творит ми труды вдовица сия, отмщу ея: да не до конца приходящи застоит мене.*

Рече же Господь: слышите, что судия неправды глаголет? Бог же не имать ли сотворити отмщение избранных своих, вопиющих к Нему день и нощь и долготерпя от них!»

Он еще справился в словаре про то, что кроется за понятием «застоит» — это оказалось «подставлять синяки под глаза»,— и затем, крякнувши, проделал свой все удлиняющийся путь до следующей двери на противной галерейке; но она была не только заперта, а даже опечатана. Потыркавшись кругом в скорбном поиске разъяснения хотя бы у соседей — и все безуспешно,— Сельнокринов начал уже нешуточно беспокоиться о возможном нарушении всего строя векописания, с таким трудом добытого; однако наконец догадался взглянуть попристальней на клочок подписанной бумаги, пришпандоренный поверх пластилина печатью над замком — и сразу же звонко хлопнул себя по толоконному лбу.

Конечно, сам-то он был, что называется, не родственник Энгельгардту и даже не однофамилец Энгельсонам, которые кустились совсем иной ягодой на их общем поле; но тем паче отблеск, тень странного донельзя совпадения с происшествиями полуторавековой давности, павшая на его

сегодняшнюю заботу, заставили поневоле кожу летописца вскипеть незваными мурашками — ибо в искомой комнате, нынче накрепко замкнутой до нового пришествия, как раз и обитала одна из прямых ветвей древнего рода вопиющих к Вечному Судии о непрестанной перемене мест. Сейчас же здесь царило совершеннейшее безлюдье — причем о вине его он и доселе отчетливо, пусть и подспудно, ведал.

Повесть о той семье как нарочно легла проселком рядом с общей дорогою общественных метаний остатней четверти последнего во втором тысячелетии века. В самом начале оттепели, на заре шестидесятых Энгельсон-старший — тогда выпускник педагогического отделения областного университета,— женившись на однокурснице-идеалистке, отбыл в заглушное Полесье обучать дремучих полешуков уму-грамоте.

Дословно руководясь твердыми заветами почитаемого за патриарха старца Толстого, они жили чисто естественным бытием, питались молоком с овощами и ни за что не хотели использовать средства для препятствия зачатию — что, впрочем, весьма облегчалось их полным отсутствием в том забытом властью краю. Засим наплодили шестеро энгелочков, а поскольку великий Лев настаивал еще и на непременном кормлении грудью матери, ко времени переезда семьи обратно в город, совпавшему с постепенным угасанием толстопоклонничества, супруга выглядела уже двумя десятилетиями более зрело, нежели ее впавший в другое увлечение муж.

Он с той поры яростно задиссидентствовал, сведя дружбу с другомыслящими и инакolюбящими, что зачастили к ним в тихую глухомань отдыхать от превратностей столичной защиты прав. Одновременно случилось еще два невеликих по виду происшествия, которые впоследствии вызвали долгие хлопоты. По обычной неосторожности от крика и отсутствия должной заботы о себе лично папа подобрал на вокзале заманенную из далекой Вологодчины и вскоре по завладении брошенную проходимцем-художником малолетку.

Энгельсонихе же было мало различия — ухаживать за семью спиногрызами или за восемью: так, попирая законы арифметики, разница между трешкою и пятеркой заметно превосходит неравенство меж 330 и 350 рублями. Однако вовсе не то приходило на ум отца-Энгеля, хотя супружница его обратила на сие внимание лишь тогда, когда сделалось уже поздно — однажды, переходя в очередной раз от дымящейся плиты к смердящим пеленкам, она в преужасном расстройстве обнаружила мужа в засосистых объятиях босоножки-приймачки...

Скандал завершился естественным разрывом, папаша отбыл в сию самую софийскую комнатенку, где его подросший бутончик вскоре распустился в довольно-таки цепкий репей и, недолго думая, приклеился к штанам поярче, оставя неперспективного старичка наподобие сселяемой вон деревни.

Взамен сорвавшийся с цепи семьянин был подхвачен бездетной, зато очень образованной и понимающей разведенкою, но раз в неделю он всенепременно совершал посещение прежнего очага, исполняя кровный родительский долг; а дети, уродившиеся сплошь, как и положено ангельским отпрыскам, чудокиндерами, освоивши целый набор музыкальных орудий от скрипки до барабана, встречали приход отца громким согласным тушем.

Спустя несколько лет вместе с поветрием отъезжантов собрались, к вящей радости вдруг пробужденных от спячки местных охранителей, в полном составе и Энгельсоны, избравшие, впрочем, совсем не сходные точки на карте.

Папаня вдвоем со всепонимающей дамой отбыл в Новый Свет, где обосновался в единокровной среде города Бостона; старший сын, развившийся в заядлого сиониста, в самом деле уехал единственным в ту

обетованную страну, которая всем им прислала вызовы, а мать с остальными детьми перебралась в благословенную Францию. Там они все, как один, приняли христианство, второй сын прославился как иконописец, дочки повыбирали мужей от священника-серба до негра, однако родительница и самая младшенькая — поскребыш сочли выказанное смирение недостаточным и постриглись в женском Леснинском монастыре — эта многострадальная обитель снялась во время первой мировой с природного места в Привислинском крае на Холмщине, где когда-то чудесно явилась икона Богоматери, и в итоге необычайных скитаний по Европе перекочевала в северную Бретань.

Но и здесь подвиг не достигал возможностей жаждущей множайших испытаний четы; она отправилась на другой край света в самое Чили, где, не задерживаясь в столице Сантьяго, обосновалась в диком ущелье и учредила первую во всей стране православную колонию для индейских ребятишек.

За всеми перемещениями они одни не теряли память об исконном своем Кременце-на-Славе и изредка поздравляли открыткой из южноамериканской глубинки с Пасхой и Рождеством старую подругу, вековавшую хранителем краеведческого музейчика, повергая в сущий ужас местных обывателей мыслью о том, что богохранимый наш городок состоит в прямом сообщении с вотчиной чудища Пиночета.

56. ВИЗАНТИЯ III. — Дражайший Разумник, — начал третью заключительную византийскую беседу пришедший с неотвратимостью затмения Бенескриптов, — даже в самих ошибках истории следует исходить из ее внутреннего, сокрытого смысла. И именно в нем искать заложенный торопливыми строителями верный потайной ход.

Возьмем для того вновь истоком ту, первую на свете Софию. Хотя нынче она уже не храм и не мечеть, а музей, там и до сей поры есть при входе около бывших султанских дверей холодное окно, откуда неизменно сквозит ледяной ветер. А на верхней галерее с южной стороны существует двое дверей с изваяниями, одна из которых именуется дверью ада, другая же — дверьми рая. С запада находится светящийся камень, ночью испускающий свет, накопленный днем. У северных ворот нартекса стоит облицованная бронзой колонна, пребывающая постоянно влажной; посетители-суеверы, влагая палец в отверстие сквозь металл, проводят затем себе по глазам, приписывая этой воде целебную силу.

Средневековые соборы вообще — а цареградская София им всем воистину законная матерь — представляют собой сооружения вместе наглядно зримые и высоко симвóлические, об этом написано немало сочинений и издано множество книг, доказывающих, что в таком святом пространстве ничего случайного не бывает. Недаром, выстроив собор, император Юстиниан воскликнул — а историк занес в свой свиток — такие слова: «Соломон, я победил тебя!» Однако при нем же через ровных двадцать лет во время землетрясения оторвался кусок свода, рухнул на самое священное место — престол — и разбил его вдребезги; а случилось это, по преданию, в день рождения пророка Магомета.

Собор согласно народной вере охранялся лично Богоматерью, и накануне падения города, в ночь перед последним приступом, сияющий покров ее покинул константинопольскую Софию видимо для всех греков. Во вторник 29 мая 1453 года, когда пала тысячелетняя империя, православные всего мира вспоминали молитвенно Первый вселенский собор...

А отрубленная в битве голова императора Константина XI Палеолога, если верить его современнику-летописцу, была похоронена под алтарем Софии.

Между тем до остатней минуты защитников Константинополя не

покидала надежда: существовало особое предсказание, что город будет спасен прямым чудом — в наиболее отчаянный миг спустится ангел и вручит беднейшему и слабейшему из ромеев Божий меч, сказав: «Возьми его и защити им христианский род!» Род же сей собирался именно вокруг Софии, о которой торжественно изречено: «Это небо земное, престол славы, колесница херувимов и вторая твердь небесная, создание рук Божиих, зрелище и дело необыкновенное, всей земли радование — храм прекрасный и из прекрасных прекраснейший...»

Обратно, крах крестоносных походов не был ли прообразован тем, что они, не сумев удержать Палестину, разграбили Цареград и поставили на Софийский престол обнаженных продажных жен?

...И притом, для перемены исторического течения все здесь, как нарочно, готово: начиная с того, что титул Константина Одиннадцатого сам по себе предполагает приход следующего, округляющего число до апостольской полноты. Недаром этот император остался до конца не только бездетен, но даже и холост. Его родные братья — морейские деспоты Димитрий и Фома, напротив, имели детей; но первый, убоясь силы султана Магомета, отдал сам единственную дочь в его гарем, а Фома умер в Риме 56 лет от роду, оставивши двух сыновей и дочь — старший сын его Андрей был блудодей и сладострастник, женился на распутной девке и получил в наказание от судеб бездетность; второй сын, Мануил, отдался на султанскую милость еще прежде падения столицы греков и на руках обласкавших его магометан умер, не сохранив на земле корня. Единственным же отпрыском, принесшим за собою и наследие Византии, стала Палеологова дочь, сделавшаяся женой первого русского царя Ивана Третьего — и звали ее у нас Софией.

Не показательно ли еще и то, что в защите Константинополя участвовал московский кардинал Исидор — он подписал унию с Римом на Флорентийском соборе, был за это не только отвергнут, но и брошен на Москве в темницу, а затем бежал к католикам, по пути застав закатные минуты Царя всех градов. За три года до смерти империи ее столицу покинул и униат — вселенский патриарх; новый — уже противник унии, православный — был поставлен властью султана год спустя после захвата мусульманами города.

Получается, что тут само сложилось так, чтобы легче было разгадать происшедшую ошибку в движении истории, а затем и попытаться исправить ее, переиграв, как ложный шахматный ход, при ином осмыслении которого партия оказывается выигрышной.

— ?

— То есть: отказавшись принять унию, Византия неминуемо получала мощную поддержку Руси, которая непременно помогла бы ей сохранить независимость, как это не раз уже случалось в прежние века, а в награду рано или поздно происходило их полюбовное соединение вместо сомнительного приобретения нашей одинокой отчизной пустого языческого звания Третьего Рима.

Такое цельное царство и получил бы будущий Константин XII, а последствия подобного происшествия даже трудно предугадать во всей полноте. Ведь уже в пятнадцатом столетии громадная часть Европы и Азии оказывается в руках почти что всемирной православной державы! Да и Америку тогда наверняка открыли бы именно ее уроженцы — как раз сорок лет спустя после своей победы над Магометом, а то и ранее.

Глядим дальше: в шестнадцатом веке и Рим склонился бы, не имея, куда иначе деться, обратно в единство, благодаря чему был бы предотвращен раскол протестующих и просвещение с наукою не удалились бы в сторону от веры, а работали с нею согласно; в восемнадцатом-девятнадцатом промышленный рост шел бы на пользу людям, а не в угнетение, да

заодно и Китай в своем государственном раздрае рад был бы припасть ко Христу, и колонизация иных материков протекала бы скорее не из-под палки, а через катехизис. В XX отсутствовали бы мировые войны, а двадцать первый...

Погоди, сейчас я тебе сделаю самое важное признание: ведь летопись этой, настоящей и должной истории взамен неправильной и только кажущейся действительною мной уже создана; и правят в ней не постылые просчеты, а живая мысль. Там мы с тобою очень скоро должны обязательно сойтись вместе.

Начинается же она так:

«Константин с кровавым мечом в руке закричал: «Нам покровительствует Бог, мы одержим победу!» И вот ромеи бросились из ворот святого Романа, погнав захватчиков вон, а тяжелый и грозный двуглавый орел — герб Палеологов и их империи — как бы наяву снялся со знамени, воплотившего единство Византии-Руси, и, блистая солнечным золотом, будто Божье благословение повис над неприступными стенами Царьграда...»

57. О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. «Человека два внидоста в церковь помолитися: един фарисей, а другий мытáрь. Фарисей же, став, сице в себе моляшеся: Боже, хвалу Тебе воздаю, яко несмь, якоже прочии человеци — хищницы, неправедницы, прелюбодее или якоже сей мытарь. Пощуся двакраты в субботу, десятину даю всего, елико притяжу. Мытарь же, издалече стоя, не хотяше ни очию возвести на небо; но бияше перси своя, глаголя: Боже, милостив буди мне грешнику!

Глаголю вам, яко сниде сей оправдан в дом свой паче онаго, яко всяк возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется».

...Как будто дословно следуя сему совету, Разумника в следующей же комнате дозела и смирили — причем сделал это человек явно не свойский, пришлый, который, по всей видимости, лишь снял на время квартиру от исконных жильцов.

Он с ходу вылил на пришлеца вместо честного рассказа о своем бытии целый водопад недоумений и вопросов, да так много их насыпал, что, почитай, весь разговор сперва сложился из восклицаний с загогулинами на конце.

— А что такое и-пэ-ха? И и-пэ-ха-эс? Или и-пэ-цэ?!

Причем то были не самые заковыристые...

Сельнокринов мудро предложил сходить за справочным словарем, но у хозяина он уже был, как оказалось, наготове, да еще и сугубо научно-атеистический. Оттуда он и предъявил на прочтение следующее:

«ИСТИННО ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ (ИПХ) — реакц. религ.группировка кулацко-монархич.ориентации, использующая вероучение православия (см.) для враждебной социализму полит.пропаганды. Действующую русскую правосл.церковь (см.) за ее лояльность к сов.обществ. и гос. строю ИПХ объявляют «продавшейся антихристу» (см.), а себя противопоставляют ей как блюстителей «заветов» патр.Тихона (см.), как подлинных наследников «св. правосл.апостольской соборной церкви». Общины ИПХ стали возникать в конце 30-х гг. и объединяли б. членов таких распадавшихся групп, как федоровцы (см.), чердачники и т. п. Но более или менее однообразные формы орг-ции и обрядов (см.) ИПХ выработали лишь в нач. 40-х гг. в условиях вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Социальную базу этого религ. образования составляли преимущественно б. кулаки, крестьяне-единоличники, мечтавшие о реставрации бурж. порядков в деревне. В годы войны им удалось также привлечь незначит. число наиболее отсталых крестьян, гл. о. женщин.

Гл. религ. содержание проповеди ИПХ составляет христ. учение о «конце света», воцарении «антихриста» и «втором пришествии Христа» (см.). Выискивая апокалипсич. приметы «кончины мира» в современности и придавая христ. эсхатологич. учению откровенный контррев. характер, руководители ИПХ истолковывают развитие пром-ти и с. х-ва, рост культуры и материального благосостояния народа в нашей стране как свидетельства «пребывания антихриста» в мире. Они призывают верующих отказываться от труда в колхозах, на гос. предприятиях, от участия в обществ. жизни, запрещают детям посещать школу, проповедуют возможно более полную изоляцию от сов. людей как «слуг антихриста». Т. о., путь, на к-рый призывают верующих руководители ИПХ, означает одичание и вырождение. Сов. порядкам руководители ИПХ противопоставляют бурж.-монархич. порядки. Нек-рые из заправил ИПХ при этом выдавали себя за членов царской фамилии, чаще за вел. кн. Михаила.

Общий антисов. характер деятельности ИПХ предопределил мн. черт их орг-ции и обрядов. Их община обычно включает не более 10—15 членов. Возглавляются общины «старшими братьями» или «проповедниками». Богослужения (см.) проводятся тайно, в домах или где-либо у потаенного «св. источника», в лесу, и ограничиваются пением акафистов и проповедью антисов. содержания. Отрицание действующей церкви и духовенства (см.) привело ИПХ к отказу от одних церк. таинств (см.)/миропомазания (см.), крещения (см.) младенцев/ и видоизменению других /причащения (см.), исповеди (см.)/.

Ввиду антисов. и антисоциального характера деятельности ИПХ их орг-ции никогда не имели ск.-н. заметного успеха среди населения. Победа сов. обществ. и гос. строя в испытаниях Великой Отеч. войны, его укрепление и дальнейшее развитие в послевоенное время, повышение материального и культурного уровня сов. народа окончательно разбили надежды ИПХ на возможность бурж.-монархич. реставрации в стране. Ввиду этого среди руководителей ИПХ начался разброд. Одни стали склоняться к необходимости приспособления к сов. условиям жизни, другие, напротив, требуют окончат.разрыва с обществом и орг-ции общин т. н. молчальников. В целом реакционнейшие группировки ИПХ пришли к полному краху.

З.А.Янкова».

Списка статей и книг к справке не прилагалось — хотя в соседних колонках их было в достатке; Сельнокринов, руководствуясь учеными побуждениями, переворотил страницы до титульного листа и с удивлением прочел, что «Краткий научно-атеистический словарь» был выпущен не при Сталине издательством «Безбожник у станка», а в 1964-м самой «Наукой»...

Толково вникнув во всю эту неожиданную добавку к внешне знакомому миру, Разумник Васильевич честно признался: такого разбора люди ему навстречу не попадались, хотя теперь, уже зная про то да про это, поговорить с ними было бы весьма любопытно.

Собеседник его, напротив, оказался решительным в сем предприятии знатоком и первым делом пояснил, что академический ум, бестрепетно повлекшись за «политич. (см.)» ярлыками, все-навсе перепутал. Что никак нельзя мешать Истинно православную церковь ИПЦ с ИПХ — «истинно православными христианами», а в действительности одним из толков раскола, а также ИПХС, где последняя буква значит «странствующих», опять-таки того же разбора сектантов. Что совершенно зазря к ИПЦ приписывали выдуманные толки неких «иоаннитов» — почитавших святого Иоанна Кронштадтского за живого Бога, или даже «николаитов» — поклонявшихся вместо Христа убиенному императору Николаю II. И еще, что един-

ственная мало-мальски прямая книжка наших времен про истинно православных была выпущена в семьдесят седьмом году в неблизком Воронеже, ничтожным числом копий и объемом всего в полторы сотни страниц.

А наяву-то возглавитель этих последователей мучеников римских катакомб двухтысячелетней древности — архиепископ Афанасий Сахаров, выйдя в сорок четвертом году из заключения, благословил свою паству обращаться к причастию вместе со всеми православными в патриаршие церкви и ни в коем случае не откалываться, руководствуясь, впрочем, в своем поведении касательно всего остального твердой христианской совестью.

Эта самая совесть и повергла лишенных верховного возглавления людей на многие мудрования. Один, например, пустился говорить всем напропалую самую жестокую правду, за что безвылазно сидел по лагерям и в досталинское правление, и гораздо после, да так и помер там с огромною шишкой на лбу, набитой от беспрестанных поклонов и молитв за спасение России.

Другой вместе с кучкою последователей невредимо проник сквозь три цепи колючки под током, неся в руках икону Богоматери, в Серафимову Саровскую пустынь под Арзамасом, добравшись до открытого преподобным иноком живого источника, который о ту пору принадлежал уже закрытому «городу», где другой Сахаров — Андрей — как раз изобретал водородную бомбу. И будто бы потом именно от него пошел слух, что незримое присутствие святого Серафима заставило академика поглубже задуматься над духовным смыслом содеянного.

Третий — или, вернее, третьи, ибо их было довольно много,— сочли все звездные знаки, широко разбросанные в нынешнем веке по улицам страны, ее паспорта и даже деньги за сущую антихристову печать. Долгие годы это могло казаться лишь дремучею придурью, но вот не так давно кто-то в очередной раз открыл заховавшегося в сибирскую тайгу скрытника и более всего был поражен, что тот положительно отозвался о целлофановых пакетах, в которых удобно хлеб сохранять, но совсем не удивлялся летавшим над ним самолетам — поелику в Апокалипсисе точно предсказано, что незадолго до конца света небо заселят железные птицы.

Четвертые взяли за обычай на вопрос об имени отвечать лишь кратко «Иван, Божий сын», и за это бестрепетно шли по тюрьмам, где их против обычая чрезвычайно почитали даже воры и потаскухи. Стоя в наказание за отказ работать на христианские праздники в студеной воде по колено, не исключая женщин, они в будние дни исправно шили изготовляемые почти сплошь по колониям грубые рабочие перчатки об одном персте, но и тут своего долга обращать заблудшие души не оставляли. А поскольку подручных средств для того было в обрез, они удачно пользовались и тем, что попадалось — скажем, на снимок Брежнева с первой газетной полосы прилепляли заголовок «Народ требует — долой угнетателей!» с третьей и тихонько вкладывали внутрь каждой новой рукавички. Выходя ненадолго на свободу, они точно такие же листовки бросали по почтовым ящикам, но и здесь следует обязательно отделять такого рода творчество при помощи как бы трофейного оружия от дурацких и яро сектантских «святых писем», с коими православная церковь боролась еще с конца прошлого века. Нужно еще непременно отметить, что истинно православные были, пожалуй, единственными, в чьей среде подавляющее большинство, а точнее сказать — все участники принадлежали к так называемому «простому люду».

Из песни, как издавна заповедано, не выкинуть и горького слова. Поэтому придется назвать среди них и таких, как кочегар Клёнов, подлинный бич Божий, который не обинуясь кликал всякий патриарший храм задни-

цей Сатаны, указывая на блестящий купол и творящееся под ним бесчиние. Он устраивался обычно на воле истопником, в каковых всегда имеется приходская нужда, исподволь разведывал про грехи клириков и двадцатки, а потом в один ясный день, спокойно отстранив от чтения по бумажке проповеди напуганного вусмерть батюшку, выступал на амвон и, перекрестясь, излагал начисто всю подноготную. За это его неизменно отправляли в отсидку; он покорно отбывал срок, выходил и вновь повторял свой единственный подвиг. А там и вовсе ради острастки перестали выпускать, наматывая новые статьи, как иногда грубо говорится, не вынимая.

Сообщивший все эти жутковатые новости Сельнокринову человек и сам в видах изучения народных нравов побывал в Саровской пустыни как раз на день памяти преподобного Серафима — первое августа григорианского календаря, где повстречал даже шедших туда шесть мясяцев пешком из Сибири паломников. Русь эта оказалась на поверку вовсе не уходящая, а ходячая, упрямая и грамотная на свой особенный лад. Но первые же расспросы в лоб про истинных христиан воздвигли вокруг ученого нетерпеливца стену умолчания.

Теперь ему кто-то под рукою посоветовал отыскать тайного их патриарха в заглушном Полесье, по ту сторону от Софии и Славы. И поэтому он на всякий случай еще в другой раз попытал у Разумника: не попадались ли тому на его полувеку схожие люди?

Тут у Сельнокринова сработал врожденный окорот: он с одной стороны крепко задумался, ибо под многие признаки изъясненного кое-кто действительно по долгом размышлении подходил; однако на сей вопрос некто, стоящий на страже души, даже не спросясь ее хозяина, тотчас твердо отозвался неведением.

— А вам это вообще-то зачем? — осторожно осведомился он взамен.

— А тебе это, наверное, вовсе не любопытно? — брошено было в ответ.

...Перечтя по приходе домой еще раз учительную премудрость, он решил окончательно, что в нынешнем ее продолжении что-то определенно съехало набок. Ибо кто тут был фарисей и кто мытарь — то есть презренный сборщик податей с ближнего, взявший ту постылую обязанность на откуп у государства,— решить сделалось попросту невозможно. Впрочем, его даже более заняло звание первого, и, справившись в расширенном словаре, он с удивлением обнаружил, что изо всех современных Иисусу вероучений наиболее близкими ему по духу были как раз фарисеи, а также родственные им книжники.

58. ТАКОВА ИМАМ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА! Когда после высылки иезуитов в 1822 году в коллегии поселились пиары, среди них открылось отделение польского студенческого общества люциферистов (лучезарных), главное правление которых находилось в Вильне. Оно состояло как бы из двух ярусов: нижний звался союзом филаретов (по-гречески — любителей добродетели), занимавшихся в основном благотворительностью, просветительством и помощью своим неимущим собратьям. Их кружками скрыто руководил верхний слой — филоматы (любители наук), погруженный в более ответственные, но гораздо менее известные работы и исповедовавший изобретенную поляком Фомою Заном «теорию лучей».

В 1826 году в главном городском трактире была обнаружена на стене стихотворная надпись с призывом: «Товарищи! Да истребим императорскую фамилию!» Сочинитель ее был скоро сыскан: им оказался дворянский недоросль и ученик пиаров Осип Добошинский. Это повлекло усиленные подозрения всего ордена в противогосударственной деятельности; а после

восстания 1830 года училище было и вовсе упразднено. Здания бывшей коллегии перешли в казну, которая открыла в них в 1835-м кадетский корпус.

Тремя годами ранее Спасо-Евфросиниев монастырь был также возвращен от пиаров православным, которые и освятили его на следующее лето.

Время это совпало с народным движением за выход из насильственной унии и воссоединение природных славян с православием, которое возглавил униатский священник Иосиф Семашко. Будучи отпрыском древнего русского иерейского рода, он воспитывался подобно множеству своих современников в римско-католической виленской семинарии, что в отличие от Иоасафата Кунцевича привило ему отнюдь не тягу к папству, а, напротив, лишь еще больше убедило в правоте исконной веры. Двадцати четырех лет от роду он отправился в 1822 году в Санкт-Петербург заседателем в департамент духовной коллегии, управлявший всеми униатами империи. Твердо решив возвратиться вместе со своим народом в лоно вселенской церкви, Иосиф, однако, долгое время ничего не мог для этого предпринять из-за упрямого европеизма царя Александра и даже подумывал о том, чтобы, оставив затею спасти всех прочих, одному принять постриг в Александро-Невской лавре.

Положение переменилось со вступлением на престол Николая Первого. Осенью 1827-го Иосиф лично подал самодержцу записку о положении униатской церкви на западных землях Руси и о возможности ее воссоединения. С 1829-го он был поставлен епископом и еще десять лет вел свою упорную борьбу. Семашко развивал просвящение, очищал обряды от католических привнесений, неустанно ослаблял козни базилиан. Вместе с тем ему приходилось воевать на две стороны — не только против папских притязаний, но и против скороспешных попыток провести соединение насильно (как его век спустя с присущим ему зверством к человеку и презрением к вере насадил на Западной Украине и в Закарпатье Сталин). Раздраженный донельзя неумелыми действиями среднего разбора чиновников, епископ Иосиф неоднократно хотел забросить все предприятие — но всякий раз, вспоминая долг служения людям, возобновлял его опять.

Наконец, получив подписи 1305 духовных лиц, он созвал в Неделю православия, 12 февраля 1839 года в кременецкой Софии церковный собор, на котором в присутствии епископов и иереев было принято единогласное решение о расторжении унии. В тот же день, подав должное прошение императору, три архиерея совместно отслужили в храме обедню, за которой в качестве первоиерарха поминался уже не римский папа, а «все православные патриархи, митрополиты и епископы». На акт собрания дал свое согласие Священный Синод, а царь Николай в праздник Благовещения написал на нем «Благодарю Бога и принимаю». Так совершилось присоединение более полутора миллионов прихожан и 1607 приходов — безо всякого возражения.

Иосиф Семашко стал впоследствии митрополитом и еще тридцать лет трудился на своей ниве, основав среди прочего до двух сотен народных школ. Его жизнеописатель граф Д. А. Толстой писал: «Призадумается будущий историк: как в самом деле один неизвестный, бедный униатский священник в десять лет уничтожил то, что создавали в продолжение столетий могущественные папы и, быть может, еще более их могущественный орден иезуитов, столько польских королей, вся польская аристократия... Мог ли все эти силы сокрушить один человек — луцкий униатский каноник, хотя и поддерживаемый императором? — Нет! Разгадку надо искать в глубине прошедшего: уния была навязана русскому народу насилием и обманом».

В то же время иезуитский костел, заложенный в 1745-м Стефаном

Баторием на месте православного храма 1579 года во имя святого первомученика Стефана, был превращен в городской православный Николаевский собор. В 1840-м возродился и Спасо-Евфросиниев монастырь, а на следующий год в день памяти преподобной Евфросинии, 23 мая, в ее сохранившуюся келью на хорах собора обители возвратился и знаменитый крест — в честь чего был установлен ежегодный крестный ход из всех церквей города к монастырю Спаса. Вскоре крест отправился путешествовать в Петербург и Москву; на Москве он с пяти утра до десяти вечера пребывал в Успенском или Архангельском кремлевских храмах, выставленный для всенародного поклонения, а по ночам кременецкий епископ Василий Лужинский возил его по приглашениям в дома больных и недужных.

Выбита была и особая памятная медаль. На одной ее стороне изображен сияющий крест с надписью по сторонам «Торжество православия 25 марта 1839 года»; а на другой — Нерукотворный образ Спасителя со словами «Отторженные насилием (1596) воссоединены любовию (1839)» внизу и выдержкой из послания апостола Павла к Евреям вверху: «Такова имам первосвященника!»

59. О ДЕСЯТИ МИНАХ. Засидевшись целых два дня над упразднением бессердечного союза первого Рима с третьим, Сельнокринов изрядно припозднился с посещением следующего по чину современника, а потому, дабы не прерывать налаженный распорядок векописания, направился вперед уже в самый темный вечер. Боясь с одной стороны нарваться на крутой отказ за действительно поздним часом, он даже не стал заблаговременно изучать соответствующее случаю нравоучение, а захватил с собою карманное Евангелие, отметивши в нем указанные приточной рукописью стихи от Луки.

Еще не войдя в намеченные для опросного дела двери, Разумнику Васильевичу довелось столкнуться с жестоким разочарованием: вместо имени жильца или хотя бы нежильца там красовалась охранительная дощечка «Опорный пункт», указывавшая на то, что помещение занято дружинниками, или, как их еще иногда кличут среди людей, красносотенцами.

Впрочем, медлить уже было нельзя, и он постучал сколько мог вежливо, а потом сразу, не ожидая разрешительного ответа, вступил.

Внутри точки опоры скучал одинокий рядовой-постовой, теребивший от нечего делать витой шнур кокнутого телефона. Напротив него расположился погрудный заборчик, вроде бы внешне вовсе не приметного свойства, но всякий хоть раз побывавший здесь отчетливо знал, что он будет пострашнее и государственной границы, ибо пусть вовне спокойно жирует гульливая воля, а попавший за переборку несчастливец, незримо превратясь в «задержанного», тотчас теряет все права человека. Нынче там, однако, было покуда что пусто — охота еще, видать, лишь начиналась, но теплая вешняя ночь сулила удачу. Стены же, как и следовало ожидать, были вымалеваны зеленою масляной краской под ноль.

Разумник вежливо сообщил молодому «начальнику», что пишет историко-краеведческий очерк про дом и потому спрашивает в пределах дозволенного: не помнит ли кто, какие личности вековали тут до учреждения «пункта». Тот, хотя и подивился заметно бесполезному занятию, по счастью за иноземного разведчика старожила Сельнокринова все же не принял и вяло пообещал, что кое-что можно узнать у вышедшего на ловитву сержанта Прохорова, который служит здесь с самого что ни на есть основания.

Разумник Васильевич здраво рассудил, что повторно наведываться сюда навряд ли будет приятно, да и подозрения еще не ровен час возбу-

дишь, а потому попросил дозволения обождать не выходя. И оно было со вздохом дано: вдруг да шальной гражданин сойдет в случае чего за понятого.

Сельнокринов скромно уселся кончиком задницы на край стула, гулко крикнувшего в ответ своими больными сочленениями, и приступил к чтению:

«Человек некий добра рода иде на страну далече прияти себе царство и возвратитися. Призвав же десять раб своих, даде им десять мнас и рече к ним: куплю дейте, дондеже прииду. И граждане его, ненавидяху его, и послаша послы в след его, глаголюще: не хощем сему, да царствует над нами.

И бысть, егда возвратися, приим царство, рече пригласити рабы тии, имже даде сребро, да увесть, какову куплю суть сотворили. Прииде же первый, глаголя: господин, мнас твоя придела десять мнас. И рече ему: благо, рабе добрый, яко о мале верен был еси, буди область имея над десятию градов. И прииде вторый, глаголя: господин, мнас твоя сотвори пять мнас. Рече же и тому: и ты буди над пятию градов. И другий прииде, глаголя: господин, се мнас твоя, иже имех положену во убрусе. Бояхся бо тебе, яко человек яр еси: веземлеши, его же не положил еси, и жнеши, его же не сеял еси. Глаголя же ему: от уст твоих сужду ти, лукавый рабе: ведал еси, яко аз человек яр есмь, вземлю, его же не положих, и жну, его же не сеях. И почто не вдал еси моего сребра купцем, и аз, пришед, с лихвою истязал бых е. И предстоящим рече: возмите от него мнас и дадите имущему десять мнас. И реша ему: господине, имать десять мнас. Глаголю бо вам, яко всякому имущему дастся, а от неимущего и, иже имать, отымется от него. Обаче враги моя оны, иже не восхотеша мене, да царь бых был над ними, приведите семо и изсецыте предо мною».

Здесь же на полях благовестника обязательный Бенескриптов не опустил пояснить: мнас — это мина, то есть фунт серебра. В начале текущего века она стоила около восьмидесяти рублей, а нынче четыре сотни; впрочем, таково же — один к пяти — было в среднем до последнего времени и соотношение всех до- и послеоктябрьских цен.

Не успел он, однако, задуматься как следует над внутренним смыслом иносказания — начиная уже с того, что весьма схожее присловие как будто бы уже попадалось в своем, родном ярусе собора, хотя и не в точном повторе,— как двоица дюжих охранников втолкнула насильно внутрь щупленького парнишу в белых башмаках и, запыхавшись от бега, выдрала у него из рук пару мешков.

— Ты чего это от нас бёг, а? — зло закричал один, отдуваясь еще от гонки.

— А вы чего за мной погнались? — толково ответствовал пойманный.

— Хорош полоскать. Что внутри?

— Макулатура.

— Откуда?

— Я в типографии подрабатываю, в ночную. Вот и взял бумажки ненужной сдать на талоны.

— Открывай...

Юноша нехотя развязал узел, откуда повалились почти что совсем готовые томики, склеенные и сшитые — только без переплета.

— Эт-то что такое? Книги?!

— По-вашему, может, и книги, а для нас так — обрезки.

— Кто написал? — строго вопросил старшина, листая одну сплотку с конца в начало.

— Гомер.

— Какой-такой герр?

— Говорю — Гомер.

8 Н. Паламарчук

— И сколько тут этого гомика?
— Да штук двадцать...
— Давай раскрывай второй.
Там было нечто похожее, но несколько тоньше.
— А это какой гер?
— Флобер.
— И сколько другого хера?
— С десяток.
— Так,— преспокойно рассудил ловильщик.— Значит, украл. Вора, выходит, поймали. Ну, садись, будем протокол составлять.
— Вы что, командир?! — взвопил бедолага.— Я ничего не крал! Я брак взял, то есть ненужное скоммуниздил!
— А какая разница?
— Как какая? Вы че, ваще?! За украл ведь срок дадут; а коммуниздить — дак этим же все занимаются...

Довольные даровым развлечением чины захохотали, а Разумник Васильевич поспешил наконец удалиться, покуда и вправду не заставили ждать написания телеги, дабы ее подмахнуть в ответственном звании свидетеля. Осведомившись у дежурного, что это не попытка задержанного тихо смыться, его милостиво выпустили на волю.

60. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕВФРОСИНИИ. Вскоре после прекращения унии был поднят и вопрос о переносе мощей преподобной Евфросинии из Киево-Печерской лавры обратно в родной город. Ходатайство о том возбуждал еще местный епископ Василий Лужинский, который возил ее крест в обе имперские столицы; его поддержал и начальник Северо-Западного края граф Муравьев. Митрополит Филарет Московский также писал: «Можно признать благословным, чтобы мощи преподобной Евфросинии перенесены были из Киева и чтобы почивали в обители, в которой она подвизалась».

Дело, однако, подвигалось довольно медленно: в 1870 году была возвращена лишь частица честных останков. В 1892-м церковное братство святителя Николая и преподобной Евфросинии при поддержке всей епархии собрало под новым прошением много тысяч подписей, но, видно, час окончательного решения еще не пробил.

А между тем изрядно поменял свой образ и весь город. Если в шестнадцатом веке он считался богаче даже Вильны и имел сотню тысяч населения, то в 1780-м в нем было всего 360 деревянных гражданских зданий и не оставалось ни единого каменного при населении в 437 христиан и 478 иудеев. К приходу Наполеона число жителей возросло до 4332, но жестокий корсиканец сделал ему вновь превеликий разор и укорот.

В 1891 году ставший заглушным местечком Кременец-Славянский довел количество оседлых жителей до 20 321: в нем оказалось 9433 христианина — 6989 православных, 204 единоверца, 407 раскольников, 1534 католика, 299 лютеран; один магометанин — и 10 797 евреев. К первой всероссийской переписи 1897 года жителей стало больше на 430 душ, и все они делились еще на 9957 мужчин и 10 794 женщины. Наибольшее внимание среди прочих строений привлекали, конечно, храмы: три православных монастыря и девять приходских церквей, церковь единоверцев, деревянная раскольничья моленная, каменные костел да кирка и 23 синагоги — пятеро кирпичных и девятнадцать бревенчатых.

За все восемьдесят два года своего существования кадетский корпус дал стране около трех тысяч двухсот кадровых офицеров.

В 1905 году, когда сюда достигли отголоски столичных бунтов, была предпринята попытка сделать и некое возмущение местного рода, однако недовольные обыватели собрались крестным ходом у кадетских стен, про-

шли по главной улице с пением государственного гимна — и вопрос был на двенадцать лет начисто снят.

Вскоре после этих событий на миссионерском съезде в Киеве, куда съехалось три десятка владык под руководством волынского архиепископа Антония Храповицкого, и было принято согласное решение просить об окончательном возвращении мощей праведницы на родину, которое утвердил сам царь.

После семи веков покойного пребывания в киевской Лавре 19 апреля 1910 года, в понедельник Светлой седмицы, мощи были изнесены из дальних пещер и по совершении пасхального всенощного бдения положены в Великой церкви. 22-го их обнесли кругом собора и через святые ворота под колокольный звон доставили к днепровской пристани, где ждал особо наряженный пароход. На нем, под торжественным балдахином, с иконами и хоругвями вокруг, цельбоносные останки Евфросинии проплыли вверх по реке до Орши, откуда их уже на руках понесли дальше.

20 мая перезвон во всех городских храмах возвестил о приближении хода, встреченного местным духовенством соборне с киевским митрополитом на челе. Мощи были сперва положены в Никольском соборе, затем перешли в Святую Софию.

22 мая в четыре часа пополудни, после окончания литургии, послышался новый благовест, и крестные ходы двинулись в Спасский монастырь. По всему пути были воздвигнуты живописные арки, надпись на последней из коих гласила: «Гряди, радосте наша, преподобная Евфросиние!» На следующий день открылось торжественное заседание Спаса-Евфросиниевского братства, а для простого народа были предложены просветительные чтения с «туманными картинами».

На празднестве от императорской семьи присутствовала известная благотворительница, старшая сестра царицы великая княгиня Елисавета Феодоровна, сама впоследствии удостоившаяся крестного венца — и неким ответом небес видится то, что ее собственные святые останки в конце концов упокоились в выстроенной ею церкви того самого города Иерусалима, где отошла к Богу Евфросиния.

Получено было и личное послание Николая II, завершавшееся такими словами: «Проявившийся же в незабвенные дни перенесения честных мощей Ея дух благовестия в народе, притекавшем в великом множестве на поклонение преподобной, да послужит в назидание и тем, кто, в житейской суете и душевном смятении, готовы покинуть спасительный путь истинной Православной веры».

В день возвращения мощей в обитель безнадежно больная лежачая инокиня была внесена в Крестовоздвиженский храм — новопостроенный в византийском стиле просторный второй собор монастыря — и, припав к святыне, получила полное исцеление. Для убеждения сомневающихся это удостоверил безуспешно лечивший ее прежде статский советник и доктор медицины А. М. Мансветов.

Обо всем этом событии была выпущена небольшая памятная книжица, на обложке которой рядом с изображением лика напечатан и тропарь осьмого гласа посвященной Евфросинии службы, в коем поется:

«Приимше бо крест, последовала еси Христу, деющи учила презирати плоть — преходит бо; прилежати же о души — вещи безсмертней».

61. О ДОМЕ, ПОСТРОЕННОМ НА КАМНЕ. Тридцать первая по порядку притча, согласно положенному во вступлении ко всему собранию указателю, начинала собою следующий их разряд. Все предыдущие встречались только у одного из трех первых евангелистов; теперь же шли три, почти

что совпадающие по изложению у двух — и, наконец, последние семеро имелись у Матфея, Марка и Луки разом.

Сличив расхождения, Разумник Васильевич славянский извод предпочел по Матфею:

«Всяк убо, иже слышит словеса Моя сия и творит я, уподоблю его мужу мудру, иже созда храмину свою на камени; и сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и нападоша на храмину ту — и не падеся, основана бо бе на камени.

И всяк, слышай словеса Моя сия и не творя их, уподобися мужу уродиву, иже созда храмину свою на песце; и сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и упрошася храмине той — и падеся: и бе разрушение ея велие».

Но новороссийскою речью внятнее, на его макар, сказано было в благовестии Луки:

«Всякий приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен: он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне.

А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».

После же прочтения взошел ему на ум вот какой горестный помысел, навеянный размышлениями о судьбе собора-коммуны: сколько веков складывался церковный обиход, покуда не приобрел некую неподвластность времени, как бы выводящую через свое простое повторение поверх преходящего, тленного в мир вечных истин. А вот новая, от-мира-сего обрядность что-то никак не может толком утрястись — и это он вполне ответственно мог утверждать, четверть века прокуковав на «записях актов гражданского состояния»...

Обуреваемый подобными мыслями на самой грани крамолы, Сельнокринов свободно, запамятовавши даже постучать для прилики, вступил за следующую по распорядку дверь, но там все было вовсе безлюдно и пусто. Слепо потыркавшись по углам места, явно не только соседнего, но и родственного по своей казенности «пункту опоры», он случайно толкнул пальцами скрытую за общей бирюзовой окраской калиточку, которая вывела его на висячий балкон, паривший поверх помещения, расположенного зеркально по отношению к бару-ресторану «Русь» в другом бывшем церковном приделе. Нынче там, впрочем, шла не служба и не кормежка-выпивка, а протекало заведенным путем одно из бесчисленных собраний.

В другой час оно ничего, кроме душевной отрыжки, у Разумника — да и у всякого почти обычного человека — так и не вызвало бы. Но теперь, попав на нежданную высоту не только вещественную, а и векописную, он смог избавиться от шор привычного зрения, которое не столько видит, сколько старается не замечать обрыдлой современности, и взглянул на обновленный чин умытым водою тысячелетия оком.

И тогда в первую голову сознался, что был весьма далек от правды, сетуя на недостаточную связь обряда христианского и гражданского. Преемственность не то что оказалась тут налицо, она прямо-таки била в глаза, но только глаза зрителя свежего и непредвзятого.

Вкратце теперешнее служение делилось на следующие отрезки. Сперва была исполнена священная песнь, в которой кратко излагалась картина всеобщей истории, резко разламываемой на две противные половины; при наступлении нынешней, то есть второй, дочиста разрушается первичный порядок, и миром завладевает тот, кто от века заклеймен проклятием — преждебывший Никто.

На всем протяжении чина участвующие, в отличие от православных, по большей части сидели, вскакивая лишь в особо торжественных местах вроде предначинательного гимна или приветствия главного предстоятеля с дружным плесканьем руками. Однако сообразительный Разумник припомнил, что ради долготы богослужений скамьи точно так же бытуют и у беспоповских раскольников, и у лютеран с баптистами.

Вместо алтаря действо совершалось на трибуне, с которой служители говорили лицом в зал, обращая свой зад к иконостасу. Последний представлял собой одну статую, затем профильное изображение мужской троицы и, наконец, канонизированные прижизненно лики ровным числом тринадцать; однако за причисление прежде кончины к сонму избранных, как ведал внимательно проживший свой полувек Сельнокринов, они почти поголовно еще в земном бытии подлежали полной деканонизации.

Служба состояла из сплошных проповедей, что сближало ее с протестантством крайних толков, заметно удаляя от русского христианства, в котором слова «по поводу» иногда вообще исчезали на целые века. Ссылаясь в речах на символические общепризнанные тексты, теперь принято было называть не только книгу и главу, но также порядковое число издания, а вместо стиха приводить нумер страницы. Весьма схожим оказалось и то, что в своих построениях проповедники не упоминали окружающей действительности, принимая вместо нее за подлинную реальность идеальный мир, прозреваемый в будущем.

Имевши терпение усидеть до конца, Разумник Васильевич дождался даже жертвоприношения. Какого-то находившегося во временном отлучении грешника за новый проступок против канонов заставили прилюдно каяться, а затем общим хором навсегда исключили из общины посвященных. Пораженный ударом, он был унесен. Как выяснилось, храм нововерия не обладал правом убежища. В константинопольской Софии тщедушный старичок — Патриарх Фотий, невзлюбленный всемогущей императрицею Феодорой, три года прожил в крещальной купели — и его никто не посмел тронуть. Здесь этого изъятия из закона мести в пользу милости не существовало.

И еще более резко заметно было отсутствие какого-либо понятия о главной вещи, служившей ранее неиссякаемым источником всех религий: никто и слова не молвил про смерть. А ведь Разумник читал, что в Византии сам василевс, входя в Софийский собор на Пасху, нес в левой руке мешочек пыли — знак памяти о собственной бренности; а в правой имел знамение воскресения — святой крест.

Донельзя удивленный столь очевидным упущением, быть может, и послужившим резкому сужению сферы воздействия новообрядства, Сельнокринов в некоторой надежде на помощь извне в разрешении все накапливавшихся недоумений заглянул перед сном в соседнюю со своей исконной кельицей — где теперь разве лишь коротко ночевал, — обжитую по-хозяйски Бенескриптову «летописную». И точно, будто всезнающий дух, тот доставил на стол прелюбопытный образчик первых времен зарождения современных канонов — путеводитель некоего Шебуева под названием «Москва безбожная», вышедший из печати в одна тысяча девятьсот тридцатом году после Рождества Христова. Заложив в нем огрызком газеты полезное место, Платон Любимович, однако, многозначительно удалился, оставив собрату-писателю самому вникнуть, а затем и занести в свою хронику следующее откровение:

«ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПИОНЕРОМ ПО ЧАСТИ КРЕМАЦИИ В СССР.

Трупосжигание существовало у таких культурных народов, как римляне, греки, евреи, японцы, но было привилегией богатых и знатных. Так, для трупа Патрокла костер был в 100 шагов длиной и шириной! Костер тушили вином... Лишь в СССР кремация так дешева, что доступна всем.

Крематорий — кафедра безбожия. Церковь Серафима Саровского на новом кладбище Донского монастыря была начата в 1905 году, но скоро попала под запрет Синода: монастырь построил в ней шесть рядов склепов по 50 штук в каждом, но по каноническим правилам нельзя хоронить одного человека над другим. Церковь простояла так 20 лет, словно для того, чтобы совершить еще большее с точки зрения тех же православных канонов кощунство — трупосожжение.

У первобытных людей сожжение было религиозным способом погребения, в наши дни — оно является антирелигиозным актом. Церковь со времени рескрипта Карла Великого, запрещающего трупосожжение под страхом смерти, вот уже тысячу лет считает этот способ погребения языческим. Усыпальница превращена в крематорий по проекту архитектора Осипова, поместившего в первом этаже вестибюль, два зала ожидания, зал для прощания, катафалк, возвышение для оркестра, кафедры для ораторов и служителей культа (тут внимательный Сельнокринов проставил в тексте значок «зри», а против него на полях записал вопрос: которого именно?) — и кулумбарий, то есть зал с урнами по бокам. Сам процесс безогненного сожжения не в пламени, а в горячем воздухе происходит в подвальном этаже. Там две кремационные печи, калорифер, дезинфекционная камера для хранения трупов, анатомический кабинет, кабинет врача, раздевальня, душ, слесарно-механическая мастерская для запаивания урн с пеплом и другие служебные комнаты.

Особенно остроумно устроен лифт, поднимающий из морга гроб с покойником для обряда прощания и затем медленно опускающий его вниз и плавно вдвигающий в жерло печи. В зале много света, цветов, торжественно звучит оркестр, чисто, красиво, в чинном порядке расставлены ряды стульев...

Часто вы слышите, что новому быту не хватает той праздничной обрядности, которой так действует на «уловление человека» церковь. Красное крещение — «Октябрины», красное бракосочетание — ЗАГС,— еще выработают красивую обрядность; а вот уж обрядность красного огненного погребения куда больше впечатляет и удовлетворяет, чем зарытие полупьяным могильщиком под гнусавое пение попа и дьякона в сырую, часто хлюпающую от подпочвенной воды землю, на радость отвратительным могильным червям.

Для полного сжигания человеческого трупа и получения белых, чистых, обезвреженных, легко распадающихся в порошок костей и пепла необходима температура в 860—1100 градусов Цельсия и 75 минут времени. Московский крематорий за рабочий день может совершить 18 сожжений. Какое это облегчение для Москвы!

Всего удобнее посещать крематорий по воскресеньям, когда спец дает подробные объяснения».

62. МАЯТНИК ФУКО НА СВЯТУЮ СОФИЮ! У исследователей историо — Софии — то есть тех, кто в отличие от бытописателей занимается изысканиями о сердцевинной сути происходящих событий,— есть особое учение про то, что девятнадцатый век начался за двенадцать лет до своего календарного отсчета с мятежа во Франции и окончился еще на четырнадцать годов позже громом августовских пушек первой мировой войны.

И с самого ее первого раската Кременец попал в средоточие боевых действий; сюда очень быстро подступила прифронтовая полоса, в связи с чем кадетский корпус перевели в глубь Украины, а внутри его зданий открылся взамен обширный госпиталь — раненых в нем было столько, что пришлось провести от вокзала отдельную узкоколейную ветку, по которой впряженные в вагонетки лошади везли увечных целыми составами.

Город заполонили всякого разбора штабы, управления, появился даже аэропорт с ангарами; новая железная дорога через Псков связала его напрямую с Санкт-Петербургом.

...Вскоре после вырванного на псковском вокзале у Государя отречения в жизни города на Славе наступила смутная пора сущей семибоярщины. Уже на следующий день, 3 марта семнадцатого года, появившаяся из бунтующей северной столицы кучка знатоков принялась наставлять местных солдат и обывателей, как ради немедленного достижения вящей свободы разоружить полицию и жандармерию. Однако сперва не сильно качнувшиеся влево войска избрали председателем Совета солдатских депутатов начальника своего гарнизона. Но затем солдатский совет слился с рабочим, и внутри этой двоицы затеяли свою обычную безответственную чехарду местночтимые эсеры, бундовцы да меньшевики. Их общими стараниями шажок за шажком стали меняться не только настроения умов или имена общепринятых ранее понятий, но и содержание тех, которые как будто бы оставались покуда внешне неприкосновенными: так, патриот назывался уже социал-шовинистом, а пораженец патриотом; рядом с ними возникли схожие двухголовые гидры вроде «социал-предателя» или даже «социал-прохвоста».

Когда вскоре произошло новое гражданское смятение, прежде обыкновенно клеймившееся «Корниловским мятежом», а теперь, как выяснили дотошные изыскатели, представляющееся скорее напрасно затеянной Керенским паникой,— в городе в качестве революционного ответа на происки реакции был немедля заарестован доживавший свой век на покое 67-летний старик, бывший ярославский губернатор и член правления всероссийского Союза русского народа сенатор Римский-Корсаков.

После октябрьского переворота в Кременце еще дней двадцать большевики вели прение о власти с другими партиями социалистического направления, покуда 18 ноября военно-революционный комитет попросту не сместил командующего стоявшей здесь Третьей армии генерала Парского и начальника гарнизона генерала Нечаева, заменив их более подходящими по его соображению подпоручиком Анучиным и солдатом седьмой автороты Чутковым соответственно. Объединивший уже три сословия Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов возглавил большевик Коган. А такой же соединенный ревтрибунал тотчас прямо с января восемнадцатого принял к производству целый ряд дел «контрреволюционного характера».

Но двадцать пятого февраля подошли регулярные немецкие части, заняли без боя полностью разложившуюся базу Западного фронта и на целых девять месяцев водворили в Кременце порядок по тевтонскому образцу; всеми делами гражданского населения при них ведала восстановленная городская управа.

Однако летом следующего года у них загорелся свой собственный дом, и в июне девятнадцатого они очистили город. Красная власть в знак победы закрыла по возвращении Софийский собор для богослужения, создав в нем музей, который, правда, скорее служил складом, куда свозились реквизированные по всей губернии церковные ценности.

Прошло лето, и в сентябре ко Кременцу вплотную подступили теперь уже поляки, захватившие всю левую сторону Славы; восемь месяцев прямо поперек многомученика-города шла позиционная война между красноармейцами и легионерами.

Поляки удалились в мае 1920-го, и в ознаменование нового одоления супостата внутри собора-музея был установлен некогда знаменитый прибор по имени «маятник Фуко». Он представлял собою повторение опыта, проделанного в XIX столетии под куполом парижского Пантеона известным физиком: в вышине свода подвешивалась длиннющая веревка

с тяжелым шаром на самом конце, который едва не касался пола. Раскачанный шар этот безо всякого к нему прикосновения постепенно смещался в своих колебаниях от нарисованной внизу оси, с настырной очевидностью предъявляя изумленным оболтусам наглядное доказательство вращения Земли и, следовательно, всеобщей удобоподвижности окружающего нас мира. После свержения самодержавия по Руси пронеслось целое поветрие приспосабливать затворяемые обители мракобесия под такого рода естественнонаучные гнезда для перевоспитания дремучих сограждан, и почин ему был положен в Исаакиевском соборе Петрограда.

Любопытно, что именно в ту же пору совершала по свету не столь шумное для слуха, зато гораздо более сокрушительное для подобного пошиба мировоззрения шествие теория относительности, согласно которой для точного знания нет разницы — движется ли Земля вокруг Солнца или Солнце кругом Земли.

Не будучи человеком технического склада, последние из изложенных выше неожиданных мыслей Разумник почерпнул из нарочно доставленной своим скрытым путеводителем Платоном книжки математика, философа и богослова отца Павла Флоренского, вышедшей в соседние с описываемыми годы, а точнее в 1922-м, в Москве под названием «Мнимости в геометрии» и снабженной рисунками художника Фаворского.

Принцип относительности, говорилось в ней среди всего прочего, бросает «неожиданный пучок света на средневековое представление о конечности мира», ибо «с точки зрения современной физики мировое пространство должно быть мыслимо именно как пространство эллиптическое и признается конечным, равно как и время — конечное, замкнутое в себе».

Специальный принцип относительности, пишет далее ученый священник, внешнюю правоту которого признала современная наука переизданием на разных языках множества его работ, а внутреннюю истину доказал он сам мученической гибелью на Соловках в тридцать седьмом, «утверждает, что никаким физическим опытом убедиться в предполагаемом движении Земли невозможно»; иначе говоря, теория относительности «объявляет систему Коперника чистой метафизикой» в самом порицательном смысле слова...

Нет и принципиально н е м о ж е т б ы т ь доказательств вращения Земли, и, в частности, ничего не доказывает пресловутый опыт Фуко: при неподвижной Земле и вращающемся вокруг нея, как одно твердое тело, небосводе, маятник так же менял бы относительно Земли плоскость своих качаний, как и при обычном, Коперниковском предположении о Земном вращении и неподвижности Неба. Вообще, в Птолемеевой системе мира, с ея хрустальным небом, «твердью небесною», все явления должны происходить так же, как и в системе Коперника, но с преимуществом здравого смысла и верности земле, земному, подлинно достоверному опыту, с соответствием философскому разуму и, наконец, с удовлетворением геометрии.

Но было бы большой ошибкой объявлять системы Коперниковскую и Птолемеевскую р а в н о п р а в н ы м и способами понимания: они таковы — т о л ь к о в плоскости отвлеченно-механической, но, по совокупности данных, истинной оказывается последняя, а первая — ложной».

«Таким образом,— заключил уже по своему разуму Сельнокринов,— все дело зависит от выбора точки отсчета. И покуда верное понятие о ней, высказанное одиночкой-мыслителем, овладевало умами весомого множества его соотечественников, протекло более полувека — за каковой промежуток на Руси вытворялось, коротко скажем, всякое».

63. О ЗАКВАСКЕ. Посреди стола находилось одинокое блюдо, где в густой спекшейся пурпурно-рудой крови лежала бледная отрубленная голова, трупно смежившая веки.

Когда первый испуг стал немного спадать, Разумник пришел в себя и начал догадываться — чья она, но подумал, что это лишь искусное сверх должной меры подражание. В первой мысли он действительно оказался прав, вторая же вышла на поверку весьма вдалеке от правды.

Однако прежде, чем сделать эти окончательные заключения, ему довелось выслушать вероятную до жути повесть головного владельца — старого учителя с ласковою фамильей Шиёнок.

«Отсеченней бывши честней святаго Иоанна Предотечи главе,— начал он наизусть книжной славянскою речью,— прия ю на блюде скверная плясавица и отнесе матери своей Иродиаде. Она же святаго язык, иже обличаше беззаконие их, иглою прободши, довольно поругавшися,— не даде ее погребсти вкупе с телом: бояшеся бо, да не како Иоанн воскреснет, егда глава его к телеси приложится, и паки обличати ю будет.

Труп убо повеле поврещи где-либо; его же ученицы нощию платье, погребоша в Севастии, самарийстем граде. А главу Иродиада во дворце своем закопа в земле глубоко, на месте сокровенном безчестном».

Далее учитель сделал невеликую передышку и перешел затем на наречие современности.

— А потом тезка Крестителя, хотя и женского рода — жена царского домоправителя Хузы по имени Иоанна, о которой упоминает евангелист Лука, тайно перехоронила честную главу на Елеонской, или Масличной, горе. Так до сих пор зовется возвышенный холм в Иерусалиме — верхушка его подымается более чем на восемьсот метров — как раз против места Соломонова храма; именно отсюда впоследствии Иисус въехал в Святой град на осляти, здесь он и ночевал, днем поучая народ на улицах, тут же произошла его откровенная беседа с апостолами о признаках конца мира.

Впоследствии, в самом начале четвертого века вельможа Иннокентий, тогдашний владелец участка земли на горе, затеял постройку у себя храма и, копая под основание ров, неожиданно натолкнулся на запечатанный сосуд с главою, от которой тотчас начали сотворяться благодатные знамения. Так произошло доныне празднуемое ежегодно всей христианской церковью Первое обретение честной главы Иоанна Предтечи.

Иннокентий держал ее у себя с великим благоговением, но перед смертью, боясь, что святыня может попасть в руки правивших страною идолопоклонников, заново скрыл там же, где некогда обрел,— «да не кое содеется о ней по кончине его бесчестие».

Когда же при Константине Великом христианскою сделалась уже вся империя, Иоанн Предтеча явился двум инокам и показал им место, где покоились под спудом его чудотворные мощи. Однако неуважливые монахи, получивши сокровище, запросто кинули его в заспинное «вретище, от власов велблуда бывшее» — то есть мешок из верблюжьей шерсти — и понесли даже не сами, а препоручили это нищему «художеством скудельщику», горшечнику. Разгневанный на нерадивых чернецов Иоанн предстал теперь перед последним и велел тотчас покинуть их, продолжив путь наедине.

Этот горшечник и хранил всю жизнь у себя главу с должною почестью, а накануне кончины запечатал ее в водоносный сосуд и отдал своей сестре. С тех пор она переходила из поколения в поколение к достойным христианам, покуда по грехам людским не оказалась в обладании проныры-арианина Евстафия. Используя чужую благодать, он стал приписывать чудесную силу мощей исключительно воздействию собственного лжеучения, чем совратил немало простых душ. Когда кощунство наконец явно открылось,

еретик вынужден был бежать, а поскольку опасался, что по пути святыню отнимут, он опять зарыл ее в пещере близ города Емессы, надеясь вернуться.

Это ему не было суждено, ибо в пещере поселились православные иноки, основавшие тут обитель. В 452 году Иоанн Предтеча, как верховный покровитель монашенства и Ангел Пустыни, показался в видении здешнему архимандриту Маркеллу и открыл ему место хранения своей главы. Она была вновь извлечена на свет Божий — и теперь православная церковь празднует 24 февраля по юлианскому старому календарю сразу два праздника: вместе с памятью первого отмечает и Второе обретение главы святого Иоанна.

По прошествии некоторого времени главу перенесли в столицу Византии Константинополь, где торжественно положили в посвященном Предтече храме на месте Евдóмон. Много лет спустя империю стали раздирать распри, вызванные движением иконоборцев, которые уничтожали не только иконы и фрески, но и «мощи святых бяху овыя сожигаемы, овыя в моря и реки ввергаемы, а иныя ногами попираемы и различно безчестимы». Тогда правоверные люди тайно укрыли главу Христова Крестителя в черноморском местечке Команы. Коман этих в Византии было двое: одни южнее в Малой Азии, другие невдалеке от Сухуми и Нового Афона; как раз в Команах же скончался также ссыльный святитель Иоанн Златоуст. До сей поры историки никак не могут согласиться, в которых именно из двух тезок-городов случились то и другое события, а посему лучше, не лукаво мудрствуя, положиться на веру предков о том, что произошли они в «наших палестинах».

Изгнание продолжалось до тех пор, покуда царский престол не занял благочестивый василевс Михаил, руководимый своей православной матерью императрицей Феодорой, который восстановил истину поклонения святым мощам и иконам. «В царство тех Божиим явлением паки бысть обретена» честная Иоаннова глава, принесена около 850 года в Царьград вселенским Патриархом Игнатием — и установлен новый праздник Третьего обретения, положенный в календаре отдельно на 25 мая.

Глава сохранялась первоначально в царских палатах в домовой церкви императора. Затем верх ее перешел в студийский монастырь Предтечи, а другая частица была передана в обитель Продром, находившуюся в той части Константинополя, которая именуется Пéтра. Во время крестовых походов изменою захватившие столицу Византии латиняне похитили часть великой общехристианской реликвии и затем разделили украденное на две доли, одна из коих находится во Франции в Амьене, а вторая — в Риме в церкви папы Сильвестра.

У православных тоже оставались частички честной главы — в монастыре Дионисия на греческом полуострове Афон и в угровлахийском монастыре Калуи. Но посетивший афонские обители в середине девятнадцатого столетия известный русский паломник инок Парфений ничего уже не застал — ему рассказали, что святыня пропала в 1824 году при нашествии турок.

Показательна также судьба десницы Предтечи — той самой, которою он крестил Христа. После падения Византийской империи ею обладали мальтийские рыцари. Когда в конце осьмнадцатого века их до смерти притеснил Бонапарт, они, не найдя у других монархов защиты, избрали своим возглавителем рыцарственного российского императора Павла и 12 октября 1799 года в знак неложной любви принесли ему в дар Иоаннову десную руку. Вплоть до революции она покоилась в церкви Зимнего дворца во имя Спаса Нерукотворного. А потом, как свидетельствует в своем «Временнике» очевидец-писатель Алексей Ремизов, ее растащили оттуда по суставам...

— Всю эту витиеватую повесть мне довелось выучить поневоле,— признался Сельнокринову по скончании ее Шиёнок.— И вот почему.

В конце шестидесятых годов я проводил лето в окрестностях Нового Афона и однажды, забравшись в одиночестве на прогулку весьма далеко в горы, как будто случайно набрел на доживавшего там остатние дни сухонького, как кость, подвижника, некогда бежавшего из закрытого монастыря у моря, сперва к дальнему скиту в горной долине Псху, а когда и там появились гонители, укрывшегося в дикой пещере. Он со мною очень долго говорил околичности, приглядывался, заставил изложить все жизнеописание, правдивость которого чутко высматривал не по словам, а по глазам. Ну и мне такой собеседник был не только в диковину,— я ясно соображал,что вижусь с жителем ушедшего мира, почти наверняка на земле последним.

Наконец он поверил — да я ведь действительно не лгал. Ну и наказал же тот старец меня за добрую искренность хорошим подарком...

Короче молвя, он служил хранителем и нес долг передачи другому наследнику потаенного предания о том, что главная часть мощей Иоанна при погибели Византии перешла к ее преемнице — Русской земле. И хотя никаких доказательств, кроме собственной веры, он предъявить не мог, уверенность была бесконечно крепка,— да вот еще то можно принять во внимание, что и вправду недаром же нас по всему свету именно Иванами сообща кличут.

Ну и будто бы хранилась глава надежно в нарочно изготовленном сосуде, внешне повторявшем ее точный вид, на Москве в Ивановском монастыре на Ивановской же горке. Я проверял — он там и поныне стоит, то есть здания, от обители оставшиеся; однако о главном сокровище ничего в книгах печатных нет как нет.

Впрочем, в нашей печати нет и о том ни слова, что у царской семьи отсекли после убиения головы; тем не менее в народе скорбная весть ходит достаточно широко.

И еще был, говорят, положен зарок: до последней крайности мощевик тот не отворять и главы не трогать, ибо нековременное прикосновение грешной руки наведет погибель не только на самого супостата, но на весь град и даже страну.

Так вот, когда в девятнадцатом году монастырь прикрыли и покой мощей нарушили — тотчас же и именно в канун праздника Иоаннова Рождества, называемого в просторечии Иваном Купалою, произошло известное восстание левых эсеров, которые штаб свой держали под левым боком этой обители. Как только эсериков раздолбали,— за крепкими монастырскими стенами чекисты завели тюрьму.

Глава с ковчегом, впервые оправдавши истинность отеческого заклятия, была однако спасена и канула в люди. Рассказывали, что в смутные годы ее видали по разным градам и весям — в Ярославле, Тамбове, Ижевске, Воткинске, Тобольске, Кронштадте... И всякий раз за осквернение Ивановой святыни следовал в качестве кары свыше мятеж, междоусобие, неправедные казни и калечества.

Мне, Разумник, тяжко, да и нечего, наверное, дальше подробно перечислять или объяснять — остальное и по сказанному почти что до прозрачности явно.

Последний раз о главе говорили в Новочеркасске в хрущевскую пору; оттуда ее еще более ветхий инок, вырвавши из грязных ручищ, упас и чудом доставил моему старцу на его Новый Афон.

После кончины он завещал эту тяжкую ношу мне. И притом наказал, чтобы не только сам до нее не касался — сие-то и в одиночку сообразить несложно,— но предрек, что следующего одинокого преемника вряд ли можно будет найти. А потому, угадав времена со сроками, велел зорко глядеть, не обманываясь на ложных приметах, и вернуть тогда честные останки окончательно «по принадлежности». Смысла слов этих он дополна не раскрыл.

Вот так и мучаюсь уже почитай четверть века. Пора — не пора? И куда, и к кому идти?..

При этом рассказчик крайне проницательно вперился в Сельнокриновы очи, но тот, недолго думая, отрекся от не по чину барственной чести.

Шиёнок словно проверял, ожидая от него как раз такого смиренного отрицания, и продолжил:

— Ну а как, по-твоему, ведь час-то разве не настает? И месяца не пройдет — порушат перемычку последнюю на нашей Славе, да и нам старикам сделают отсюда полную выгонку. Замуровать, что ли, ее в стене — так не приведи Господь какой рукосуй безмозглый отреставрирует за милую душу и погубит вместе с собою всех прочих.

— А ты бы... Не читал, было в каком-то вестнике, что к тысячелетию Крещения кремлевские музеи передали патриаршей церкви главу другого Иоанна — Златоустого?

— Слыхал. Но, признаюсь тебе, все-таки страшно...

Славянская притча от Матфея, незримо присутствовавшая в пристанище последнего хранителя Ивановой головы, гласила:

«Подобно есть Царствие Небесное квасу, его же, вземше, жена скры в сатех трех муки, дондеже вскисоша вся».

Русский извод Луки говорил так: «Чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все».

64. Я ОТПУСКАЮ ТЕБЯ. — Ну и где ты теперь? — будто ни в чем не бывало, весело спросил заявившийся с предпоследнею кипищей не столько книг, сколько бумаг и папок Бенескриптов. А узнавши, что Сельнокринов вступил в тысяча девятьсот двадцатые, удоволенно хмыкнул — значит, поспел ко времени, не упустил.

Начинать чтение он указал с пухлого дела, которое загадочно именовал «Иудиным», где по его словам находились совершенно неповторимые архивные свидетельства, исключительные по своей истинной неправдоподобности или неимоверной подлинности — это с какого конца глядеть.

Разумник Васильевич, со своей стороны, вежливо осведомился: в каком времени пребывает нынче сам его сотрудящийся летописец, уж не в двадцать ли первом византийском веке?

Платон Любомович изрядно сник и пробормотал, что, напротив, залез уже на два тысячелетия назад и вместо двадцать первого столетия добрел до самого первого. По его словам выходило, что гибель Византии огромная, но тоже не главная ошибка истории, и в ее поисках нужно, перекрестясь, подступиться ко краеугольному недоразумению и несправедливости, с которой идет отсчет осей времени в обе стороны — в прошлое и будущее.

Печка, от коей началась вся свистопляска, стоит действительно в веке номер один, когда на его тридцатом году правильное шествие человечества сковырнулось наперекосяк, что очевидно для всякого, кто внимательно прочел подряд четыре канонические Евангелия.

Однако, признался далее Бенескриптов, переписать их окончания почему-то долго не удавалось. Помимо прочего, даже удачно переделав одно, три другие ведь все равно приходилось оставить по-старому. А посему был потребен сводный единый текст, нечто наподобие некогда издававшихся сборных Четвероевангелий или, как они иначе звались на Западе, конкордий. Изо всех них он выбрал наиболее удобное — толстовское: выполненный знаменитым писателем собственный перевод. В нем Лев Николаевич, углубясь самолично в исправление евангелистов, выкинул в числе первых чудеса, рассказы об изгнании бесов и воскресении, поскольку на его разум они «усложняют изложение». Колеблющимся последовате-

лям он еще указал в предисловии, что «для человека же, понимающего неубедительность рассказа о чудесах и, кроме того, сомневающегося в божественности Иисуса, по его учению, стихи эти отпадают сами собой по своей ненужности».

И вот именно это «пятое благовестие» отлично удалось Платону исправить так, как требуется,— что он тотчас, не откладывая на потом, и заставил Разумника Васильевича прослушать:

«Связанного повели его к Понтию Пилату и привели в правление. Пилат, правитель, вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете этого человека? Они сказали: человек этот делает зло, за то мы и привели его к тебе. Пилат и говорит им: а если он делает зло вам, так сами и судите его по вашему закону. А они сказали: мы привели его к тебе затем, чтобы ты казнил его, а нам не позволено убивать никого...

И когда Пилат спросил их, в чем они обвиняют его, они сказали, что он виновен в том, что бунтует народ, запрещает платить подати кесарю и сам себя ставит Христом и царем.

Пилат выслушал их и велел привести Иисуса к себе в правление. Когда Иисус вошел к нему, Пилат сказал: так царь Иудейский — это ты? Иисус сказал ему: ты точно полагаешь, что я царь, или ты повторяешь только то, что другие сказали тебе? Пилат сказал: я не Иудей, стало быть, ты не можешь быть моим царем, а твои привели тебя ко мне. Что ты за человек? Иисус отвечал: я царь; но царство мое не земное. Если бы я был царем земным, то мои подданные бились бы за меня и не дались бы архиереям. А вот — ты видишь, что царство мое не земное. Пилат сказал на это: но все-таки ты считаешь себя царем? Иисус сказал: не только я, но и ты не можешь не считать меня царем. Я только тому и учу, чтобы открыть всем истину царства небесного. И всякий, кто живет истиной,— тот царь. Пилат сказал: ты говоришь — истина. Что такое истина?

И, сказав это, повернулся и пошел к архиереям. Он вышел к ним и сказал им: по-моему, человек этот ничего дурного не сделал. Но архиереи стояли на своем и говорили, что он много зла делает и бунтует народ, и взбунтовал всю Иудею от самой Галилеи.

Тогда Пилат при архиереях стал опять допрашивать Иисуса; но Иисус не отвечал. Пилат сказал ему: видишь ли ты, как тебя уличают, что же ты не оправдываешься? Но Иисус все молчал и не сказал больше ни одного слова, так что Пилат удивлялся на него.

Пилат вспомнил, что Галилея во власти царя Ирода, и спросил: что он — из Галилеи? Ему сказали: да. Тогда он сказал: если он из Галилеи, то он под властью Ирода. Я его к нему пошлю. Ирод был тогда в Иерусалиме: и Пилат, чтобы отделаться от них, послал Иисуса к Ироду.

...Вот, когда привели опять Иисуса к Пилату, Пилат позвал опять архиереев и начальников иудейских и сказал им: приводили вы ко мне этого человека за то, что он бунтует народ, и я допрашивал его при вас и не вижу, чтобы он был бунтовщик. Посылал я его с вами к Ироду, и вот, видите,— и там ничего не нашлось в нем вредного. И, по-моему, не за что казнить его смертью: а не лучше ли наказать его и отпустить?

И когда услыхали это архиереи, все закричали: нет, казни его по-римски! На кресте растяни его. Пилат выслушал и сказал архиереям: ну, хорошо! Только у вас в обычае для праздника Пасхи прощать одного злодея. Вот у меня сидит в тюрьме Варавва — убийца и бунтовщик. Так одного из двух надо отпустить: Иисуса или Варавву? Пилату хотелось выручить Иисуса, но архиереи настроили так народ, что все закричали: Варавву, Варавву! Пилат и говорит: а с Иисусом что сделать? Они опять закричали: по-римски на крест, на крест его. И стал Пилат уговаривать их. Он сказал: за что вы так налегаете на него? Ничего он не сделал такого, чтобы казнить его смертью, и вам никакого зла не сделал. Я отпущу его, потому что не нахожу в нем вины. Архиереи и слуги их закричали: распять,

распять его! И Пилат сказал им: если так, то берите его и сами распинайте; а я не вижу в нем вины. Отвечали архиереи: мы требуем того, что следует по закону. По закону его следует казнить за то, что он сделал себя сыном Бога.

Когда Пилат услыхал это, он смутился, потому что не знал, что такое значит «сын Бога». И, вернувшись в правление, Пилат позвал опять Иисуса и спросил его: кто ты и откуда ты? Но Иисус не отвечал ему. Тогда Пилат сказал ему: что же ты не отвечаешь мне? Разве ты не видишь, что ты — в моей власти и что я могу распять или отпустить тебя? Иисус отвечал ему: не имеешь никакой власти. Есть власть только свыше.

Пилат все-таки желал отпустить Иисуса и сказал: как же вы хотите распять царя вашего? Но Иудеи сказали ему: если ты отпустишь Иисуса, то ты этим покажешь, что ты неверный слуга кесарю, потому что тот, кто делает себя царем, тот враг кесарю. Наш царь — кесарь, а этого распни.

И когда Пилат услыхал это, он сильно возмутился духом и ответил им: чернь, как смеете вы указывать римскому прокуратору? И велел воинам палками прогнать их со двора правления.

А Иисусу сказал: иди, я отпускаю тебя на свободу».

На этих небывалых словах Бенескриптов громко смежил серый том с серебряным образком графа Льва на обложке, отлитым скульптором Гинцбургом,— и внезапный хлопок словно что-то оборвал в сжавшемся нутре его слушателя. Он хотел и все никак не мог выговорить вопроса: а что же тогда дальше?

Милосердие естественно толкало его дать согласие именно на такой, по всей видимости, счастливый исход неправедного судилища, а здравый смысл охотно готов был с ним содружествовать — недаром же все повествование, неоднократно давая возможность избегнуть казни, самими этими повторами будто нарочно подсказывало, что от распятия не только можно, но и нужно было ускользнуть. С точки зрения психологии весь ход дела неминуемо приводил как раз к такому неожиданно-жданному завершению. Однако какая-то потаенная жуть лежала на другой чаше весов, колебля их вверх-вниз и не давая окончательно принять разумное решение.

Сельнокринов заглянул в глаза Платону Любимовичу и ужаснулся: тот, без сомнения, сразу понял все его боязни и страхи, да они, собственно, были им общие; но вместо положительного ответа лишь раскрывал порыбьи губы, не умея произнести единого звука, словно пораженный внезапною казнью ударом, и в бессилии разводил болтливонемыми руками. Затем он выпучил дико глаза и опрометью бросился вон.

65. О ПОТЕРЯННОЙ ОВЦЕ. Лет эдак с десять тому назад небогатый потомок русских беженцев, проживающий на земле, что по отношению к его родине смело может быть названа страной антиподов, согласился подвезти женщину, которая по понятиям тех мест, имея на руках длинные черные перчатки, считалась в разряде аристократок, в далекий и малознакомый конец Рио-де-Жанейро, некогда бывший богатым, а теперь позаброшенный. Сперва по дороге они поболтали немного о пустопорожних делах, затем сзади водителя что-то засопело, зашуршало и — замолкло, сам же он тоже задумался. А когда прибыл на потребную улицу и обернулся, на него глянула совершенная пустота, распространявшая сильнейший запах пряных духов.

Перепуганный вусмерть мужик кинулся в ближайший полицейский участок, где его успокоили по чину и объяснили, что подобное у них не впервой, ибо тут где-то гнездится община последователей учения языческой магии вроде вуду по имени «макумба», творящая различные чудеса или, если говорить ученым наречием, использующая доселе не познанные

способности человека. Помимо того и даже даром изложили еще множество других, ранее ему незнакомых бразильских вещей, открыв среди прочего, что в числе населяющих тропический лес племен доныне водятся также людоеды, сейчас по случаю облысения джунглей потянувшиеся в города, где их можно отличить от траво-животно-ядных лишь по надпиленным острым верхним резцам.

Задумавшийся над изворотами естества заграничный русак через несколько дней вернулся не в урочный час к себе домой, а работал он инженером на филиале западногерманского автозавода и по обычаю южного полушария проживал в двухэтажном особняке со всякими удобствами и приусадебным поместьем в цвету. Жена его по случаю тоже удалилась за еженедельными покупками съестных припасов, старик отец дрых в кресле-каталке посреди сада, а за детьми следила одна лишь молодая, недавно нанятая скромница-метиска, только что прибывшая из провинции и потому недорого запросившая за службу. Вот ее-то он и застиг разгуливающую совершенно нагой по комнатам и, осененный внезапной догадкой, немедленно вместо приказа одеться потребовал — улыбнуться. Невинную просьбу она, однако, восприняла хуже тяжелейшего оскорбления; инженер не стерпел и ринулся на служанку взъяренный, стараясь достичь желанной проверки даже насилием. Довольно пыхтя, он разинул-таки девице пасть и тут как тут обнаружил те самые удлиненные резцовые зубы...

Итог поединка оказался, впрочем, вполне неожиданным. В обмен на обещание не раскрывать домашней тайны и отпустить с миром подобру-поздорову юная людоедица пообещала ввести русича в круг макумб, ибо знала, что он в их услугах чрезвычайно нуждался. И обет свой она неукоснительно выполнила.

А жажда его в колдовских услугах объяснялась довольно просто. В заглушном русском городке Кременце у новоявленного бразильянца проживала в полном одиночестве родная, треть века не виданная живьем мать, которой ни за какие просьбы или посулы не давали разрешенья на выезд.

— Загвоздка вся была в том,— призналась она самолично явившемуся к ней с расспросами обходительному Сельнокринову, который раньше и знать не ведал, какие бездны приключений пережила эта старуха с немецкой фамилией, которую все запросто кликали по-девичьи Женей,— что вы навряд ли помните кого-то опричь «Волочаевских дней» или Лазо, но родной мой отец Спиридон был одним из двух братьев-промышленников, возглавлявших правительство последнего клочочка белой России на Дальнем Востоке, своего рода неудавшийся отечественный Тайвань.

Папа покинул жену еще во время первой мировой и с тех пор так и не объявлялся — даже год его смерти она узнала гораздо позже по случайной ссылке в какой-то книге; говорить же о нем с кем-либо вообще десятилетиями было смертельно опасно. Безотцовская дочь вышла замуж за обрусевшего немца и сделалась ни много ни мало балериною, а во вторую войну муж ее с сыном попали на занятую немцами Смоленщину и затем, насильно стронутые с родных мест, были перевезены в Германию. По окончании боев, справедливо опасаясь высылки в Сибирь, они предпочли мирно удалиться на другой край света — в Южную Америку. А Жене за все свои и чужие грехи пришлось оттрубить чистый «червонец» в колымской стороне.

Когда уже в семидесятые годы она какими-то дальними обиняками нашла адрес ближайших американских родичей, упрямо-памятливые начальники кадров ни за какие коврижки не желали дать им возможность хотя бы свидеться. Вот тут-то и пришла на помощь колдовская служба. Темный ведун попросил всего лишь косынку или платок из России, и через некоторое время с грехом пополам тот был на противный конец мира

доставлен. Тотчас же над путешествующим окуском материи были прочитаны тайные заклинания, наведена полезная порча, и он отправился восвояси с наказом полгода носить его на груди, не снимая с тела.

Прошел заповедный срок — и московский УВИР, не сумев противостать языческим чарам, совершенно волшебным образом запросто выдал Жене позволение на отъезд: дескать, наше Вам, Евгения Спиридоновна, с кисточкою! Сама она оказалась тем не менее справедливо опасливой на начальственное добро и вытребовала вместо чистой визы всего лишь право съездить на два месяца по приглашению — по лагерному еще заднему разуму понимая, что ежели вдруг зачем-то вместо крутого отказа следует крутое же благоволение, то не ровен час выпихнут с Родины долой, а обратно уже и не впустят.

— Ну и как оно, это Рио, на поверку? — вежливо осведомился Сельнокринов.

— А все не как у нас! — был ответ.— Вроде сплошной курорт, только жить в нем нельзя. Одежда гниет от сырости, юбки в шкафу за неделю покрываются сплошь плесенью, ночью на горшок сходить боязно — лягушки за стеной басом орут, по комнатам тараканы с кулак величиною летают, мигая усами... Словом, страху натерпишься ой-е-ей! Переписываться было куда как любезно, а говорить, когда вживе вновь повстречались, вышло-то не про что: совсем разные стали за сорок лет люди. Еле дотянула два месяца там — и назад.

— А зачем?

— К чему они мне? Да и я им...— не вовсе искренне бросила Женя и поспешила сменить предмет разговора.

— Сам макумба ко мне прямо проникся, даже маску со внутренним духом подарил на прощание. Вон там она висела над дверьми, против иконы. Ин что тут начало твориться! Видать, южный домовик с северным никак не смогли поладить: что ни вечер, из-под стен какие-то стоны, возня; сто лет не виданные люди принялись табунами являться незвано в гости, все вроде про Бразилию слушать — художники, стукачи, поэты-песенники, цыгане с гитарами, родичи небывалые из тех, что моему забору двоюродный плетень. Вот наконец один такой маску-то и упер. Я даже точно знаю, кто именно.

— Это как так?

— А просто: она ведь не нашего Бога чорт, неведомая эта сила. Ну и, значит, не в своем месте будет не помогать, а пакостить. Этот ворюга собирался сделаться скрипачом, уже и известности набирал — да тут его нелегкая и подбей на мелкую кражу. Потому пусть на себя самого пеняет: от трех детей и покорной жены сбежал к рыжеволосой разлучнице, которая ему еще ежеден рога наставляет, а работу-то за недосугом и позабросил. Ну да ляд с ним совсем.

— Так почему же вы все-таки...— не вполне воспитанно вернулся туда, откуда его вежливо попросили, Разумник Васильевич.

— Бог его знает! — на сей раз совершенно чистосердечно сказала ему собеседница.

Сельнокринов ответ принял безо всяких иносказаний и впрямую осведомился там, где было указано. Положенная Жене притча точней и пространней всего изложена была евангелистом Лукою:

«Кий человек от вас, имый сто овец и погубль едину от них, не оставит ли девятидесяти и девяти в пустыни и идет в след погибшия, дондеже обрящет ю? И, обрет, возлагает на раме свои, радуяся, и, пришед в дом, созывает други и соседы, глаголя им: радуйтеся со мною, яко обретох овцу мою погибшую!»

66. ПЕРЕМЕНА ПАМЯТИ. «В Витебске, — читал Разумник статью Абрама Эфроса от 1922 года под названием «Концы без начал, или Искусство в ре-

волюции» из альманаха «Шиповник»,— Марк Шагал (комиссар Марк Шагал!) поднял над городом стяг, изображавший его, Марка Шагала, на золотой лошади, парящего и трубящего в рог «Шагал — Витебску».

Далее в папке следовала сделанная от руки запись: «Живший о ту пору здесь литературовед Михаил Бахтин позже, уже в 1960-х, по возвращении из ссылки, вспоминал, что флаг этот был водружен на самом высоком здании — то есть городском соборе, впоследствии взорванном, и виден был на многие версты кругом. При этом часто можно было наблюдать, как привычно крестившиеся на золотые маковки ближние крестьяне, занеся по обычаю руку для спасительного знамения, вдруг натыкались глазом на новоявленное знамя и, остановив осенение, горько плевали».

Витебск действительно был до войны, уже на живой сельнокриновой памяти, их областной столицею, и Разумник Васильевич, несколько оторвавшись от писчей кипы, принялся перебирать в уме дела, известные незаочно. Затем вновь погрузил зрение в бумаги и, нырнув туда всей душой, был прямо-таки поражен тем, что́ повстречал в изжелтевших вырезках, ремингтонных отчетах и разрозненных рукописных замечаниях. Дочитавши все происшествие до конца, он откинулся в изнеможенье назад — настолько сделалось ему явственно нехорошо, да просто-таки и дурно.

Сельнокринов прикрыл на мгновение глаза, и внутри их зароились насильно впихнувшиеся туда чуждые образы, которые продолжали кружиться, взбаламученные с самого дна предсознания. Потом постепенно они расположились в достодолжном порядке, и он еще раз, словно свидетель, запечатлел подробнейшим образом это зрелище...

В июле двадцать второго около семи утра по новому декретному времени на месте разобранного на металлолом царско-романовского памятника перед Николаевским собором, что прежде был иезуитский костел, на площади Свободы мокли волглые щепки. По плану моментальной пропаганды имперскую регалию 1812 года решено было заменить, поскольку она воплощала — как доброхотно пояснило новое начальство при отправке монумента на переплавку — трагическую ошибку истории, когда по недосмотру народной совести наши крестьяне вместо поддержки передовых идей французской революции затеяли с ее наследником Наполеоном так называемую отечественную войну.

Собор сам был еще, однако, не вовсе закрыт, но его настоятеля, позволившего себе заступиться в праздничной проповеди за идейно вредное сооружение, для острастки замели в ГеПеУ.

К восьми солнце начало уже крепко прожаривать окоем, и через какие-то полчаса весь деревянный мусор окончательно просох, начав потихоньку скукоживаться. Источник его — небольшой помост с не имевшей определенного очертания глыбою по-за ним привлек с полдюжины мальчишек и трех дядек в кожанках, озабоченно куривших в ожидании чего-то решительного на досках, тоскливо поглядывая на заречную сторону.

В недолгом разе собралась целая ватага взрослых людей, начавших бесконечно мужественно между собою здороваться. Тем часом глыба еще более высветилась и, не выдавая внутреннего своего содержания, оказалась покрыта снаружи полотнищем из сметанных на живую нитку обрезков рогожи и тряпья.

Наконец, когда и прочего населения накопилось порядком, главноуправляющий человечек, маленький, но устойчивый наподобие табурета, взобрался на возвышение, немилосердно скрипя чортовою кожей куртки, и сделал рукою знак «ша!». Мужчины из числа передовых замолчали, в середине толпы тоже попритихло, и только где-то сзади в бабах,

державшихся по опыту вдалеке от чернокожаных граждан, гремели пустые ведра.

— Товарищи! Мы собрались сегодня здесь и сейчас не случайно тут,— начал коротун и, побродив в лесу подчиненных предложений среди зарослей причастий и деепричастий, поведал чередой смутных выражений про то, что виновник торжества еще со младых ногтей, будучи постреленком, готовился к борьбе против всех и всяческих дурманов, за интересы своего кровного класса, в каковой и погиб впоследствии от грязных рук в осиновой роще далекой колониальной страны, народ которой мечтал вывести в сознательную новую жизнь из идейного рабства, отдав ему всю свою душу и тело до последнего издохновения...

Но весь он не умер,— радостно возгласил, задыхаясь от усердия в романтическом, плохо пропускающем воздух одеянии квадратный трибун,— и, подхватив его знамя, мы двинемся дружно вперед с этим почином, покуда не разобьем к растакой-этой матери головы мракобесов всех мастей, ибо козырный туз находится в наших крепких ладонях!

Тут он задорно сунул кулачонком в глаза немого храма, кашлянул и поменялся местами с молодым худым носариком в очках на веревочке.

Тот прямо с места в карьер рванул долбать супротивника, размахивая языком будто шашкою, кричал, тыча перстами в толпу, что Ешуа Назаретский, неправильно именуемый некоторыми Христосом, опозорил свой трудовой люд, и коли бы не героические самоотверженные усилия простого бедняка из ближнего окружения, память коего мы сегодня чествуем, неизвестно — до чего бы еще дошло; а потом поглядите-ка, освобожденные граждане самой вольной на свете страны, сколько труда, денег и кирпича ухнуло даром за две тысячи лет на одни только никому не потребные церкви вместо столовых для неимущих или ночлежных приютов! Тут он тоже обернулся лицом к Николаевскому собору и погрозил шишом в дыру колокольни, откуда не так давно собственными руками посбрасывал весь звон для сдачи в трест «Рудметаллторг».

— Но теперь лучше стало, уже прямо-таки ничего себе, не надо только отчаиваться,— призвал он, торопя исправить допущенную ошибку до конца, покуда время не ждет.

— Чего там: дней у Бога впереди мно-ого,— гулко шепнул кто-то из последних рядов, но на него сразу осуждающе зашикали передовые.

После на возвышении сменялись, не давая врагу взнику, женщина в буденовке, горячо и даже со слезами в горле вспоминавшая, как аграриев и пролетариев, наравне с нынешним их праотцом-именинником, вешали ежедневно пачками проклятые слуги-царисты, но вот наступил и на их улице праздничек всем Христосикам ребра просчитать да перевешать напропалую, чтобы неповадно впредь было рабочую кровушку пить. Китаец из присланного для укрепления из центра отряда просто вслух на своем тарабарском наречии ругался длинно и мутно, пересыпая невнятные хулы легко различаемой родной матерщиной. Продвинутый учитель из новой школы высказал смелую догадку про то, что товарищ Искариотов со своими прославленными тридцатью сребрениками гениально провидел будущие достижения политэкономии с ее учением о прибавочной стоимости; а потом еще все они вместе зазывно кричали и пели.

Зачитали полученные по искрóвке приветствия: выражение поддержки из подказанского города Свияжска, где уже был воздвигнут памятник цареубийце Бруту, а также послание из братского Воронежа, взявшего почин соорудить в течение года подобающее изваяние его верного соратника Кассия. Наблюдавший за всем действом из соборного окошка Софийский иерей, до принятия сана бывший поэтом, припомнил тогда, что именно сия троица, считая со здешним юбиляром, помещена была средневековым Дантом торчать в пасть Сатаны, восседающего посреди адского чрева, и рассудил, что нынче, видать, зев его растворился нараспашку

от матушки-Волги через черноземелье вплоть до Белой Руси во всю ширину отечества; но вслух про то, памятуя постигшую николаевского настоятеля судьбу, ничего произнести не решился.

Народу на площади пока суд да дело изрядно поубавилось, ибо открылся базар и дотошные жители прознали, что смотреть в общем-то стоит только самый конец. Между тем он тоже не замедлил настать, когда предначинательный заводила вновь вскарабкался кверху, весь сырой от проступившего пота, так что от кожанки видимо струился горячий пар, и предложил почтить ревпамять товарища Юдина и одновременно выразить общее «ура» дорогому художнику будущего Аркадию Дембелю, чтобы тем самым открыть разом весь монумент.

Ряды всколыхнулись, и присутствующие граждане стали наперебой предлагать друг другу первым дернуть веревку; причем никто не оказался столь груб, чтобы лишить соседа подобной чести. После долгих потуг ваятель, который лукаво щурился, наблюдая за происходящим с козлоногого стула в подножни лоскутной громадины, сам потащил не спросясь за шнур, но и он в одиночку не справился. Зато теперь уже ему на подмогу дружно бросились остальные, э-раз-два-три взяли — и помаленьку занавес стал отодвигаться.

Неожиданно дальний край тряпки вóкорень застрял на макушке всего сооружения, так что пришлось снова командовать эх-дубинушка, еще-дубинушка! — и она таки слетела долой, приберя за собою на головы усердных тягальщиков, повалившихся один на другого от резкого высвобождения силы, изрядный кус сизого гипсового уха. «Ничего,— размыслили про себя уверенные преображатели,— все, что мы недоделаем, благодарный потомок перестроит в камне и бронзе».

В итоге всеобщих стараний, скинув на землю опостылевшие одежды, перед взором открылось вот что. Против большого полотнища, полыхающего кроваво-бордовым окрасом, высилась фигура в три человечьих роста, облечённая в просторную тройку при галстухе, с налитыми идеей глазами, прижимавшая десницею ко груди горсть серых монет, в то время как шуйца движением, которое сделалось затем образцовым и отразилось в тысячах повторений по всем сторонам обширнейшего государства, указывала зазывно жестом Вия к Хоме или скорее его прообраза ко Христу: вот он! держите!! там!!! Внизу по постаменту шла тонированная черным надпись на пурпуре: «Иуде от благодарного потомства». От густо-красного стяга, бросавшего в палящем солнце отблеск не только рядом с кумиром, но и на стоящих окрест, ожили и заиграли пламенем кожаные ризы вожаков и глашатаев, а художник всем лицом от ушей до кадыка засиял в восторге.

Народ смотрел в молчании и проникался. Передние же дружно затянули: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

67. О СВЕЧЕ НА ПОДСВЕЧНИКЕ. Поспешая со сроками взрыва на Славе и собственного выселения наперегонки, Разумник теперь всегда брал приточную книжку с собою в поход. Оставалось усвоить иносказаний, как и посетить жилищ, всего уже не так много,— но сей последний род их, хотя и в разных видах, был из числа наиболее достоверных, ибо отражения этих слов Христа донесли все три первых благовестника.

Он свободно проник в седьмую с конца кельицу, напитанную теплым жилым духом, но от обитателей ее внутри оставался разве что оконный шпингалет. Тогда, не теряя времени, Сельнокринов присел на подоконник и в остывающем блеске заката принялся читать по порядку прообразы бывшей здесь когда-то на стене надписи, стремясь угадать, какой именно был вместе кратчайшим и наиболее верным: однако все они, будто грани кристалла, преломляли каждый по-своему шедший из глубины единый луч.

«Вы есте свет мира: не может град укрытися, верху горы стоя. Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом,— но на свещнице, и светит всем, иже в храмине суть»,— так гласил Матфей.

Марк дополнял: *«Еда светильник вжигают, да под спудом положат его или под одром? не да ли на свещнице положен будет? Несть бо тайно, еже не явится; ниже бысть потаено, но да приидет в явление».*

Лука же доканчивал вдвое. *«Никто же убо, светильник вжег, покрывает его сосудом или под одр подлагает: но на свещник возлагает, да входящии видят свет»,— говорил он в одной из своих первых глав; а чуть позже еще раскрывал то же полней: «Никто же убо, светильника вжег, в скрове полагает, ни под спудом,— но на свещнице, да входящии свет видят. Светильник телу есть око: егда убо око твое просто будет, все тело твое светло будет; егда же лукаво будет, и тело твое темно. Блюди убо: еда свет, иже в тебе, тма есть. Аще бо тело твое все светло, не имый некия части темны, будет светло всё, якоже егда светильник блистанием просвещает тя».*

— О-хо-хонюшки-хо-хо! — вздохнул, затворив святое Евангелие, Сельнокринов, понуро размышляя про то, сколь далеко от нынешнего человека подобное просветление,— и тут, откуда ни возьмись, перед ним готовно возник словно из ничего седой в лунь старикашка ростом с пенек, из серебряной волосни которого торчали лошадиные уши. На нем была длинная белая рубаха, но голова оставалась непокрытой, ладони рук усеивала мягкая шерстка; весь облик напоминал обрубок либо кряж, а низкота и неповоротливость придавали еще сходство с мешком зерна. Повторив до неприличия точно выражение удивленного Сельнокринова лица, он осведомился:

— Звали?

— Нет, а вообще-то да,— на пошиб сказочного детины, заплутавшего среди бора и окликнувшего там невзначай в досаде лесного духа, опешенно отозвался Разумник. И, не утерпев, спросил в свой черед: — Но откуда же вы явились?

На что хозяин — а то был, по всей видимости, именно он — спервоначала предпочел представиться полным титулом, а потому предложил на выбор целую пригоршню собственных имен: Друг сердечный — таракан запечный, Доможил-доброжил-доброхот, Кормилец-соседушка, Он, Сам, Батанушко, Другая половина, Жировик-и-Лизун, Нежить-постен, Карнаухий да некошный, Дедушко; короче же всего — Ох, вечный хоромо-житель...

Засим он с завидною легкостью обернулся последовательно змиею, лягушкой, крысой, рыжею кошкой, черным, как сатана, кобелем, свиньей и, наконец, из однорогой коровы вновь скинулся снопообразным старичьем. Покуда Разумник Васильевич крепко потирал себе виски, сетуя на помрачающую усталость, навеянную безостановочным векописанием, Ох подпихнул его обратно к подоконью — ибо сесть здесь все равно более было некуда — и запросто пояснил: когда смятенные духи дождем недозрелых плодов падали долу с небесной тверди, часть их ухитрилась зацепиться за человечье жилье, справедливо полагая, что ни с чем не сравнимое внимание, уделенное сынам Адама Творцом — ведь они были поставлены даже превыше ангелов в свободе своего выбора,— может помочь в деле прощения и их согрешившему от века братству.

Сельнокринов ему, естественно, веры не дал, но тот преспокойно растолковывал далее, что на белом свете еще и не таковая небывальщина зачастую случается, а в его личном житье-бытье как раз все следует вполне разумным путем: нажитое, выскорбленное, исстраданное да отпетое людьми в доме постепенно превращается в некую силу, что ли, впрочем, не определенно чистую, однако и нечисти не родня, а так — неведомую, вроде Матери-сырой земли, Царя-огня или Воды-царицы. «Ну, а в понятиях

текущего века это зовут ноосферой»,— добавил он ходячее ученое словцо, чем Разумника изрядно и подуспокоил.

— Припомни-ка,— наставлял его Ох затем,— сколько раз ты дома книжки не мог найти, только что бывшей прямо-таки под рукою, или пропадали, как в воздухе растворясь, разные ручки-дрючки? И как тебя старая бабушка учила себя вести: не злиться, не материться, не шарить по грязному подкроватному полу слепою ладонью, а тихо-покорно спросить: «Дедушко, поигрался — отдай по-хорошему!..»

Знамо дело, верить в такую несусветицу нынешнему жителю никак не охота, ан карандаш-то пишущий если смерть как нужен, чтобы счастливую мыслю зацепить на бумаге,— и приходится, хоть по мелочам, а сдаваться. Да ведь делается это у нас запросто, прямо вот так —

Он слегка застил взор перед Сельнокриновым носом своей седою шерстистой лапкой — и тотчас пропал из виду.

Волей-неволей Разумник Васильевич, рассмеявшись от души с эдакой шутки, выдавил сквозь хохот: «Дедушко, будет!» И тот опять был тут как тут, довольный вежливостью сказанной просьбы: да пожалуйста, мы не жадные, нам лишь уважение надобно!

— Но только прежде мы в храм-то и ни ногой,— печально признался, продолжая свой рассказ, Ох.— А всё больше по избам. Потом уже, когда вы сами соборы свои на хлевы перепустили, а избы-то позабросили напрочь и оханье там прекратилося насовсем — нам тоже подоспела пора переселяться. Хочешь — не хочешь, а в одиночку мы существовать неспособны, стынем без человечьего дыхания и дохнем с душевного голоду. Но не успели сюда явиться — глядь, люди-то новый род сожителей завели, заместо охов и вздохов у них теперича все больше неродное междометье «ура!». А, скажу я тебе без ревности, ведь кличка та чисто татарская, и по-тюркски значит она не иное что, как «бей» или же «колоти!». Ну, вы и наколотили...

— Ох, наворочали, право слово,— согласно кивнул Сельнокринов.

— Так что пришлось жить среди вашего неподобия даже без приглашения. Все ведь к теплу поближе, хотя, признаюсь, конечно, обидно, что родимое воздыхание и по имени-то забыли, как звать. А нынче, сам ведаешь, новейшее беспокойство, уж не ко смерти ли: и тебя, и меня скоро выживут отсюда дочиста. Что-то еще будет, как речку кольцом замкнут, а нас всех долой повыселят? Люди бают, что заместо наших голосов здесь теперь один неживой орган только будет пиликать.

— И не спрашивай,— отмахнулся от наступающей горечи Разумник, порешивший, что после прочтения подлинных небылиц вроде истории Иудина идолища, встреча с природным домовым и вправду не самое чудное событие. Он пригляделся, благо возможность еще была, к деду попристальней — и тут у него промелькнула в мозгу безумная по точности догадка. От радости узнавания он, даже не обдумав как следует, сразу ляпнул:

— Ох ты, мой дорогой, а не ты ли у макумбы бразильского войну выиграл?!

— Очень мы рассудительные...— непонятно, с одобрением или тоской, протянул Хозяюшко и взамен предложил из воздуха, растворяясь в нем прямо на глазах:

— Ты вот что. Ты не забывай теперь, пока еще мы оба вместе. И зови иногда, помни: ура — дура, а Ох — молодец!

68. ОТКРОЙТЕ: ВОЙНА. Софии суждено было прослужить складом двадцать лет вплоть до июля сорок первого года; памятник же Искариоту, будучи выполнен из подручной смеси гипса с чем-то вообще неназываемым, довольно скоро превратился в безликий остов, а потому в тридцать шестом был заменем образцовой фигурою Ильича.

Кременец попал в руки германской армии в первый месяц советско-немецкой войны; причем настрадавшиеся от Сталина староверы выкатили, не сообразя обстановки, навстречу пришлому полку почетный ковер в версту длиною. Подобные проделки водились за ними и в прошлые времена: так, ушедшие за кордон еще в семнадцатом веке казаки-некрасовцы, все поголовно раскольничьей веры, о которых нынче по случаю их возвращения восвояси после трехсотлетнего изгнания с превеликим сочувствием говорит повременная печать,— самым отчаянным образом рубили своих соотечественников, состоя в числе отборных войск турецкого султана. А в 1812-м на Москве беспоповцы Преображенского кладбища поднесли лично Наполеону блюдо золотых монет и огромной величины быка, за что получили надежную охрану от грабительств и, осчастливленные безопасностью, во время пожара сами чрезвычайно успешно очистили от множества «дониконовских» святынь Кремль. Но те времена были все-таки по ожесточению не нынешнему чета: тевтонский комендант, не откладывая, хорошенько прижучил здешних потомков Аввакума, наотрез отказав их ходатайствам отомстить прочим неправо верящим во Христа, а громадный железобетонный храм в стиле модерн, воздвигнутый купчинами перед самою революцией после объявления Николаем II указа о веротерпимости, из машинно-тракторной станции преобразовал в гарнизонную конюшню. По уходу немцев жуткий вид этой церкви, обращенной в стойло, был помещен в гневное издание «Правда о религии в России» с соответствующим подписанием: «После многих надругательств над святынями немцы превратили ее в гараж». Засим старообрядцы были поголовно выселены в Сибирь, а храм их и по сю пору удобно вмещает десятки многотонных грузовиков.

Не пожаловали национал-социалисты также памятник вождю интернационал-социализма и, взяв пример у своего противника, приговорили его на переплавку.

Софийскому коренному собору в сем отношении повезло несколько больше. Городской магистрат выдал разрешение на возобновление в нем богослужений, и оставшиеся в живых обитатели, выволоча складской хлам, худо-бедно очистили внутренность, сколотили однорядный иконостас да принесли спрятанные, уцелевшие по чердакам и чуланам образа. Долго искали следов святого Евфросиниева креста, о котором удалось выяснить, что в двадцать восьмом году его насильно переместили в Минский музей, откуда перед самою уже войной он перешел в Могилев, где лежал в здании бывшего земельного банка. При немецком же наступлении — или при отходе наших, опять-таки если смотреть на дело с обеих сторон,— бесценное сокровище было похищено. О дальнейшей его доле ходило множество разноличных сказаний, схожим в которых было только одно: общая вера в то, что окончательно Евфросиниево благословение не пропало.

Служить обедни и требы привели в Софию корпевшего целое десятилетие в должности счетовода батюшку Василия, в связи с ранним и поголовным закрытием городских церквей избежавшего первой волны высылок за Урал. Сей самый священник и приходился единокровным родителем Разумнику, появившемуся на свет за три года до начала боев, однако по суровым обстоятельствам жизни почти что и не видавшего своего отца воочию.

По окрестности скоро разнеслась весть о том, что порушенная, казалось бы, навсегда Софийская служба стала правиться вновь, и сюда на соборную гору потянулись десятки и сотни некрещеных-невенчанных заодно с родичами неотпетых. В наиболее жаркие дни одинокому иерею доводилось сочетать Христу тысяч до трех покорно ожидающего часами народа. Однако ни Гитлера, ни Сталина он перед Богом поминать не хотел, а молился в первую голову после вселенских патриархов за всю «многострадальную страну Российскую» с «людьми и воинством ея».

Возвращение города опять под власть советов стоило ему почти всех сохранившихся еще целыми зданий — по удивительной причуде судьбы лишь торчавшая открыто на самой макушке по-над Славою София не пострадала, служа ориентиром для наводки орудий обеих сторон. Сам же отец Василий был неопустительно схвачен и осужден за «нетактичное поведение при оккупантах» на десять лет каторги с довеском еще пяти «поражения в гражданских правах» (которых он как священник и прежде не имел, да и не искал).

Нисколько не кляня мстительный случай, смиренный настоятель прибыл на казенный кошт в казахский поселок с красноречивым именем «Сухобезводное», где вдруг обнаружил себя в целом сонме «митрополитов, архиепископов, епископов, священнического и монашеского чина и всех православных христиан» — точно в том порядке, в каком он возносил об их здравии молитвы за каждой утренней и вечерней службой, и в мыслях тогда не имея, что сам — простой прежде приходский поп — удостоится войти полноправным членом в избранный сонм российских новомучеников. Там он и окончил свои дни, отпетый на дому тремя членами самого Синода; а разлученная с «батькой» матушка вскоре тихо сгинула среди ссыльных в Мордовии.

Безродный и едва не утративший даже фамильное прозвище, которое запросто сменялось тогда на тягостно-многоликие детдомовские вроде «Непомнящий« или «Первомайский», пацаненок Разумник остался на воле один из всей триединой семьи. Щедрая рука собеса определила его в приемник для малолеток, поместившийся на развалинах бывших базилианских келий по правую сторону от Софии.

69. О НОВОЙ ЗАПЛАТЕ НА ВЕТХОЙ ОДЕЖДЕ. Дошед до тех времен, которым он служил самовидцем, Сельнокринов крепко пригорюнился и впал в некий внеобразный род задумчивости, по внешности весьма напоминающий сон. В такой спячке наяву он провел почти что весь следующий день и спохватился об остановленной работе лишь после заката. Долг наконец переборол внезапное безволие, и он выступил в путь, зачитав следующую по порядку премудрость. Она оказалась крайне коротка, а потому вместилась всего в один стих; из трех его изводов Разумник предпочел выражение Луки: *«Глаголаше же и притчу к ним, яко никтоже приставления ризны новы приставляет на ризу ветху; аще ли же ни, и нову раздерет, и ветсей не согласует еже от новаго». К ней еще прибавил вывод Матфея: «И горша дира будет».*

А с тем и направился, забывши про почти что полуночный час, на противную половину своего общежительного собора. Дверь в нужной квартире была плотно прикрыта, но не замкнута; не успел Разумник Васильевич осторожно втесниться внутрь, как его, опознав в царившей там полутьме, разрываемой лишь огоньками немногих свеч, взяли за руки и доверительно включили в круг молчащих вдоль стен людей. Среди них он узнал нескольких знакомых сожителей, но впоследствии, сообразуясь с содержанием дальнейших происшествий, поостерегся внести их имена даже в векопись, предназначенную потомкам.

Посреди комнаты стоял на коленях и главный житель ее, чрезвычайно неприятного вида человек, натворивший как будто из чистого вдохновения, во всяком случае безо всяких видимых причин, множество пакостей и бед разным людям, не исключая соседей. Встречаясь затем с последними в домашней обстановке Софийской коммуны, он пускался в отвратительное лебезятничество, выдавливал даже слезу, клялся-божился все тотчас исправить, никогда более не повторять и прочее. Божбу его никто уже не принимал за чистую монету; а злые языки охотно рассказывали, что в юности негодник был крайне ретивым комсомолистом, затем некоторое время

в студенческом чине диссидентствовал — то есть по-русски раскольничал,— сочиняя разоблачительные до предела статьи. Он даже создал что-то вроде общины единомышленников, которой внушал мысль покуситься на жизнь Хрущева как гонителя свободных художеств. Дело ограничивалось, конечно, одними лишь разговорами; но в один ненастный день перепугавший себя самого предводитель, не вынеся трусливых мук и позабыв, что тащит за собою десяток доверившихся ему юношей, пошел да и выдал всю собственную затею с потрохами в бдительном заведении.

Бывшие друзья его схлопотали по нескольку лет отсидки; сам же перевертень благодаря чистосердечному признанию и некоторому содействию психиатров был признан невротиком. У сего душевного недуга было всего два явственных признака: страдающие им ни за что не желали работать и имели сильнейшую тягу к перемене мест. Зато краткая запись в неврологическом отделении начисто освобождала от всякой ответственности за свои слова и дела, включая и уголовную — то есть ту, за какую здоровому человеку можно запросто голову положить.

Вернувшиеся с химических строек подельники на удивление почти все перековались в ходе подневольного труда из левых бунтовщиков в ревностных христиан. Они даже, руководствуясь заветом Спасителя, простили предательство былому вожаку, из высоких соображений сочтя его лишь божественным орудием, повернувшим течение их судеб с ложной тропы на путь предков. И тем более были поражены, что с ним на воле произошло примерно то же самое превращение. Плача и стеная, он поведал им, как в наказание за ложный диагноз попал в настоящий просак: дескать, придя домой с комиссии, признавшей его невменяемым, он все тихо напевал про себя: «Натянули, натянули, натянули!» — имея в виду облапошенных профессоров. Потом сел обедать, песенку утробную напевать перестал — ан нет, кто-то уже другой тонким писклявым голоском подхватил ее и заскулил в мозгу: «Натянули, натянули!!!» Тут у него и случился первый припадок жуткого помешательства, носившего наперекор науке разом признаки эпилепсии, шизофрении и паранойи. Врачи долго ничего в ней понять не могли, да и не очень-то записному обманщику верили. Зато приходский батюшка легко распознал образцовое одержание бесом и после долгих просьб и молений «отчитал» — выгнал нечистого духа.

Тогда-то закоренелый левак и обратился как будто резко направо, став самым деятельным прихожанином и даже в семье переменив порядки в полном соответствии с ксерокопированным кем-то услужливо «Домостроем». Однако и тут писчий зуд не оставил его, но он переменил его на новый лад, принявшись за сочинение статей по отечественной истории, которую толковал со столь же заоблачных, но теперь уже охранительных высот, взяв для подписи напрокат чужое весьма многозначащее имя Алексей Аракчеев.

За такую шустроту по нему вскоре открыла прицельный огонь самиздатская печать по обе стороны границы. Оскорбленные не столько за прощенного ими ведуна, сколько за самую суть столь искренне проводившихся им идей, его сотоварищи стали кто чем горазд защищать «невинно затоптанного». Они утверждали, что благоразумному разбойнику за один миг покаяния на кресте Христос даровал полное всепрощение, а уж человеки-то обязаны и подавно. Между тем у их подзащитного — в отличие от действительно опамятовавшегося накануне смертного часа евангельского злодея — была впереди еще долгая жизнь, которую он отнюдь не собирался класть целиком на новообретенный алтарь. Сам ли он начал или вспомнили его хорошие знакомые из числа следователей — не столь уже важно, кто был из них первым: главное — они восстановили былое содружество и вновь оплели идейных рецидивистов крепкою сетью. Удивительно, но среди тех был даже правовед по образованию, однако и он, однажды на досуге призадумавшись над странностями «аракчеевского» по-

ведения и заподозрив неладное, нашел удобным успокоить себя тем, что-де любые показания человека, признанного в установленном порядке душевнобольным, не могут быть приняты во внимание. И как нарочно забыл, что здоровье ума и его недуг определяются у нас не по суду одним и тем же далеко не врачебным учреждением.

Итоги не замедлили себя ждать: в год XX Олимпиады всех их с совершенно олимпийским спокойствием засадили повторно, на сей раз не исключая выздоровевшего разумом наводчика.

Он, впрочем, вскоре вновь получил вольную, умело проведя ряд очных ставок,— и, нисколько не обинуясь, стал опять свободно являться в гости к близким родичам сидящих друзей. Когда же кто-то откровенно плюнул ему в рожу, он учинил прямо на полу красочный приступ падучей с пусканием бурой пены и сованьем ложки под прикушенный досиня язык, а потом неукоснительно принес жалобу в местное отделение внутренних дел.

...Воспоследовала неожиданно быстрая смена трех высочайших имен; сугубо умудренные радетели неказенной мысли тоже раньше срока воротились восвояси. И тут перед ними встал вопрос почти что неразрешимый: ну хорошо, родственники, болея за своих кровных, имели полное право гнать негодяя в три шеи. А вот по-православному ли будет не дать нового прощения несчастному стукачу — ведь Христос заповедал оставлять обиду ближнему не то что два, а до семижды семидесяти раз?..

Тут им и пришла в головы обоюдоострая затея, впрочем опять-таки подброшенная одним знатоком Нового Завета. Там было прямо сказано в послании апостола Иоанна: не всякому духу верьте, но испытывайте духов — от Бога ли они, потому что много появилось лжепророков антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Будучи спрошен при свидетелях напрямую, ловкий перекати-поле по видимости согласился на испытание, но, когда от него потребовали, перекрестясь, назвать имя исповедуемой им веры, на него вновь нашел припадок дичайших нечленораздельных воплей.

В Псково-Печерском монастыре был с долгим трудом найден древний-предревний инок, один из последних насельников Старого Валаама, за которым шла слава исцелителя одержимых. Как рассказывали много спустя Разумнику верные люди, взявши обещание не повторять этого вслух и дозволив передать одной лишь предназначенной в будущее летописи, в православном обиходе тоже, как и в католическом, существует особый чин экзорцизма или изгнания бесов. Но напечатан он был лишь в редчайшем Большом Требнике Петра Могилы, употреблялся крайне нечасто теми епископами или иереями, кто не только получил на то определенное благословение,— которое с течением лет давалось все более неохотно,— но и знают за собой и своими ближними отсутствие смертных грехов, будучи готовы даже до смерти родных стоять за освобождение чужой, отягощенной страшным наваждением души. В данном исключительном случае отвечавший таким требованиям одинокий монах, совершенно отрешившийся от мира и способный отдать остатки жития ради спасения соотечественника, был обретен после года поисков среди церковного люда, непросто уговорен и наконец доставлен осторожно из псковских пределов в софийскую кельицу. Но все это Сельнокринов разузнал уже позже, а в тот день он сперва стал спокойно глядеть, как небольшое собрание верующих тихо слушает мерно читаемое благообразным старцем над коленопреклоненным соседом Евангелие.

Однако, скончав положенное зачало, священноинок вдруг стал произносить малознакомые Разумнику слова. Тот отнюдь не все в них понимал, но потому-то еще старательнее вперивал свой слух в уразумение возглашаемого:

«Повелеваю тебе, иже аще еси нечистый душе, и всем клевретом

твоим, сего раба Божия обседящим... да речеши ми имя твое, день и час исхода и отхода твоего с некиим знамением...»

Склоненный перед ним отчитываемый, не меняя положения и пребывая внешне совершенно неподвижен, как будто из самой глубины собственного чрева проговорил в ответ:

— Один я был в первый раз, а теперь нас тут восьмеро, восьмеро! Разве ты не читал, поп, в своих книгах, что когда дух выходит из человека, будучи изгнан насильно, то бродит голодный по безводным местам, ищет покоя и не находит. Тогда возвращается в бывший дом свой, откуда вышел, и, если найдет его выметенным и убранным, но незанятым, берет с собою семь духов, злейших себя, и, войдя, живут там,— так что бывает для человека того последнее хуже первого!

— Имя, имя! — упорно повторил иерей.

И с тою же издевательской покорностью из середины согбенного тела понеслось тарабарское перечисление:

— Абвгд Ёклмн Укаэсуэс Мвднх Ётм Пмз Иксвайзэд...

Но восьмое и последнее произнеслось единственно внятно:

— Рядовой!

Удовлетворенный полученным разъяснением, монах вынул вышитый молитвенный пояс, обложил им шею одержимого, как бы связуя его не только духовно, но и зримо, и вновь стал отчитывать:

«Заклинаю тя Богом вседержителем, Богодухновенным глаголом человеки вдохнувшим, и апостолом содействовавшим, и всю вселенную благочестием исполнившим: убойся, бежи, со страхом отвратися, устранися, демоне нечистый и скверный, преисподний, глубинный, льстивый, безобразный, видимый безстудия ради, невидимый лицемерия ради, идеже аще еси и отнюдуже аще идеши, или аще сам еси веельзевул, или сотрясаяй, или змиевидный, или звероличный, или яко пара, или яко птица, или нощеглагольник, или глухий, или немый, или от нашествия устрашаяй, или растерзаяй, иль льстивно советуяй, или в сне тяжце, или в болезни, или в немощи, или в смесе скокотаяй, или слезы любосластны творяй, или на блуд возбуждаяй, или злосмрадный, или похотный, или сластотворный, или отраволюбивый, или любонеистовый, или звездоволхвуяй, или домоволшебник, или безстудный, или любопрительный, или непостоянный, или с месяцем пременяяйся, или временем некиим сообращаяйся, или утренний, или полуденный, или полунощный, или безгодия некоего или блистания, или сам собою прилучился еси, или от кого послан еси, или нашел еси внезапу, или в мори, или в реце, или от земли, или от скверны, или от луга, или от волчца, или от древа, или от грома, или от покрова банного, или от купели водныя, или от гроба идолскаго, или отнюдуже вемы или не вемы, или от знаемых, или от незнаемых, или от непосещаемаго места,— отлучися, и пременися, устыдися образа, рукою Божиею созданного и воображенного, убойся воплощенного Богоподобия и не сокрыйся в рабе Божием: ибо жезл железный, и пещь огненная, и тартар, и скрежет зубной отмщение приеслушания тебе ожидает. Убойся, умолкни, бежи и не возвратися, ниже́ сокрыйся с иными злобы нечистыми духами; но отыди в землю безводную, пустую, неделанную, на ней же человек не обитает, но Бог един презирает, связаяй всех уязвляющих и злосоветствующих на образ Его, и веригами тартару предавый в долгую нощь и день тебе, всех искусителя и изобретателя диавола,— яко велий есть страх Божий, и велия слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и по веки веков. Аминь».

Затем следовала еще глава из Евангелия, услышав которую внутренность бесного отозвалась чем-то вроде: «Я-те почитаю, почитаю!!!» Ее сменили уставные молитвы, а потом новые заклинания, коим присутствующие внимали с обостренным вниманием:

«Запрещает тебе Господь, диаволе, страшным Своим именем: устрашися, вострепещи, убойся, устранися, сокрушися, бежи, ниспадый с небесе, и с тобою вся лукавыя духи — всякий дух нечистоты, дух нощный и днев-

ный, полуденный же и вечерний, дух полунощный, дух приведенный, дух прелщательный, или водный, или дубравный, или в трости, или в стремнинах, или во двопутиях и трепутиях, во езерах или в реках, в домех, во дворех и в банях, приходяй, и враждаяй, и отымаяй дух человеческий, — вскоре отыдите от создания Христа Бога нашего и отлучитеся от раба Божия, от ума, от души, от сердца, от жил, от чувствий и от всех удов его, воеже быти ему здраву, и всецелу, и свободну, воеже служити в преподобии и в правде и без всякаго преткновения во вся дни живота своего Богу живому и истинному...

И ты, душе лукавый, аще и не хотя, воздаждь славу Имени святому Его, идеже аще седиши в удеси тела создания сего: в главе, или в темени, или в брове, или в очию, или в ушию, или в устех, или в языце, или в выи или в плещу, или между плещима, или в мышцех, или в персех, или в души, или в сердци, или в селезене, или в плющех, или во чреве, или под чревом, или в точиле, или в естественных пределах, или в крепости, или в жилах, или в коленах, или в лыстах, или в голене, или в руку, или в ногу, или в жилицах, или в кровавицю, или в костех, или в мозгу, или в крови, или во власех, или в ногтех, или во всем теле — отлучися, устранися и изыйди, душе лукавый, и даждь славу Богови, яко сильный над всеми есть, ибо клянется: идеже аще кто призовет имя Господне, еже ищезнути вам!»

Тут Разумник самым краюшком нюха почуял тяжелое дыхание, струившееся ему в спину; чуть не выворотя набок левый глаз, узрел и обомлел: позади плотно сгрудился целый взвод дружинников с участковым в придачу. Видать, и в третий раз решил своих продать родной Иуда! Но они не трогались до поры с места, скорее всего ожидая условного знака в тот миг, когда собравшиеся сотаинники полностью раскроют себя; а догадавшийся обо всем заговоре Сельнокринов не мог пошевелить ни одним членом, будто заколдованный, слушая возвысившего до предела в последнем заклинании свой голос священника:

«Проклятый низверженниче, всех зол искусителю, отступниче мерзкий, скверный демоне, безстудный лестче, погибельный душе, адский вселукавый смоче, всепагубный аде, исконный человекоубийце, прегордый лукавства рачителю, гордынею вознесыйся и до ада низвержением смиривыйся, всякаго суровства и немилости исполненный мучителю, всех ересей изобретателю и нечестия всякаго корене, грехов и погибели источниче, непокаятельная злобо, нечистый душе, зависти глубино, злонаставниче и погибели сыне, прелести всякия источниче, древняя злобо, всякия муки достойная спадшая деннице, безстудный оболгателю и клятвенниче, Божий враже и лукавства источниче, клеветниче и оболгателю безстудный, всякия благодати вечно отчужденне, всякия правды противниче, суровый мучителю и лукавства бездно, развратниче вселукавый, безчиния всякого и раздоров изобретателю, вечнаго Божия гнева наследниче, крамолниче наветливый, сопротивниче и погибельный сосуде, клятвы и осуждения наследниче, вечныя смерти повинниче, всякоя злобы неистощимая пучино, напрасный, свирепый, напыщенный душе и душехищный зверю, огня геенскаго и вечныя муки виновниче, небесныя брани побежденный началниче, Божий отступниче и Христов хулниче, Господом испражненный и попранный враждоначалниче! Той тебе, милости недостойному, всякия неправды исполненному и светоносия небеснаго лишенному прелестнику, крепко и грозно мной, недостойным рабом своим, повелевает: отыди абие от создания сего в пустыя и безводныя места, идеже ниже́ человек, ниже́ зверь обитает, и к тому во веки не возвратися к нему. Яко сила, и держава, царство и слава Христа, Бога нашего, со безначалным Его Отцем, и с Пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и в бесконечныя веки веков — аминь!»

Сжавшееся в ожидании чего-то страшного у священнических ног тело вдруг затряслось такою крупною дрожью, что громко застучал под ногами

пол, руки его обхватили голову, ноги забарабанили сами о себя, и раздался жуткий вой:

— Пусти на скотину! На скотину пусти, как твой учитель не пожалел! Я на свинину перепущу, на закуску!

— Изыди вон, нет у меня свиней,— громко возгласил монах.

— А-а! — злобно заорал, подымая перекошенное лицо, покрасневшее от долгого склонения ниц, предатель.— Ну так вот я в них теперь поселюсь!

Он стал дико поводить кругом выпяченным перстом и орать на шарахавшихся в ужасе окружающих:

— В тебя! В тебя тоже! И в тебя, на всех хватит! А лучше всего вот в этих голубчиков!!!

Тут он, оскалив редкозубую пасть, бросился на затаившихся в углу охранников, и произошло совершеннейшее смятение. Они кинулись что было духу бежать, за ними припустились перепуганные вусмерть свидетели чина, роняя в беспорядке свечи и пихая один другого в узком проходе. И лишь взявшаяся незнамо откуда маленькая белая собачка, завывая и скуля, словно ветер стала вертеться там, где только что в тишине совершалось таинство...

На следующий день, поборов давешнюю жуть, Разумник почти насильно заставил себя вновь наведаться в комнатушку. Там не было никого, выломанные двери валялись прямо у входа, а вокруг, начиная от пола и по стенам чуть не до самого потолка, разбросаны были в дичайшем беспорядке ошметки тельца бедного животного, которое чья-то нечеловеческая сила словно разорвала в клочья.

70. ТЕРЯЕВА СЛОБОДА. После окончания войны службу в Софии опять прекратили, а чтобы не подымался ропот среди части оставшихся в путах поповщины жителей, здание отдали под заселение бездомным — уж те-то по своей жажде получить скорее кров над головой и при изрядной многочисленности за себя постоять сумеют.

Они и вправду достигли немедленного успеха, на субботниках-воскресниках перегородив здание внутри в три яруса и оставивши лишь свободной середку ради удобства в виде своего рода крытого переулка. Ему даже подыскали громкое имя Октябрьского, но постепенно оно как-то выветрилось из обихода; когда же верхний этаж отобрали под склады, а в нижнем постепенно угнездились конторы и другие служебные помещения, бывшая соборная горка получила в обиходе окончательное наименование Теряевой слободы, а заключенный в нее проезд стал зваться Ащеуловым.

Разумник Васильевич, проведший тут не один год, раньше над этим прозванием долго не задумывался, полагая, что произошло оно от какого-нибудь наиболее видного жителя. Теперь он, однако, дал себе труд справиться в словаре у Даля и с немалою долей удивления обнаружил, что «ащеул» — это зубоскал, скалозуб, галушник, глумила, изгал, пересмешник, издевщик, издевала и прочее им подобное. Потом еще он припомнил вдобавок, как однажды, будучи проездом на Москве, наткнулся там на точного тезку-переулок рядом со Сретенкою.

Находившийся же на отшибе Спасов монастырь, тоже вновь образовавшийся при оккупации, изрядно подсократили, оставив черничкам и богомолкам на потеху одну только самую малую церковку — ту первородную Евфросиньину, со сплошь почерневшими от вековой копоти стенами.

Больше как будто про конец сороковых годов и первую половину пятидесятых занести в векопись было нечего. На всякий случай Сельнокринов пролистал современную книжку про город, подготовленную институтом истории Белой Руси и выпущенную в Минске издательством «Наука и техника». Там говорилось, что с 1948-го по 1959-й активность местных избирателей была высока, причем за кандидатов нерушимого блока не-

изменно подавалось от 99,3 до 99,9 процента голосов. Был еще и такой пример: в 1950/51 учебном году в городе работало 29 политшкол, 17 кружков по изучению биографий классиков и 61 кружок «Краткого курса истории ВКП(б)».

Разумник заглянул в выходные данные: как там было четко обозначено, сдана в набор и подписана к печати книга в 1987 году. Прочитав дату, он тихо вздохнул.

71. О ВИНЕ МОЛОДОМ В ВЕТХИХ МЕХАХ. Эта притча впрямую продолжала прошлую, про заплату на старой одежде. «*Никто же вливает вина нова в мехи ветхи: аще ли же ни, просадит вино новое мехи, и вино пролиется, и меси погибнут; но вино новое в мехи новы вливати подобает*»,— гласит Марк. «*И обое соблюдется*»,— уточняет Матфей. А Лука добавил еще один стих, который то ли менял смысл предыдущих на противоположный, то ли придавал ему больший объем — или даже двоение: «*И никто же, пив ветхое, абие хощет новаго; глаголет бо: ветхое лучше есть*».

Следуя этому поучению, Сельнокринов вернулся к давнему своему сокрушению о том, что на самом деле попадается ему из современников почти что сплошь старичье, люди бывалые и большую часть своего века отжившие; даже неведомые духи — и те, как видно, в возрасте весьма-таки препреклонном...

За эти плодотворные сомнения он вскоре же был справедливо наказан — ибо все до единого остальные встречи выпали как на подбор с сожителями молодецкого вида.

Первый же парнишечка и не скрывал своего довольства тем, что ему выпала лафа пожировать в доме месяцок одиноким хозяином: мать после долгих стараний упекла своего супруга в ЛТП, а сама распряглась из общей семейной упряжки и на радостях отправилась с полюбовником на югá. Гордо потрясавший встопорщенным чубом их сын внешне как будто напрашивался, чтобы назвать его древним словечком «вьюнош»; но как скоро раскрывал свой рот, всякая мысль о связи с прошлым тотчас же улетучивалась напрочь.

Он даже не назвал — да и сам, видно, знать не хотел,— свое христианское имя, предпочитая ему странно дикую кликуху: Сглаз.

— Потому что я кого хошь сглажу — как пару пива или два пальца обосцать! — весело гаркнул он вместо объяснений, а затем исполнил на гитарке незатейливую мелодию, которую словно для лучшего запоминания пропел по нотам:

— До-ре-ми-до-ре-до!

Повторил ее еще раз, потом снова — а напоследок прямо в лоб Сельнокринову признался, что на языке ресторанных музыкантов-лабухов сие означает откровенный посыл на три веселых буквы.

Разумник Васильевич погодил пока обижаться на таковое непочтение, необходимо связанное с опасностями его нового ремесла; но юнец будто того и ждал, чтобы все стремительнее распускаться напропалую. Проявляя широкие познания в разных родах, однако в едино-похабном разрезе, он поведал еще, как они с приятелями ловко дополнили глупый лозунг, постыло висевший на стекле городской книжной лавки. Тот остался еще со времен крепкой борьбы за мир и представлял собою столбик переводов этого самого «мира» на всевозможные языки. Последними шли английский, французский и, кажется, испанский:

PEACE
PAIX
PAZ —

вот их-то они и довершили логично-хамским надписанием

ПОЦ!

Сельнокринов начал ощущать не столько уже оскорбление, сколько

определенно-желудочную гадливость, а его собеседник знай себе наяривал.

— Все вы, старшие дядьки, скособочили, переворотили да недоварили, а мы за что должны эту бодягу расхлебывать? Вон мамашка батяню в кутузку для алкашей определила, а там свиданки раз в месяц и только с близкими родственниками. Ан ему-то на трезвую головку еще страсть как *хочется*; так и говорит — трахаю ее, сволочь, и пла́чу! Тут от и вся ваша любовь.

Сельнокринов хотел возразить, что, конечно, отнюдь не вся, но ухватистый отрок, словно чуя его исторические пристрастия, немедля вынул листочек, словно нарочно для сего случая переписанный из весьма почтенной старой книги, причем даже святой. Это был «Волоколамский патерик» — сборник житий подвижников, вышедших из монастыря Иосифа Волоцкого под Москвою. Но он из всего того извлек лишь одно происшествие, которое и предъявил теперь для прочтения упрямому векописцу:

«У некоего воина татари плениша жену. Он же, взем с собою единаго пса да секиру, поиде в след их. Они же приидоша в некое село болярское, людем выбежавшим, обретоша множество пития и, многаго ради зноя упившеся зело, спаху яко мертви.

Воин же секирою поотсече всем главы. И, влез в едину от клетей, виде жену свою со князем их лежащу на одре, такоже от многаго пияньства спящу. Она, видевши мужа, возбуди варвара. Он же вста и нача битися с мужем ея; и, одолев ему, седяше на нем и начен имати нож, хотя его заклати. Пес же его, видев господина своего, хотяща заклана быти, взем варвара усты за видение и за главу совлече его со хозяина. Он же, встав, уби варвара, и, взем жену свою — новую Далилу,— отыде и сотвори ей, елико восхоте».

— Только что он ей в точности сделал — там не указывается,— поехидничал Сглаз.

— А вот каково они нынче творят — это я сам видал, когда сидел десять суток в КПЗ,— вел он свою срамоту все далее да ниже.— Там жена начальника днем заставляла всех сетки-авоськи плести, за что платила по шесть копеек, а потом их сотнями за тридцать сдавала в потребсоюз. И попробуй норму не выполни — жратвы лишат как пить! А по вечерам каждый день являлась и, пожалуйте, за четвертак.

— Четвертаков сейчас не бывает. Нужно говорить: четвертной,— привычно поправил не терпевший даже в последнем гадстве неграмотности Сельнокринов.

— Так вот за твой четвертной она через откидную дверцу-кормушку, куда зэкам еду суют, сама у них кормилась известным способом. И причем муж знал, даже пошучивал, что-де не в коня корм...

— Тьфу, пакость! — сплюнул на деле Разумник; но и это был не конец.

— А еще там вот как играли. На всю камеру была одна книжка — нарочно кто-то забыл или просто подкинул: русские народные пословицы. Ну, мы к ним добавили одну главную про нас самих, которая туда почему-то не влезла,— что болтаемся, как говно в проруби,— и давай их подряд скрещивать. Да как удачно выходило, прямо блеск! Слушай, я самые ловкие наизусть помню:

сколько говно ни корми — оно все в прорубь смотрит;
всякое говно свою прорубь хвалит;
не все то говно, что в проруби...

...В продолжение этого хуже-чем-матерного словесного бардака, будто и впрямь по уши наполнившего дерьмом его слух, Сельнокринов начал тихонько пятиться к выходу; а упоенный своим острословием молодец все продолжал сыпать.

72. РАЗОРЕНИЕ СПАСА. В самом конце пятидесятых годов дюжиною верст кверху по реке от Кременца началось строительство нефтеперерабатывающего комплекса в устье Каменки при впадении ее в Славу. А вскоре рядом с ним стали подыматься еще здания завода железобетонных изделий, объединения «Полимер» и фабрики белково-витаминного концентрата. На этот последний тогда возлагало особые надежды непрестанно ожидающее от науки чудес начальство; и он действительно не только успел в короткий срок покрыть всю окрестность мельчайшею белою пылью, но и навел на тела жителей разнообразнейшие кожные раздражения-сыпи, а внутренность их одарил многими видами сенных и прочих лихорадок, зовомых врачебным языком аллергиями. В Славе с той поры перестали купаться, но дирекция в качестве возмещения выстроила сухую финскую баню-сауну, которую все желающие могли посещать после смены по полтиннику с носа; а чтобы и потом не очень отвлекались на вредные мысли, воздвигла рядом спортплощадку. Зато в ученом путеводителе с гордостью отмечалось: продукция «находит широкое применение не только в нашей стране, но и вывозится за рубеж».

Уже в 1963-м возникший вокруг этих предприятий поселок Новые Каменщики, оттянувший из Кременца большинство молодежи, сделан был городом областного подчинения. В соответствии с генеральным планом экономического и социально-культурного развития жителям сообщили, что предусматривается его скорое и полное слияние с Кременцом в единое целое, после чего, как бодро докладывал в заключительных словах все тот же научный труд, «один из древнейших городов нашей Родины станет еще более красивым и благоустроенным».

В соседстве столь счастливого молодого образования вовсе нетерпимым казалось видеть последние пережитки прошлого быта. Когда-то в средневековье имел широкое распространение такой иконный образ, заимствованный из жития одного мученика: Никита, побивающий беса. Поскольку же в нашем столетии произошел решительный переворот сознания, сказание сие как бы переставилось с ног на голову: лукавый дух одолел тезку святого, временщика Никиту, который в начале шестидесятых годов решил ускоренно выкорчевать остатки православия в доставшейся ему отдельно взятой стране.

Уже в 1963-м пример районному Кременцу подали областные ревнители-витебляне, без дальних слов поднявшие на воздух свой храм Благовещения, выстроенный во времена домонгольской Руси в начале двенадцатого столетия.

После этого терпеть заскорузлых монахинь в дальней церковке Спаса сделалось никак невозможно. Тем более что в отличие от расположенного ближе к западной границе Гродно, откуда хитрый епископ успел на самом кануне закрытия перевезти женский монастырь — то есть его, так сказать, личный состав,— под бок последнего оставшегося на Белой Руси мужского в местечко Жировичи, здешний владыка, будучи стар и недеятелен, не догадался произвести подобную рокировку.

Дряхлые старухи-чернички оказались, однако, не промах: при помощи тайно сочувствующих местных жителей они целый месяц провели, сменяясь по мере сил, сидючи прямо на кресте предназначенной к сносу храмины; а тою порой двое ходоков потихоньку отправились с жалобою аж на Москву. Но им навряд ли бы повезло там с положительным решением, и скорее всего крест был бы взят штурмом силами охраны порядка, не переменись неожиданно в дальней столице держащее власть лицо (или, как сочли эти упрямые необразованные богомолки, не достигни их молитва через посредство Евфросинии прямо ко престолу Спасителя). Впрочем, с какого берега ни гляди, церковь свою они отстояли — и районное начальство, распустив монастырь, дабы не снижать внешней строгости, с регистрации храм все-таки до поры не сняло.

Но пока суд да дело, оно по-законнически рассчитало старенького

священника за противоправное отпевание одной прихожанки прямо на дому; а всем присылавшимся сюда новым уже не хотело давать под разными предлогами прописки. Церковь осталась затворенной, как бы бесхозной — и вновь отправились, теперь уже в область, пешие ходатаи-старики; но ближние чины ни в какую их принимать не желали. Тогда наиболее ревностная староста-пенсионерка, коей, кроме своих шестнадцати целковых в месяц, лишиться было как будто нечего, ворвалась в кабинет с веревкою и твердо пообещала тут же повеситься, коли им не будет выдан свой поп. После чего уполномоченный, как лукаво перевирают в народе его звание, чуть было не «упал намоченный», поскольку общая по стране пересадка чиновников как раз докатилась уже и до пределов его княжества; а потому, плюнув, даровал им просимое — озаботясь, однако, подысканием наиболее завалящего, с подпорченной характеристикою безместного батюшки, чья фамилия по странному совпадению была именно Веревкин.

Довольные и тем, что хоть такого сумели заполучить, торжествующие заступницы веры воротились восвояси и принялись за перековку своего иерея. Как это ни удивительно, им удалось довольно скоро в том преуспеть, и бывший неустроенный попик, на предыдущем месте служения ходивший по будням в джинсах, являвшийся в субботу на танцы и нередко запивавший от отсутствия семейного мира, в течение следующих десяти лет обратился в доброго, но достаточно строгого пастыря. Он принял целибат, а потом и монашество, вычинил протекавшую худую крышу и даже начал подумывать о полном ремонте. Говорили, что более всего подействовал на него здешний народный обычай: приходя на исповедь, всякий человек приносил с собою лист с загодя вписанными в него своими грехами, которые ему подсказала наедине совесть; однако рассказывал он про них священнику один на один из уст в уста, а тот, выслушав и наложив епитимью, давал затем разрешение и тут же рвал на части список прегрешений, словно живое воплощение самого Христа на Страшном Суде.

Противник, впрочем, тоже не дремал; теперь он учел необходимость хотя бы внешней опоры на общественность и при помощи давно точивших зубы на единственную не очень порушенную древность сотрудниц краезнавческого музея настрочил ходатайство в исполком о передаче «культурной ценности» из черных рук мракобесов в светлые ладони реставраторов. Но кременецкого иеромонаха не удалось провести и на такой мякине: он завел дружбу с только что образованным отделением общества охраны памятников, и оно упроворилось напечатать в своем минском журнале целый призыв, смысл коего был таков: реставрацию следует начинать отнюдь не с разорения последнего оставшегося живым собора, а с восстановления заброшенной святой Софии.

73. О СЕЯТЕЛЕ. За первыми после младого срамословца дверьми гнездился уже не един человек, а целая партия. Тут квартировали «химики» — осужденные за среднего разбора деяния мужики, прочесывавшие за-славский бор под руководством вольного инженера Сергея Михайловича: в заповедном некогда Полесье какой-то сверх меры деятельный рукоблуд не так давно сыскал безмерные залежи нефти, и теперь краю предстояло из тихого уголка превратиться вскоре во всесоюзную топку и помойку.

Самомý инженеру все это было не очень с руки — он по основному своему занятию был знатоком леса и иною порой в застолье даже очень бойко повествовал о нем в красках — так что было почти что наглядно видать, как после поголовной вырубки на чистопале заводится сперва березово-осиновая поросль, затем ее помаленьку сменяет подымающаяся под чужим покровом сосна, которой в свой черед последует ель; и она-то спустя лет восемьдесят-сто наконец давит тенью всех предшественников. С «химиками» работать Сергею Михайловичу была одна морока, но за

нищенскую получку никто иной кормить месяцами гнус в буреломе не желал — так что некуда было от них подеваться. Раз в тридцать дней же он выводил свою гнилую роту в город за жалованьем; сами они называли это мероприятие «пойти на танцы драть и драться».

Соблюдая и в подобном безобразии некоторый распорядок, хозяин выдавал денежки не все сразу, а соразмерными частями, больше которых на день значило бы уже не пропивать, а терять. Он, конечно, и сам был бы не прочь гульнуть, но лицезрение повального запоя и финансовая ответственность давали достаточную острастку против собственных лихих побуждений.

Поэтому Разумник рассчитывал получить у него самые свежие новости касательно переустройства окрестной земли, но, лишь только вступил в инженерово ведомство, целиком и полностью смутился: там, отнюдь не стесняясь постороннего глаза и даже не до конца разоблачась от роб, занимались тем, что нынче зовется любовью, шофер экспедиции Колька и наложница поисковика Толи Лариса. Это был тот самый Коляныч, который в последний раз сел за то, что, когда недовольная половиной отданного заработка жена отказала ему в вечерней котлете, он преспокойно отрезал у нее кусок ляжки, поджарил и в назидание всем прочим скаредницам охотно съел. Податливость же его минутной подруги давно была притчею на языках сотрудников, и покуда могучий до выпивки постоянный Ларискин сожитель охотно бегал за бутылками, недорого стоило его сударушкой в походном порядке овладеть; при этом почиталось еще за удовольствие выразить недоумение о том, что, несмотря на исправное совокупление, все личико молодой потаскушки оставалось покрыто юными прыщиками, которые зовут в обиходе «хотелки».

Не отрываясь от дела, Коля посоветовал Сельнокринову искать начальника у реки — дескать, он уже выдал последнюю долю получки и пошел маленько провеяться. Разумник повиновался и не был обманут: миновав тяжкий Борисов камень и спустясь ко вспененной искусственным белком волне, он скоро обнаружил потребное. Сергей Михайлович, неизменно щеголявший в плотно затянутой тройке при галстуке — чтобы, как он сам выражался, и среди дикарей сохранять воспоминание о человечестве,— находился на берегу, действительно в конце концов позволив и себе чуток расслабиться. Нижняя половина его тела покоилась навзничь в прохладных водах Славы, верх же с головой тихо посапывал, уютно подмостив под щеку ладошки, на песке; а вокруг колыхаемой течением штанины вилась пара ничего не боящихся всеядных плотвиц.

Скорбно встав над поневоле безмолвным телом, Разумник Васильевич прочитал наподобие отходной положенную по случаю притчу «возлюбленного врача Луки», которая заодно с собственным смыслом несла еще и намек на разъяснение своих предшественниц:

«Изыде сеяй сеяти семени своего; и, егда сеяше, ово паде при пути, и попрано бысть, и птицы небесныя позобаша е. А другое паде на камени и, прозяб, усше, зане не имеяше влаги. И другое паде посреди терния, и возрасти терние и подави е. Другое же паде на земли блазе и, прозяб, сотвори плод сторицею.

Сия глаголя, возгласи: имеяй уши слышати, да слышит!

Вопрашаху же Его ученицы Его, глаголюще: что есть притча сия? Он же рече: вам есть дано ведати тайны Царства Божия; прочим же в притчах, да видящи не видят и слышаще не разумеют. Есть же сия притча: семя есть слово Божие. А иже при пути, суть слышащии, потом же приходит диавол и вземлет слово от сердца их, да не, веровавше, спасутся. А иже на камени, иже егда услышат, с радостию приемлют слово; и сии корене не имут, иже во время веруют, и во время напасти отпадают. А еже в тернии падшее, сии суть слышавшии, и от печали и богатства и сластми житейскими ходяще подавляются и не совершают плода. А иже на

дóбрей земли, сии суть иже добрым сердцем и благим слышавше слово, держат и плод творят в терпении».

74. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНЦЕВ. Приближался неминуемый конец векописания, обязательно смолкающего при переходе минувшего в настоящее. Разумник Васильевич вступал в прошлый год, когда на 175-летие Бородинской битвы в город вновь вошел лейб-гвардии Преображенский полк.

Конечно, все это было военной игрой, затеянной служившими в Германии офицерами. Там они с удивлением наблюдали, как ежегодно на месте Битвы народов под Лейпцигом собираются одетые в формы всех участвовавших сторон любители прошлого и производят нарядные учения. Всех сторон — за одним исключением: русской. И потому в одежде нашей армии приходится выступать немцам.

Почувствовав вполне понятный стыд перед делами предков, возвратившиеся на Родину лейтенанты и основали собственное общество, восстанавливающее предания российской военной истории, при музее Суворова в городе на Неве. А потом тоже принялись раз в году справлять костюмированный праздник на поле Бородина; после чего решили пройти походом, повторяя путь Кутузова. Впрочем, условия теперь сделались иными — и дальше Березины их не пустили; ну да хорошо и так.

Однако не все, кто видел бодро ступающий с овеянными порохом знаменами полк, отнеслись к этому как к простой игре. Участники марша рассказывали, как в одном из разоренных сел на Смоленщине они остановились на миг, чтобы набрать воды; привыкнув запросто, позабывая про время, ходить днем и ночью в преображенских мундирах, они уверенно подскочили к колодцу и стали опускать ведро, не заметив, как в палисаднике сохранившегося живым дома выронила из рук грабли седая старуха, тихохонько прошептавшая: «Господи, наши вернулись!»

Не прошло и пяти минут, как к ней сбежались все, кто еще населял древнюю деревеньку, возраст которой спокойно мог потягаться почтенностью с самой Москвой. Они нанесли даром хлеб, молоко, яйца — кто чем оставался богат. А прослезившиеся бойцы не утерпели, выкатились с машин, развернули штандарты и под барабанный бой с флейтой прошли торжественно вдоль по улице, отдавая честь смолянам.

Так же нешутейно восприняли их появление и в Каменце-на-Славе: евфросиниевский батюшка даже ударил в колокол, чем изрядно удивил своих прихожанок, собравшихся ко храму в неурочный день, ибо теперь служба в нем правилась лишь по выходным.

Преображенцы привели с собою еще полуроту Черниговского полка, казачий хор и — словно собственную тень — особливое сообщество поклонников Наполеона в бонапартовских одеяниях, объединившихся вокруг школьного учителя опять-таки из Питера. Эти последние, в подражание своему кумиру, единственному во всей тогдашней Европе полководцу, который возил за собою в обозе армейских маркитанток, снарядили и женскую подможную команду; их одних через два года пригласили на празднование двухсотлетия французской революции в Париж. Ежели судить здраво, поездка сия была вполне по достоинству, и не нашим воинам следует о том сожалеть — ведь и Кутузов с Суворовым навряд ли взялись бы отмечать почетом тот двухвековой давности бунт, что окончился тысячами бессудных казней и четверть века разорявшими полмира войнами.

Преображенский и Черниговский полки выставили караул на главной площади и провели образцовые учения, в ходе которых вполне взаправду грохали взрывпакеты. Одному из казачьих певунов при том изрядно подшибло глаз, а неловкий француз отечественного производства мимоходом проткнул насквозь шпагою икру русскому рядовому.

На месте, где некогда перед Николаевским собором был воздвигнут памятник Двенадцатому году, произошло между тем множество перемен. Воспользовавшись понесенными храмом не столь уж существенными потерями, его в шестидесятые годы поспешили снести, выстроив тут многоэтажный дом с низкими потолками, который чудачливый архитектор задумал спасти от безличия тем, что вывел над крышею два бесполезных и непонятных полукруглых мостика; острые на язык кременцы окрестили его за то «дом с ушами». Взамен же разрушенных памятных знаков 1812-му, Искариоту и Ильичу скромно одаренный ваятель соорудил многочленную черночугунную громаду, долженствовавшую отметить победу Брежнева во второй мировой войне.

Преображенцы принесли с собою снимок первородной часовни и поставили под ним три трехлитровые банки, приглашая собрать всенародно средства на восстановление неразумно уничтоженного. Рядом постоянно сменялся карауЛ, и за три дня, что войско находилось в Кременце, бутыли были закиданы деньгами дополна.

Один из этих вечеров совпал с годовщиной взятия Бастилии, ради чего французские поклонники устроили в гостиничной забегаловке вечер с шампанским. В ответ на нестройную «Марсельезу» наш полк грянул прежний государственный гимн «Боже, царя храни!», что незамедлительно вызвало появление в полном составе местного отделения охранной стражи. Но состоявший при походе ученый историк спокойно втолковал им, что музыка написана известным композитором Алексеем Львовым, а слова — знаменитым поэтом Жуковским, и вообще — не «Варшавянку» же петь в ответ на французское приветствие гвардейскому Преображенскому офицерству?

За время гощения войск жители тоже довольно быстро освоились с тем, что на улицах то и дело мелькают позабытые цвета мундиров; а гвардейцы обстоятельно посетили все городские святыни. В соборе Богоявленского монастыря, который один-одинешенек пережил века католических и униатских гонений, но не снес десятилетий просвещенного варварства, теперь была расположена выставка художников-авангардистов; она не весьма приглянулась военным людям, которые даже ернически обронили, что-де это скорей всего не авангард, а арьергард. Зато Софию они поголовно и весьма подробно обошли внутри и вовне, общупавши даже алтарные стены.

Человек пять или шесть преображенцев явились и на воскресную обедню в Спасо-Евфросиниевскую обитель. А путешествовавший в их обозе знаток рассказал богомольцам, когда их проводили в бережно сохраняемую келью основательницы монастыря, что по непечатным сведениям крест святой не пропал. Он находится в Австралии или Америке в собрании не то Ротшильда, не то Рокфеллера, и минский митрополит Филарет даже как-то завел, будучи там, разговор о возможности выкупа и возвращения. Сие премного озаботило владельцев, и они, дабы отбить у исконных хозяев охоту встревать в свои сокрытые дела, вместо того с шумом передали обратно в Новгород украденную там немцами и затем тоже перекупленную «таблетку» — одну из праздничных икон, которые были написаны не на дереве, а прямо на тонком левкасе с обеих сторон.

75. О ГОРЧИЧНОМ ЗЕРНЕ. «Ину притчу предложи им, глаголя: подобно есть Царствие Небесное зерну горушичну, еже взем, человек всея на поле своем, малейше убо есть от всех семен. Егда же возрастет,более всех зелий есть и бывает древо, яко приити птицам небесным и витати на ветвех его».

Соседи нефтеискателей сперва немало порадовали изболевшееся о современных нестроениях отзывчивое Разумниково сердце — не в при-

мер трезвые, ученые и обходительные, хотя и определенно восточного по преимуществу обличия, зато отменные знатоки нашего природного языка, древностей христианских и даже дохристианских. Привела же их сюда именно к ним и страсть: поминавшийся уже выше академик Никита Ильич Толстой, родной правнук писателя Льва, открыл, что Полесье является истинною прародиной всех восточных славян, где благодаря тысячелетнему захолустью сохранился почти в полной нетронутости исконный говор и обиход. И покуда буровики не перемешали его напрочь со своей деловитостью, а последствия споро докатившегося чернобыльского ветра не успели окончательно сказаться в потомстве,— он затеял сюда обязательные ежегодные походы летом из Москвы, прочесывавшие напропалую все известные деревни и заимки.

В подтверждение своих доводов о первородстве среди прочих источников Сельнокринову предъявили книжку доктора-профессора Успенского, где самым убедительным макаром и со множеством ссылок да картинок доказывалось: прообразом «русского Бога» — святителя Николая — служит не кто иной, как родовой идол-медведь, отчего у староверов и резные его изображения смахивают на лесного хозяина. Имя медвежье тоже по-знатоцки получалось не подлинным, а описательно заповедным иносказанием (Тот, кто Мед Ведает), ибо соответственно языческому поверью кликать в глаза владельца рощ и дубрав не след. И выражалась еще догадка, что заказанное сие для произношения вслух наименование на самом деле сходно с немецким «бер», откуда идет и прокличка зимнего гнездованья «берлога».

До наипоследних пор существовал, по сведениям профессоровых «информантов», также обычай отводить непорочную девушку лохматому хищнику в жены — последний раз в его бумагах он был помечен 1965 годом.

Попутно Разумник Васильевич разузнал еще множество прежде неведомых вещей про своих заречных земляков, разглядеть которых оказалось проще не с другого берега Славы, а только из самой столицы. Храмом у них — христиан на московский взор не чистых, а двоеверных,— служила домашняя баня; с православными святыми запросто уживались божки докрещеных времен — леший «Володька» и «красный дьявол», а также подземный владыка Ящер, чье грозное прозвание, по убеждению академика Рыбакова, крылось во внешне простецкой считалочке детей: «Сиди-сиди, Яша, под ореховым кустом...»

Немалую часть в поверьях полешуков играла мысль о продолжении рода и предназначенных на то срамных удах; так, именно сие действо крылось, как сумели ловко раскрыть ученые-провидцы, внутри скромной по обличию игры в «петушка» и «курочку», срываемых с колоска,— кстати, от этой бедной курицы, по всей видимости, вела свое происхождение ужасно ругательная на западнорусских землях «курва»; в точности сие укромное деяние зримо воплощал перед юношеством обычай надевать обручальное кольцо на палец. На ту же мельницу лила воду и мудреная загадка:

Стоит хер на берегу, а сцыт за реку,— в которой ханжистые собиратели прошлого века видели всего лишь лившийся с неба дождик. Зато их современные наследники нашли на тот конец куда более прозрачную байку:

«Стоит девка на горе и дивуется дыре: свет моя дыра, дыра золотая! куда мне тебя дети? на живое мясо вздети!»

По сю пору особенную службу в Полесье, как выяснилось, играл живой поганский кумир — летучий змей-оплетай, который при нынешнем отсутствии взрослых мужиков с удовольствием перенял исполнение супружеских обязательств.

Недоверчивому векописателю, долго отказывавшемуся верить подобным сказаниям на слово, спокойные опрощики предоставили полную

возможность не только попользоваться, но и списать самые разительные образцы применяемых ими в походах листов, изданных в научных книжках или размноженных в качестве дневников для обследования, где простецам-крестьянам в большинстве случаев предоставлялось только выставить крест либо минус при таких, к примеру, задачках:

«Кто такой чорт? что он делал, когда Бог мир творил? а сам он сделал козу или зайца? как выглядит у чертей главный? чем чорт от беса отличается? попадался Вам чорт в виде ребенка, солдата, охотника, музыканта или инородца? в какой он был одежде? а не встречали ли беса в облике свиньи, змеи, сороки, барана, теленка, зайца, собаки, утки, ветра, вихря, водоворота? можно ли называть их нечистыми, лукавыми или окаянными? на каком языке он с Вами говорил? как заставить чертей служить человеку? как продать душу дьяволу? почему сейчас нечистая сила поутихла? как обнаружить чорта в смерче? как распознать его в человеке? есть ли у них жены и дети? не рожали ли Ваши знакомые женщины чертенят? не приходилось ли самому «бабить» (принимать у чертовок роды)? есть ли еще такие у них имена — анчутка, анцибол, кадук, ванцак, паралик, шешка, авиня божжы, анцыпор, курдупик, мурмуль, гаман, геб, касны, кикимора, корочун, лазник, попуря?

Правда ли, что леший одноног, однорук, одноглаз и рогат? вывернуты ли у него ступни пятками вперед? направо или налево он застегивается? не замечали ли вы, что издали он огромен, а вблизи мал? ругается он или хохочет? как вызвать лешего? как молиться ему для присушки? встречали ли вы в лесу старичка с длинными соплями, которые надо утереть?

Когда в последний раз видели русалку? может ли быть ею мужчина? отвислая ли у русалки грудь? забрасывает ли она груди за спину — или щекочет и душит ими людей? встречали ли в воде бабу с железной или смоляной грудью? катают ли русалки яйца на могилах? опасно ли вступать с ними в супружеские отношения людям? попадали ли вы в Девоцкое царство?

Может ли ходить покойник, убитый громом? может ли он съесть, высосать кровь, разобрать крышу? какие его любимые часы? опасно ли для женщины совокупляться с ходячим покойником-мужем? какое средство лучше поможет отвадить покойника — пробить осиновым колом могильный холм, гроб, подошвы, само тело или лучше заранее насыпать в домовину осиновых щепок, вколотить колышки? говорит ли румяное лицо мертвеца о том, что он ходячий? для каких целей надо вырыть покойника из земли? нужно ли молодежи дергать труп за пятки или щекотать? обедать над ним в полночь? надо ли сорок дней кормить могилу или плакать над ней? кто приглашает умершего на сороковины? докуда его провожают потом — до двери или до погоста? что будет, если не исполнить воли усопшего насчет вещей в гробу? можно ли передать их с другими? чем отличается душа женщины или ребенка? называют ли женскую душу голиком? есть ли душа у иноверцев? каково ей бывает после смерти? нужно ли обязательно убивать ожившего в гробу — или следует просто похоронить пустой гроб? до каких пор слышит мертвец — до отпевания или погребения?

Собачья или человечья голова у змеи? растут у нее крылья под мышкой или на спине? откуда она извергает огонь? всегда ли мужчина живет только со змеей, а женщина — со змеем? знает ли змей тайну смерти? сосет ли он по ночам у женщины груди? рождается ли от их связи богатырь, колдун, нечистик либо змеевич? убивают ли такого ребенка или он сам куда-то девается? бывает ли так, что человек женится на девушке, в которую обернулась змея, и когда он обзовет ее в сердцах гадюкою — она тотчас же приходит в первобытное состояние и уползает?

Что следует делать во время первого весеннего грома: тереться

спиной о дуб или столб, стену дома или сарая, о печку, забор, обнимать дуб или грызть дубовое полено, бить палкой по спине, хвататься за спину, затыкать за пояс ветки, пролезать через корень дерева, падать на землю и кататься, задирать юбку и пускать ветры, перебрасывать через себя камень, бить камнем по голове себя и других, и что при этом говорить — «моя железная голова не боится грома» или иначе, поднимать ли печь, двигать телегу, умываться дождевою водой, утираться чем-нибудь красным, обливаться влагой, мочить волосы, жечь освященную вербу, крестить тучу, какие произносить заклинания, как привильно сказать: чорт тебя возьми, лихо побери, ну тебя; куда следует лучше послать — к бесу, волку, в болото, на росстани или на сухой лес?»

Огорошенный такою бездной языческого познания, Сельнокринов потихоньку перекрестился, никуда никого сгоряча не направил ни враз, ни обдуманно, а лишь перечел отсутствовавшую начисто на стене притчу, но теперь в изложении самого краткого из евангелистов, Марка: *«Яко зерно горушично, еже егда всеяно будет в земли, мнее всех семян есть земных. И возрастает, и бывает более всех зелий и творит ветви велия, яко мощи под сению его птицам небесным витати».*

76. ОБОРОТНЫЕ ДЕЛА. Обеспокоенный против ожидания угрожающе длительным отсутствием встречного сотрудника Платона Любимовича, Сельнокринов в одиночку нагнал свой текущий год. Событий тот принес предостаточно, но обещал прежде окончания прибавить и еще больше.

Тысячелетие крещения Руси по указу из столиц Белоруссии и Союза решено было, вместо атеистических лекций и незамечания в упор, в связи с изменившейся обстановкою отпраздновать как событие общекультурное. На стадионе, выстроенном при Хрущеве взамен снесенных остатков Нижнего замка, прошел слет дружин народного творчества; Богоявленский выставочный собор порадовал вернисажем лубочных картин.

София же наконец освобождалась от постоя, и не далее как ровно через два дня внутри ее не должен уже был оставаться ни один житель. Как раз на это число, совпадавшее с православною Троицей, намечался упоминавшийся уже вскользь окончательный подрыв узкой каменной пуповины, покуда еще соединявшей соборную гору, она же Теряева слобода, с материком.

Как сообщала местная печать, в подполе Софии на руинах храма одиннадцатого века намечено было разместить показ наиболее любопытных предметов, найденных при раскопках, которые посетители осматривали бы с площадки, расположенной в точности под некогда венчавшим все сооружение куполом — в точке пересечения осей православного собора и униатской базилики. «Зритель, спускаясь под пол, условно опускается в глубь столетий и оказывается в качестве археолога, исследующего культурные напластования,— обещал нарочно выпущенный по сему случаю тонкий путеводитель.— Руины в сочетании с реальным пространством храма XVIII века как бы оживают, и работа нашего воображения благодаря такому монтажу оказывается более продуктивной».

За смертью притчеоткрывателя Белкина сохранившуюся идею цепи наглядной премудрости уже некому было воплотить на стенах вновь, ибо современная наука покуда еще почитает внешнюю подлинность важнее живой преемственной мысли; а посему суть раскрытых кусочков росписи должна была проходить мимо умных очей пришедших сюда посетителей. Да нечего было особенно отвлекать их внимание на постороннее глазопяльство — ведь храм обращался ныне в камерно-органный концертный зал.

Нарочито приглашенные немецкие умельцы выстроили свой трубочный певун над северным входом, а напротив, в бывшем алтаре унитов,

перед невысоким иконостасом соорудили сцену для хора. При том ради удобства изобретен был весьма хитроумный прием: дабы не отнимать времени на смену декораций, скамьи изготовили с переворачивающимися спинками, так что легким движением руки зритель мог обращать фасад то вперед, то назад.

«Новая функция не только не исказит изначальный образ памятника, но выявит и подчеркнет в нем главное, то, что не подвластно времени,— высокое искусство его творцов»,— бодро заверяла в этой связи помянутая уже путеводная книжка.

Не оставлены были вниманием даже представители отсталых верующих слоев: на средства города за зиму наскоро вычинили соседнюю со Спасо-Евфросиниевским собором небольшую трапезную церковку, куда им любезно предложили перебраться из памятника архитектуры и живописи, для которого уж явно подошла пора капитальнейшего ремонта. Но здесь опять вышла кутерьма с непонятливыми упрямыми старожилами: они вдруг вспомнили, что их храм является самым древним действующим собором русской православной церкви на свете.

Сверх меры ретиво обратившийся иеромонах был после неоднократных проверок, писем и донесений переведен на другой дальний приход уставшим собачиться с уполномоченным викарным епископом. Но и при новом, более покладистом вначале женатом настоятеле, коему хочешь — не хочешь приходилось искать со светским начальством мировую, имеючи на руках почти что полную дюжину ребятишек,— в защиту древнего храма вступилась сама природа. На быструю руку и, следовательно, кое-как подлатанная трапезная весною, еще до приемки ее исполкомом, в трех местах протекла; затем в стенах полопались отопительные трубы, и вода вспучила кривой дощатый пол.

Но, главное, в самом Спасском храме началось удивительное, а для усердных прихожан и несомненно чудесное явление — самораскрытие фресок. Поздние многолетние записи и вычинки, свертываясь черной лушпайкой, отпадали безо всякого постороннего вмешательства и открывали нетронутую, словно нарочно сохраненную под ними за тысячу лет могучую перворoдную живопись.

А потом и вовсе, когда поддержание отношений духовной и светской властей неожиданно перешло привычно-прохладную черту временного сосуществования, шаг за шагом подвигаясь ко взаимному узнаванию, воспрянувший духом белорусский архиерей повелел сыскать последних четырех оставшихся будто именно для сего случая в живых девяностолетних обительских инокинь и завел речь о возрождении всего монастыря в его исконном виде.

Ободренный этим благим движением, многодетный священник перестал против собственной воли ограничивать свою речь на проповедях отвлеченными истинами и произнес ставшее широкоизвестным слово о том, что и саму-то черноту соборных стен негоже так вот запросто хулить. Ведь копоть эта, утверждал он с амвона, указывая воздетой рукою вокруг и вверх, отнюдь не грязь, а святыня, намоленная живым дыханием и теплой свечою десятков поколений наших предков.

77. О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ. Предпоследнее символическое сказание явно сулило встречу с необычным отражением:

«Начат же к людям глаголати притчу сию: человек некий насади виноград, и вдаде его делателем и отыде на лета многа... И во время посла к деятелям раба, да от плода винограда дадут ему; делатели же, бивше его, послаша тща. И приложи послати другаго раба; они же, и того бивше и досадивше ему, послаша тща. И приложи послати третияго; они же, и того уязвльше, изгнаша.

Рече же господин винограда: что сотворю? послю сына своего воз-

любленнаго: еда како, видевше, усрамятся. Видевше же его, делателе мышляху в себе, глаголюще: сей есть наследник, приидите убием его, да наше будет достояние. И, изведше его вон из винодрадника, убиша... Что убо сотворит им господин? Приидет и погубит делатели сия, и вдаст виноград инем. Слышавше же, рекоша: да не будет.

Он же, воззрев на них, рече: что убо писание сие? Камень, его же не брегоша зиждущии, сей бысть во главу угла. Всяк, падый на камени том, сокрушится; а, на нем же падет,— стрыет его».

Но обещанное, по всей видимости, жестоко обмануло высокие Сельнокриновы ожидания. На предконечной двери противоположного яруса висела наспех начертанная писулька: «Ребята! Мы живем теперь вот: Новые Каменщики, проспект Стачек, 13. Милости просим!» Сама же дверь была намертво заколочена. Не отозвался никто и за следующей, последней.

Когда Разумник Васильевич убито двигался, крадучись, понизу, стараясь не попасться до времени на глаза насильно выселяющей остатних упрямцев команде, он все-таки натолкнулся на вывешенное ими объявление: под скрещенными в подножии черепа голыми мослами наставительно указывалось, что 29 мая сего 1988 года все до последнего обязаны под страхом наказания покинуть опасный участок проведения природообразующего взрыва.

И только окончательно усевшись за свой письменный стол в отведенной Бенескриптовым векописной, Сельнокринов сообразил, что его постигло крушение почти что исполненного, ни с чем не сравнимого замысла на последней совсем ступеньке. С упавшей в бездну уныния, уязвленной бестолковщиной и невнятицею душой он в отчаянии перечел еще по-русски самое завершение заковыристой притчи:

«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется; а на кого он упадет, того раздавит».

78. СМЫСЛ ПРИТЧ. Среди тягучих и умовредных раздумий Разумник Васильевич неприметно прикорнул прямо в кресле. Когда же он пробудился, за окном стоял уже раннейший праздничный рассвет, а на не тронутом за ночь диване лежало долгожданное свидетельство невидимо длящегося сопутствия его работе со стороны хороняки Платона.

Это был лист, вырванный или же самовольно вылетевший из хорошо знакомой приточной рукописи, поверх которого умостилась длинная писулька:

«Храни пресвятая Троица!

Наконец вопрос полностью ясен; все происшедшее в истории вышло верно — и никаких левых поворотов. Тебе же настоятельно советую немедля запереться на два ключа и до сумерек не казать вон носа: сегодня прятунов будут выводить под белы руки против воли с дружинниками; взрыв намечен на завтрашнее число около пяти.

Когда хорошенько стемнеет, сторожко переберись ко мне на противную галерею в зеркальную дверь: до смерти нужно переговорить в окончательный раз. И еще вот что добавь к своей векописи. Это передняя страница изо всей книжки, где поясняется вкратце — отчего именно притчами говорил с народом Спаситель. Вставь ее по принадлежности, предварительно изуча. Обнимаю и жду — П. Л. Б.».

Сельнокринов, не откладывая в долгий ящик, приступил к переписыванию начальных слов, волею прихотливого случая залетевших из предисловия старого путеводителя в самое почти докончание современного. При них на поле было еще выведено поздним почерком: «греческое «парабола», славянское «притча» — происходит не от «приткнуть», а от «притекать».

На месте же основного сказания находились десять славянских стихов от Матфея:

«И, приступивше, ученицы Его рекоша Ему: почто притчами глаголеши им? Он же, отвещав, рече им, яко вам дано есть разумети тайны Царствия Небеснаго; о́нем же не дано есть.

Иже бо имать — дастся ему и преизбудет ему; а еже не имать, и еже имать возмется от него.

Сего ради в притчах глаголю им, яко видяще не видят и слышаще не слышат, ни разумеют. И сбывается в них пророчество Исайино, глаголющее: слухом услышите и не имате разумети; и, зряще, узрите и не имати видети. Отолсте бо сердце людей сих, и ушима тяжко слышаша и очи свои смежиша, да не когда узрят очима и ушима услышат и сердцем уразумеют, и обратятся и исцелю их. Ваша же блаженна очеса, яко видят, и уши ваша, яко слышат. Аминь бо глаголю вам: яко мнози пророцы и праведницы вожделеша видети, яже видите, и не видеша; и слышати, яже слышите — и не слышаша...

Сия вся глаголя Иисус в притчах народом, и без притчи ничесоже глаголюще им, яко да сбудется реченное пророком, глаголющим: отверзу в притчах уста моя, отрыгну сокровенная от сложения мира».

79. О СМОКОВНИЦЕ И ВСЕХ ДЕРЕВЬЯХ. В ожидании спасительных потемок Разумник Васильевич все читал и перечитывал последнюю, сороковую по счету притчу, сказанную Иисусом при тайной беседе с учениками на Елеонской горе про признаки, по которым можно будет определить истинность наступающего огненного преображения всего света:

«От смоковницы же научитеся притчи: егда уже ветвие ея будет младо и изращает листвие, ве́дите, яко близ есть жатва. Тако и вы, егда сия видите бывающа, ведите, яко близ есть при дверех. Аминь глаголю вам, яко не имать прейти род сей, дондеже вся сия будут».

Сельнокринов что-то недопонял в сказании и перечел тогда целую главу, в которой Спаситель поведал четверым ближним братьям — Петру с Андреем и Иакову с Иоанном — про вскоре вслед за тем происшедшее разрушение Иерусалимского храма, судьбу народов, царств и последние дни мира; говорил он и об ожидающих их самих гонениях, призывая не верить лжепророкам и псевдохристам, производящим чуждые чудеса. Непосредственно же перед словом о смоковнице (к ней евангелист Лука прибавлял еще и «все древа») шло указание на приметы неложные:

«Но в тыя дни, по скорби той, солнце померкнет и луна не даст света своего. И звезды будут с небесе спадающе; и силы, яже на небесех, подвижутся. И тогда узрят Сына человеческаго, грядуща на облацех, с силою и славою многою. И тогда послет ангелы своя и соберет избранныя своя от четырех ветр, от конца земли до конца неба».

Сразу же вслед за смоковничным иносказанием следовали необыкновенные откровения, утверждающие, что наперед о последнем дне и часе не знает никто из жителей земли или неба, ни ангелы, ни даже Христос, а один лишь Бог Отец. Поэтому вся беседа завершалась призывом, обращенным уже не только к ближним, но и к дальним: «А, яже вам глаголю, всем глаголю: бдите!»

За сегодняшним окном, в ночь под тридцатое мая как раз пели соловьи в буйно цветущих деревьях, и Сельнокринов, хотя был неробкого десятка и противник суетных поверий, несколько раз явственно поежился, испуганный очевидностью угрожающих совпадений. Вглядываясь в опускающуюся на окрестности тьму, он наконец решил, что она обеспечит ему незаметность перехода вполне достаточную и, несколько успокоив внешнее волнение, с дрожью в сердце пошел на ту сторону собора.

Против ожидания, Бенескриптов сидел в комнате не один — в углу под бедной иконкою из раскрашенной жести помещался еще молодой

человек в неопределенной военной рубашке с каким-то странно-знакомым лицом. Впрочем, света они из осторожности не зажигали, луна же скрылась за облаком, а в почти что кромешной мгле Разумнику внятен был один острый блеск глаз с каким-то чуть монгольским разрезом.

Хозяин накрыл чем был горазд свой стол, выставил и вино: ведь сегодня в ночь с Троицы на Духов день им предстояло втроем распрощаться с родной Софией, ее полуостровом и двухконечной летописью.

Полузнаемый гость говорил с трудом, часто сипел, так что его собственная повесть, которую и на солнечном яву не всякому легко было бы выслушать, прозвучала лишь после того, как желтая житневка хорошенько развязала язык уже далеко за полночь.

Он сперва вынужденно признался, что гортанные звуки и чудной вид — последствия тяжкого ранения в афганской стороне, и Разумника Васильевича уже на этих первых словах прокололо недоброе предчувствие. Дело крылось в том, что последнее время он был неустанно занят изничтожением всполошных опасений о собственном сыне, полное имя которого звучало довольно старообразно — Каллиник, а в обиходе легко сокращалось в «Лик». В переводе с греческого оно означало «доброго победителя», но Сельнокринов с большой долею вероятия предполагал, что, подобно притчевым записям по эту, молодежно-безумную половину собора, оно тоже скорее всего сместилось и обозначает сейчас нечто почти что противоположное. Короче говоря, единственный сынок его ушел в армию и именно в тот треклятый Афган был послан; долгие же попытки не думать о вполне возможном конце во многом и толкнули новоявленного летописца отдаться своему странному некошному занятию, чтобы хоть как-то затаить, отвлечь беспомощную тревогу и боль.

Судя по письмам, сыновняя служба складывалась не так чтобы совершенно скверно: его уроком было сопровождать на броне почтовые конвои через границу. И он настолько в нем поднаторел, что после отбытия положенного двухлетия завербовался еще на сверхсрочный год, дабы подзаработать афгани и чеков. Здесь между отцом и сыном произошел сильнейший спор, жестокость коего соображения про чужие глаза, просматривающие переписку, нисколько не сгладили, а лишь притушили, покрывши обманчивой коркой вежливости внутреннюю раздорную язву. Разумник чрезвычайно осторожно попытался внушить свое крайнее отвращение к такого разбора приработкам, сколь бы существенны они ни были в числовом выражении. В ответ армейские «треугольники» сделались куда более редки и странно бодры. А последние два месяца их ручеек и вовсе иссох — так что Сельнокринов, набравшись страху, послал уже форменный запрос командованию обозначенной дробным номером части.

Гость, коего Бенескриптов представил как собственного родича, занимался схожим ремеслом, хотя на прямой вопрос о знакомстве с Ликом отозвался незнанием. Взамен он кратко прошелся по различным военным ужасам, которые за последние годы уже, к несчастью, перестали удивлять и мучить совесть слушающих из-за неоднократного повторения в ходе застольных бесед: про наркотики, юрких «духов», перехваченные и дочиста расстрелянные караваны, спешно отдающихся за чеки «чекисток» или крестьян, мотыжащих каменистую землю с автоматом за спиной и стереокомбайном на груди...

Разумник Васильевич спокойно прослушал очередное их переложение и затем осторожно осведомился: хорошо ли зарабатывают сверхсрочники? Молодой собеседник мгновенно осекся, выдохнул глубоко-глубоко и каким-то иным, мертвецки глухим голосом сказал: это смотря как считать.

Он, дескать, тоже остался подкалымить и довольно успешно избег сопутствующих напастей, перевозя вместе с потребными грузами втихую добавочно и неразрешенные. А потом, как водится в обычных раскла-

дах судеб, в одну из самых последних ездок они налетели в своей боевой машине пехоты на пластмассовую мину с замедлителем, которая не засекается искателем, но и не может быть обманута толкаемым впереди тяжелым катком: пропустив установленное число колес невредимыми, она наконец под какою-то роковой парой взрывается и губит поголовно внутри сидящих. Все, кто ехал с ним вместе, действительно сгорели заживо, и Бенескриптова отпрыска спасло лишь то, что он, меньше взрыва опасаясь пуль засады, торчал сверху на люке.

Однако язык пламени достал и его — почти полностью сжег кожу на лице. Тут ему повезло: на самолете срочно успели перебросить раненого в ташкентский госпиталь; там наскоро подлечили и отправили в московскую клинику, где пересадка тканей была поставлена уже на поток.

Он, впрочем, сперва радовался и тому, что вышел из переделок живым; однако рана не оказалась всею расплатой. Как-то странно стало тянуться время перед операцией: «прочистят», выбреют, назначат на завтра — и нежданно перед самым началом увозят назад, откладывая. Произвели сие действо раз, другой, еще третий. А потом уж соседи гражданские намекнули: афганцы богатые — нужно и хирургу, и сестрам платить. И как тут ни плачь, давись, жалуйся или ругайся, но коли захочешь выглядеть не зверем, а человеком и детей собственных не пугать, то выкладывай денежки. Так все им заработанное своею охотой в наемной службе и ухнуло.

А позже и другая напасть догнала. Кожу ведь можно брать и у доноров, но лучше своей родной все одно не сыскать. Ее же, хоть вроде раскошеливаться не надо — зато и в избытке нет, тем более где же столько зараз набрать? Выходило, что нигде, кроме как с наиболее заповедных мест, реже всего наружу кажемых — с бедер да с задницы.

Ему сделали именно так. Правда, первоначальное выражение полностью восстановить уже не удалось, да и голос от гари навсегда подсип. Но поскольку общее строение из пары глаз, ушей да носа со ртом все-таки сохранилось, щедро оплаченный доктор-трансплантатор даже произвел улучшение облика, о чем раньше и в голову бы не взошло. Так что из подручного заплатного материала вышел новый отменный красавец; только фото на паспорте пришлось поменять — оно оказалось далеким от сходства.

По мере развития этой выворачивающей душу, совсем маловероятной, но отвратительно правдивой истории Разумнику становилось тошней и тошней; он со все большим перепугом вперивался в темноту, унимая мелкое дребезжание ставших непокорными колен. Афганец же меж тем хлопнул залпом еще целый стакан самиздата, голос его окреп, и он оглушительно гаркнул:

— А вот теперь я вернулся выяснить: кто же это мне удружил натянуть вместо лица жопу, папаша!

Тут за окном тяжело грянул взрыв.

80. ДУХОВ ДЕНЬ. Очнулся Разумник уже глубоким утром. Кроме него, в келье не было никого, и только отчаянно задувал в спину сквозняк из выбитого ударной волной окна. Напором чуть было не вынесло даже дверь, но на счастье верхняя петля оказалась крепка, да и дверное зеркало, как отметил ставший приглядчивым к обиходным приметам Сельнокринов, уцелело.

Именно в нем он под косым углом увидал изрядно покореженную перемычку на Славе: вырвав из природной скалы с мясом здоровенный кусок, заряд все-таки не сподобился с первого удара пробить насквозь берег — и София покуда еще не превратилась в безлюдный остров. Вокруг пролома суетилось множество человечков: обратив на них при-

стальное внимание, Разумник Васильевич разглядел, что это перебудораженные жители усиленно препираются с подрывниками, тесня их прочь от моста.

Отца и сына, с которыми он втроем проводил Троицу, беседуя то ли в мысли, то ли и впрямь наяву, простыл след. Посреди столешницы распахнулась на конечной своей странице приточная рукопись, в которую кто-то вписал клонящимся влево полууставом:

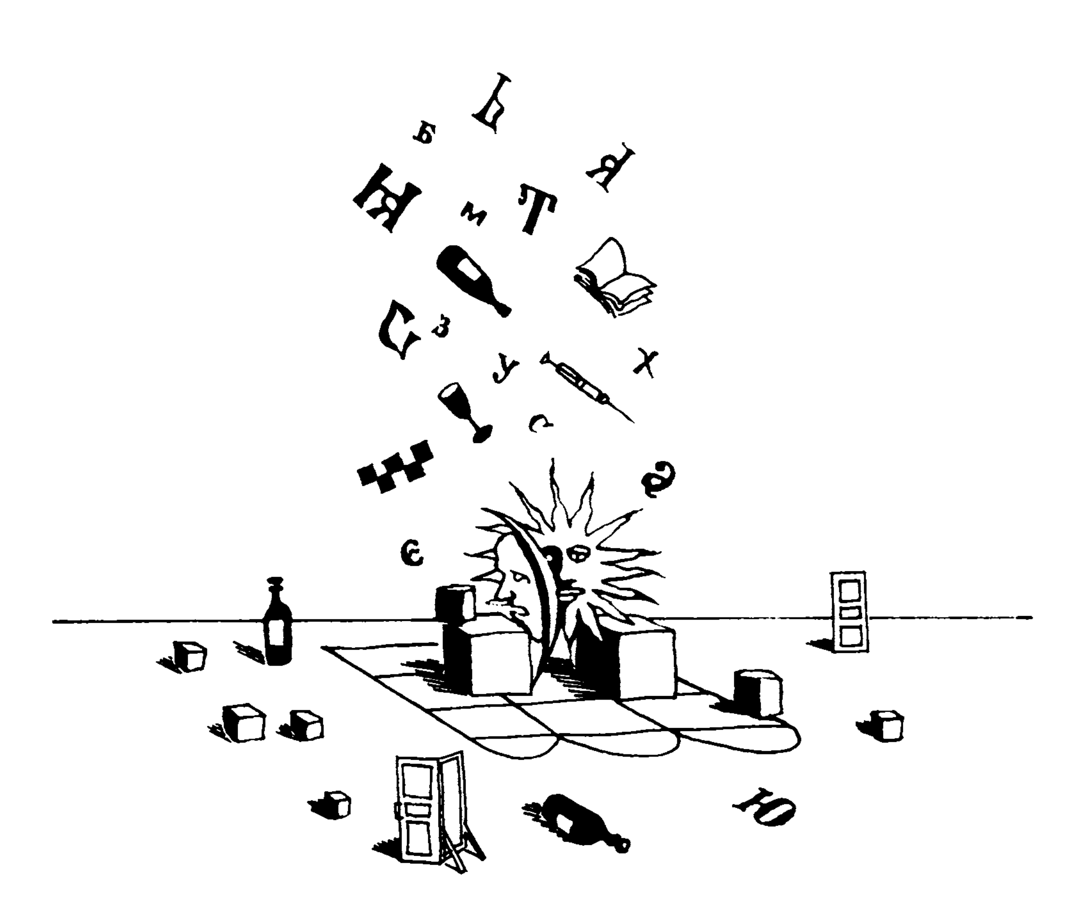
«В Евангелии от Иоанна тоже есть притчи, но они иные — о будущем».

Почувствовав прилив крови в виски, Сельнокринов взялся руками за голову и оцепенел: слой битой стеклянной крошки покрыл всю кожу, въевшись в поры так крепко, что пальцы вместо привычной плоти ощутили нечто совершенно чужеродное и неживое. Он вспомнил сказ о перемене Лика и, призвавши на помощь сто Охов, бросился опрометью к стеклу, но, приблизившись к нему вплотную, не сразу решился поднять на себя глаза.

Подстегивая страхом волю, всадил взгляд в упор — и встретил напротив исполосованное десятками царапин, однако все же еще покуда собственное лицо. И тогда, не спрашиваясь у разума, рука сама припомнила исконный навык, сотворивши крестное знамение, а уста все так же сами собой выдохнули:

«Слава Тебе, Господи!»

1989 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Паламарчук П. Г.

П 14 Векопись Софийского собора Кременца-на-Славе за тысячу лет, составленная последним его обитателем Разумником Васильевичем Сельнокриновым /Сообщил Петр Паламарчук.— М. : Мол. гвардия, 1992.— 157 [3] с., ил.

ISBN 5-235-01789-7

Действие нового остросюжетного произведения широкоизвестного у нас в стране и за рубежом прозаика Петра Паламарчука разворачивается на фоне тысячелетней истории некогда знаменитого на всю Европу храма — Святой Софии в Полоцке. Эта линия повествования основана на малоизвестных для широкого читателя исторических свидетельствах: древних хрониках, летописях, архивных записках.

Другая линия своеобразной летописи остросовременна, так как по «злой иронии судьбы» в верхнем ярусе некогда знаменитого собора ныне расположились обитатели коммунальных клетушек — люди порой весьма причудливых биографий, рассказанных автором со свойственной только ему шутейной иронией.

В феврале этого года «Векопись...» Петра Паламарчука вышла в старейшем литературном журнале зарубежья «Грани» и вызвала большой читательский интерес и одобрительные отклики критики и прессы.

П $\frac{4702010201-090}{078(02)-92}$ 049—92

ББК 84Р7

ИБ № 7350

Паламарчук Петр Георгиевич

ВЕКОПИСЬ Софийского собора Кременца-на-Славе за тысячу лет, составленная последним его обитателем Разумником Васильевичем Сельнокриновым. Сообщил Петр Паламарчук.

Заведующий редакцией **В. Перегудов**
Редактор **Л. Барыкина**
Младший редактор **М. Павлова**
Художник **А. Енин**
Художественный редактор **П. Ильин**
Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры **Т. Пескова, Т. Контиевская, И. Гончарова, И. Ларина**

Сдано в набор 10.09.91. Подписано в печать 27.03.92. Формат 70×108$^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Банниковская». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,0. Усл. кр.-отт. 28,75. Учетно-изд. л. 14,4. Тираж 10 000 экз. Зак. 1255.

Типография акционерного общества «Молодая гвардия». Адрес АО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN **5-235-01789-7**

КНИГЪ

Я БРАТЬЕВ

САМОГОНОВЫХЪ

ПИСАНО

РУСКАЯ

ВОЗМНИТСЯ

Я ПИСЦАХЪ

ВЪ ЛѢТО

ПИВОВАРЕННОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО


ISBN 5-235-01789-7
9 785235 017894